

Крестоносцы. Том 2. Генрик Сенкевич

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Очутившись во дворе замка, Юранд не знал сперва, куда идти, так как кнехт проводил его через ворота, а сам направился к конюшням. У стены стояли кучками и поодиночке солдаты; но лица у них были такие наглые и смотрели они с такой насмешкой, что нетрудно было догадаться, что они не укажут ему дороги, и если и ответят на вопрос, то разве только грубостью или оскорблением.

Некоторые из них, смеясь, показывали на него пальцами; другие, как и вчера, снова стали бросать в него снегом. Заметив большую дверь, над которой было высечено в камне распятие, Юранд направился к ней, полагая, что если комтур и старшие братья находятся в другой части замка или в других покоях, то кто-нибудь должен сказать ему, как к ним пройти.

Так оно и случилось. Когда Юранд подошел к этой двери, обе створки её внезапно распахнулись и перед ним предстал юноша с выбритой, как у ксёндза, макушкой, но в светской одежде.

– Господин, это вы Юранд из Спыхова? – спросил он.

– Я.

– Благочестивый комтур велел мне проводить вас. Следуйте за мной.

И он повёл рыцаря через просторные сводчатые сени к лестнице. Перед лестницей он остановился и, окинув Юранда глазами, снова спросил:

– При вас нет никакого оружия? Мне велено вас обыскать.

Юранд поднял вверх руки, чтобы провожатому легче было его осмотреть, и ответил:

– Вчера я отдал всё.

Понизив голос, провожатый произнес шепотом:

– Тогда берегитесь, не давайте воли гневу, ибо вы в их власти.

– Но и во власти всевышнего, – возразил Юранд.

Он устремил на провожатого пристальный взгляд и, уловив в его лице сочувствие и сожаление, проговорил:

– Я вижу по глазам, что ты хороший человек. Скажешь ли ты мне всю правду?

– Не мешкайте, – поторопил его провожатый.

– Отпустят ли они мою дочь, если я отдамся им?

Юноша в изумлении поднял брови.

– Так это здесь ваша дочь?

– Да, моя дочь.

– В башне у ворот?

– Да. Они пообещали мне отпустить её, если я отдамся на милость их.

Провожатый сделал движение рукой, точно желая сказать, что он ничего не знает, но на лице его изобразились недоумение и тревога.

– Правда ли, – спросил его Юранд, – что её стерегут Шомберг и Маркварт?

– Этих братьев нет в замке. Но возьмите её отсюда, пока не выздоровел комтур Данфельд.

Юранд затрепетал при этих словах; однако он ни о чём уже больше не мог спрашивать юношу, так как они дошли до зала на втором этаже, где рыцарь должен был предстать перед лицом щитненского комтура. Слуга отворил ему дверь, а сам вышел на лестницу.

Рыцарь из Спыхова вошел в просторную, очень темную комнату; стеклянные, оправленные в свинец шарики пропускали мало света, а день был зимний, хмурый. В другом конце комнаты горел огонь в большом камине; но сырые дрова давали мало пламени. Спустя некоторое время, когда глаза его привыкли к полумраку, Юранд увидел в глубине комнаты стол, за которым сидели рыцари, а позади них целую толпу вооруженных оруженосцев и кнехтов и среди них замкового шута, державшего на цепи ручного медведя.

Когда-то Юранд бился с Данфельдом на поединке, потом дважды видел его при дворе мазовецкого князя, куда тот приезжал в качестве посла; с того времени прошло уже несколько лет, но даже в полумраке старый рыцарь тотчас признал его лицо и тучную фигуру, да и за столом комтур восседал посредине, в кресле, опираясь на подлокотник рукой в деревянном лубке. Справа от него сидел старый Зигфрид де Лёве из Янсборга, лютый враг всего польского племени, а Юранда из Спыхова в особенности, слева – младшие братья Готфрид и Ротгер. Данфельд нарочно пригласил их, чтобы они поглядели на его торжество над грозным врагом и насладились с ним плодами предательства, которое они вместе замыслили и совершили. Облаченные в мягкие одежды из темного сукна, с легкими мечами на боку, они сидели, удобно развалившись в креслах, веселые и самоуверенные, и взирали на Юранда с той надменностью и с тем безмерным пренебрежением, с каким всегда взирали на слабых и побеждённых.

Они долго молчали, желая натешиться зрелищем мужа, которого раньше боялись и который стоял теперь перед ними, поникнув головою, облаченный в покаянное вретиче, с веревкой на шее, на которой висели ножны меча.

Им хотелось, чтобы побольше народу видело его унижение; верно, поэтому из боковых дверей, ведущих в другие комнаты, всё входили вооруженные люди, так что зал до половины наполнился уже народом. Громко разговаривая и перебрасываясь замечаниями на его счет, все с нескрываемым любопытством смотрели на старого рыцаря. При виде этой толпы Юранд приободрился. «Если бы Данфельд, – подумалось ему, – не пожелал сдержать свои обещания, он не назвал бы столько свидетелей».

Тем временем Данфельд мановением руки призвал всех к спокойствию, а затем дал знак одному из оруженосцев; подойдя к Юранду и схватившись за веревку, висевшую

на его шее, тот подтащил рыцаря на несколько шагов ближе к столу.

Данфельд обвел всех торжествующим взглядом.

– Смотрите, – сказал он, – как могущество ордена побеждает злобу и гордыню.

– Дай Бог, чтобы всегда так было! – ответили хором присутствующие.

На минуту снова воцарилось молчание, затем Данфельд обратился к пленнику:

– Как бешеный пёс, кусал ты орден, и потому Бог дал, что, как пёс, ты стоишь перед нами с веревкой на шее и ждешь от нас милости и пощады.

– Не равняй меня с псом, комтур, – ответил ему Юранд, – ибо ты умаляешь честь тех, кто бился со мною и погиб от моей руки.

Ропот пробежал по толпе вооруженных немцев; трудно, однако, было сказать, разгневала ли их смелость ответа или поразила его справедливость.

Но комтуру не понравился такой оборот разговора.

– Смотрите, – воскликнул он, – обуянный кичливостью и гордыней, он ещё плюет нам в глаза!

А Юранд воздел руки, как бы призывая небо в свидетели, и ответил, качая головой:

– Бог видит, что моя гордыня осталась за воротами замка. Бог видит и рассудит, не опозорили ли вы сами себя, позоря мое рыцарское достоинство, ибо одна у нас честь, и блюсти её должен всякий опоясанный рыцарь.

Данфельд нахмурился, но в эту минуту замковый шут закричал, лязгая цепью, на которой он держал медведя:

– Проповедь, проповедь! Из Мазовии проповедник явился! Слушайте проповедь!

Затем он обратился к Данфельду:

– Господин! Граф Розенгейм, когда звонарь своим звоном слишком рано разбудил его к проповеди, велел ему съесть от узла до узла всю веревку колокола; у этого проповедника тоже веревка на шее, велите ему съесть её, пока он кончит проповедь.

И шут с беспокойством воззрился на комтура, не зная, засмеется ли тот или прикажет высечь его за то, что он некстати вмешался в разговор. Но крестоносцы, учтивые, кроткие, даже смиренные, когда они чувствовали свою слабость, не знали никакой жалости к побеждённым. Данфельд не только кивнул скомороху, разрешая ему продолжать потеху, но и сам позволил себе столь неслыханную грубость, что на лицах некоторых молодых оруженосцев изобразилось изумление.

– Не жалуйся, что тебя опозорили, – сказал он. – Если я даже на псарню тебя pošлю, то псарем ордена лучше быть, чем вашим рыцарем.

А осмелевший шут закричал:

– Принеси скребницу да почисти моего медведя, а он тебе космы лапой расчесет.

Там и тут раздался смех, чей-то голос крикнул из толпы:

– Летом будешь камыш косить на озере.

– И раков ловить на пададь, – закричал другой.

– А сейчас, – прибавил третий, – ступай отгонять воронье от висельников. Хватит тут тебе работы.

Так издевались они над страшным для них некогда Юрандом. Постепенно вся толпа заразилась весельем. Кое-кто, выйдя из-за стола, подходил к пленнику поближе и, глядя на него, говорил: «Так это он самый и есть, тот кабан из Спыхова, которому наш комтур выбил клыки? Глянь, да у него пена на морде. И рад бы укусить, да не может!» Данфельд и другие братья хотели сперва изобразить некоторое подобие торжественного судилища, но, увидев, что у них ничего не получается, тоже поднялись со скамей и смешались с окружившей Юранда толпой.

Правда, это не понравилось старому Зигфриду из Янсборка; но сам комтур сказал ему: «Не хмурьтесь, то-то будет потеха!» И они тоже стали глазеть на Юранда; случай и впрямь был исключительный, ибо раньше рыцарь или кнехт, увидевший его так близко, закрывал обычно глаза навеки. Некоторые говорили: «Плечист, ничего не скажешь, хоть и кожух на нём под вретисцем; обвертеть бы его гороховой соломой да водить по ярмаркам...» Другие, чтобы стало ещё веселей, потребовали пива.

Через минуту зазвенели пузатые братины, и темный зал наполнился запахом пены, стекающей из-под крышек. «Вот и отлично! – сказал, развеселившись, комтур. – Эка важность, опозорили его!» К Юранду снова стали подходить крестonosцы; тыча ему в бороду братины, они приговаривали: «Что, мазурское рыло, небось хочется выпить!» А некоторые, плеснув себе в пригоршню пива, брызгали ему в глаза. Юранд стоял в толпе, оглушенный, уничтоженный; наконец он шагнул к старому Зигфриду и, чувствуя, что больше ему не выдержать, крикнул во весь голос, чтобы заглушить шум, стоявший в зале:

– Заклинаю вас всем святым, отдайте мне дочь, как вы обещали!

Он хотел схватить старого комтура за правую руку, но тот поспешно отодвинулся и сказал:

– Прочь, невольник! Чего тебе надобно?

– Я отпустил Бергова на волю и сам пришел сюда, потому что вы обещали отпустить за это на волю мою дочь.

– Кто тебе обещал? – спросил Данфельд.

– Ты, комтур, коли только есть у тебя совесть.

– Свидетелей тебе не найти, а впрочем, они и не нужны, когда речь идет о чести и слове.

– О твоей чести, о чести ордена! – воскликнул Юранд.

– Что ж, тогда мы отдадим тебе твою дочь! – ответил Данфельд.

Затем он обратился к присутствующим и сказал:

– Всё, что встретило его здесь, отнюдь не достойная кара за его злодеяния, а лишь невинная потеха. Но раз мы обещали вернуть ему дочь, раз он явился сюда и смирился пред нами, то знайте, что слово крестоносца так же нерушимо, как слово Бога, и что дочери его, которую мы отняли у разбойников, мы даруем сейчас свободу, а после примерного покаяния во грехах, совершенных против ордена, и ему позволим вернуться домой.

Некоторые удивились, услышав такие речи; зная Данфельда и старую обиду, которую он питал к Юранду, никто не ждал, что он будет так великодушен. Старый Зигфрид, Ротгер и брат Готфрид воззрились на него, подняв в изумлении брови. Однако Данфельд притворился, будто не видит их вопросительных взглядов.

– Дочь мы отошлем под стражей, – сказал он, – а ты останешься здесь, пока наша стража не вернется невредимой и пока ты не заплатишь выкупа.

Юранд и сам изумился, он уже совсем потерял надежду на то, что, жертвуя собой, сможет спасти Данусю. Он устремил на Данфельда благодарный взгляд и произнес:

– Да вознаградит тебя Бог, комтур!

– Знай же, каковы рыцари Христа! – ответил ему Данфельд.

– Велик Бог милостию, – сказал Юранд. – Долгое время не видал уж я своего дитяти, позволь же мне поглядеть на дочку и благословить её.

– Да, но только в присутствии всех, дабы все могли свидетельствовать, сколь верны мы нашему слову и милостивы!

С этими словами он велел стоявшему рядом оруженосцу привести Данусю, а сам подошел к де Лёве, Ротгеру и Готфриду, которые окружили его и торопливо и взволнованно стали что-то ему говорить.

– Я не стану противиться, – говорил старый Зигфрид, – но ведь у тебя были совсем другие намерения.

А вспыльчивый, прославившийся своей храбростью и жестокостью Ротгер воскликнул:

– Как, ты не только хочешь девку выпустить, но и этого дьявола, этого пса, чтобы он опять стал кусаться?

– Он теперь ещё не так будет кусаться! – поддержал его Готфрид.

– Ба!.. Зато выкуп заплатит, – небрежно возразил Данфельд.

– Да если он все свои богатства отдаст, так за год с нас вдвое слупит!

– Что до девки, так я не стану противиться, – повторил Зигфрид. – Но из-за этого волка мы, овечки, ещё наплачемся.

– А наше слово? – с улыбкой спросил Данфельд.

– Мы слышали от тебя другие речи...

Данфельд пожал плечами.

– Мало вам было потехи? – спросил он. – Хотите ещё?

Юранда снова окружила толпа; все считали, что великодушный поступок Данфельда покрыл орден славой, и бахвалились перед старым рыцарем.

– Что, сокрушитель, – говорил капитан замковых лучников, – небось твои язычники не обошлись бы так с нашим христианским рыцарем?

– Кровь нашу лил?

– А мы тебе хлеб за камень...

Но Юранд не обращал уже внимания на их слова, полные гордости и пренебрежения, сердце его смягчилось, и глаза увлажнились слезами. Он думал о том, что через минуту увидит Данусю, и увидит её только по милости победителей.

– Правда, правда, – говорил он, сокрушенно глядя на крестоносцев, – я чинил вам обиды, но... я отроду не был предателем.

Неожиданно в другом конце зала чей-то голос крикнул: «Девку ведут!» – и в зале внезапно воцарилась тишина. Солдаты расступились; никто из них не видал ещё дочери Юранда, а большая часть не знала даже о том, что она находится в замке, так как Данфельд все свои действия окружал тайной. Однако те, кто дознался об этом, уже успели шепнуть другим, как чудно она хороша. Все глаза с необычайным любопытством устремились на дверь, в которой она должна была появиться.

Сперва в дверях показался оруженосец, за ним та самая, уже всем известная послушница, которая ездила в лесной дом, а уж за нею в зал вошла девушка в белом, с распущенными волосами, повязанными на лбу лентой.

И вдруг в зале раздался громовый взрыв смеха. Юранд, который в первую минуту бросился было к дочери, попятился вдруг и, побледнев как полотно, воззрился в изумлении на длинную голову, синие губы и бессмысленные глаза юродивой, которую пытались выдать ему за Данусю.

– Это не моя дочь! – проговорил он с тревогой в голосе.

– Не твоя дочь? – воскликнул Данфельд. – Клянусь святым Либерием из Падерборна[1], либо мы не твою дочь отбили у разбойников, либо её колдун обернул, ибо другой у нас в Щитно нет.

Старый Зигфрид, Ротгер и Готфрид в восторге от хитрости Данфельда обменялись быстрыми взглядами; но ни один из них не успел слова вымолвить, как Юранд крикнул страшным голосом:

– Здесь она! Здесь, в Щитно! Я слышал, как она пела, я слышал голос моего дитяти!

Данфельд обернулся к собравшимся и сказал спокойно и отдельно:

– Я беру в свидетели всех присутствующих, особенно тебя, Зигфрид из Янсборка, и вас, благочестивые братья Ротгер и Готфрид, что, выполняя данное мною слово и данный мною обет, я отдаю Юранду из Спыхова эту девку, о которой разбойники, разбитые нами, говорили, будто она его дочь. Если же это не она, то не наша в том вина, но воля господа Бога нашего, который пожелал предать так Юранда в наши руки.

Зигфрид и оба младших брата склонили головы в знак того, что слышат его и в случае надобности будут перед всеми свидетельствовать. Затем они снова обменялись быстрыми взглядами, ибо это превзошло все их ожидания: схватить Юранда, не отдать ему дочери, а с виду как будто сдержать обещание – кто ещё мог бы измыслить такое?

Но Юранд бросился на колени и стал заклинать Данфельда всеми святынями Мальборка и прахом его отцов отдать ему дочь, не поступать так, как поступают лжецы и предатели, нарушающие клятвы и обеты. В голосе его звучало такое неподдельное отчаяние, что кое-кто догадался о коварстве, а другим пришлось даже в голову, не оборотил ли и впрямь девушку какой-нибудь чародей.

– Бог видит твоё вероломство! – взывал Юранд. – Заклинаю тебя ранами спасителя, смертным твоим часом, отдай мне мое дитя!

И, поднявшись с колен, он пошел, согнувшись, к Данфельду, словно желал обнять его колени, и глаза его светились безумием, а голос прерывался то от муки и страха, то от отчаяния, то от угрозы. Когда Данфельд услышал обвинения в предательстве и обмане, он фыркнул, побагровел от гнева, и, желая вконец растоптать врага, шагнул вперед, и, нагнувшись к несчастному отцу, прошипел ему на ухо:

– А коли я и отдам её тебе, так с моим ублюдком...

В то же мгновение Юранд взревел, как бык, и, схватив обеими руками Данфельда, поднял его вверх. В зале раздался пронзительный крик: «Пощади!!» – и тело комтура с такой страшной силой грянулось о каменный пол, что мозг из разбитого черепа обрызгал стоявших поблизости Зигфрида и Ротгера.

Юранд отскочил к боковой стене, у которой стояло оружие, и, схватив огромный двуручный меч, ринулся как ураган на окаменевших от ужаса немцев.

Это были люди, привычные к битвам, резне и крови, но такой страх объял их души, что, даже опомнившись, они всё же шарахнулись и бросились врассыпную, как стадо овец перед волком, который убивает их одним ударом клыков. Зал огласился криками ужаса, топотом человеческих ног, звоном опрокинутой посуды, воплями слуг, рыком медведя, который вырвался из рук скомороха и полез на высокое окно, и неистовыми голосами, требовавшими оружия, щитов, мечей и самострелов. Наконец сверкнуло оружие, и десятки клинков направились на Юранда, но он, ничего не видя, полуобезумев, сам бросился на них, и начался дикий, неслыханный бой, больше похожий на резню. Молодой и горячий брат Готфрид первый преградил Юранду путь; но тот молниеносным ударом меча отрубил ему голову вместе с рукой и лопаткой; затем от руки старого рыцаря пали капитан лучников, замковый эконом фон Брахт и англичанин Хьюг, который не много понимал из того, что вокруг него происходит, но, видя страдания Юранда, жалел его и оружие обнажил только после убийства Данфельда. Другие, видя, как могуч Юранд и как он разъярен, сбились в кучу,

чтобы сообща дать ему отпор, однако это привело только к ещё большим потерям. Волосы у Юранда встали дыбом, весь залитый кровью, сверкая безумными глазами, он в неистовстве и исступлении рубил и крошил врагов и, рассекая толпу страшными ударами меча, валил немцев на забрызганный кровью пол, как ураган валит кусты и деревья. И снова наступила ужасная минута; казалось уже, что грозный мазур один вырежет и перебьет всю эту толпу, что вся эта свора вооруженных немцев подобна своре визжащих собак, которые без помощи стрелков не могут одолеть свирепого вепря-одинца, что не могут они сравняться с Юрандом в силе и ярости и борьба с ним несет им только гибель и смерть.

– Рассыпайся! Окружай! Бей сзади! – крикнул старый Зигфрид де Лёве.

Все рассыпались по залу, как стая скворцов рассыпается по полю, когда на нее ринется с неба кривоклювый ястреб, но не могли окружить Юранда, так как он в пылу боя, вместо того чтобы найти место для обороны, погнался за врагами по стене, и те, кого он успел догнать, пали, словно сраженные громом. Унижение, отчаяние, обманутая надежда пробудили в нём жажду крови, которая, казалось, удесятирила его страшную силу. Одной рукой он как перышком орудовал мечом, который самые сильные крестоносцы могли поднять только обеими руками. Он не дрался за жизнь, не искал спасения, не стремился даже к победе, он жаждал мести, и, как огонь или как река, хлынув через плотину, сметает слепо всё, что стоит на её пути, так и он, страшный истребитель, ничего не видя, сек, крушил, ломал, теснил и уничтожал своих врагов.

Они не могли поразить его в спину, потому что никто не мог его догнать, да простые солдаты и подойти к нему сзади боялись, понимая, что, если он обернется, им не миновать смерти. Других объял невыразимый ужас при мысли, что обыкновенный человек не может нанести такой урон и что перед ними противник, которому пришли на помощь сверхъестественные силы.

Но вот старый Зигфрид и брат Ротгер взбежали на хоры, которые тянулись вдоль зала над большими окнами, и стали звать за собой других. Толкая друг друга на узеньких ступенях, все стремительно ринулись вверх, чтобы, укрывшись поскорее на хорах, разбить оттуда богатыря, с которым немислим был рукопашный бой. Наконец последний солдат захлопнул за собой дверь, ведущую на хоры, и Юранд остался внизу один. На хорах раздались крики радости и торжества, и вскоре на рыцаря полетели тяжелые дубовые скамьи, и табуреты, и железные рукояти факелов. Одна из рукоятей угодила Юранду в лоб над бровями и залила ему кровью лицо. В ту же минуту распахнулась высокая входная дверь, и кнехты, которых кликнули в верхние окна со двора, толпой ввалились в зал с копьями, алебардами, секирами, самострелами, дрекольями, веревками и всяким иным оружием, какое они только успели второпях захватить.

А обезумевший Юранд отёр левой рукой кровь с лица, чтобы она не мешала ему видеть, сжался весь и ринулся на всю эту толпу. Снова в зале раздались крики, лязг железа, скрежет зубов и пронзительные стоны умирающих.

## II

Вечером в том же зале сидел за столом старый Зигфрид де Лёве, который после гибели комтура Данфельда временно принял управление Щитно, а рядом с ним брат Ротгер, рыцарь де Бергов, бывший невольник Юранда, и двое благородных юношей на искусе, которые вскоре должны были надеть белые плащи. Зимняя буря выла за окнами, сотрясая свинцовые переплеты и колебля пламя факелов, пылавших на железных рукоятях; клубы дыма от дуновения бури вырывались порой из камина.



Братья собрались на совет; однако все хранили молчание, ожидая, что скажет Зигфрид, а тот, опершись локтями на стол и сжав руками седую поникшую голову, сидел угрюмый, с мрачной тенью на лице и темной думой на сердце.

– О чём же нам совет держать? – спросил брат Ротгер.

Зигфрид поднял голову, посмотрел на брата, вызвавшего его из задумчивости, и сказал:

– О погроме, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, как нам поступить, чтобы не произошло вреда для ордена.

Он снова умолк и только через минуту огляделся кругом и втянул в себя воздух.

– Тут ещё пахнет кровью.

– Нет, комтур, – возразил Ротгер. – Я велел вымыть полы и покурить серой. Это серой пахнет.

Зигфрид обвел странным взглядом присутствующих и воскликнул:

– Дух Света, упокой усопших брата Данфельда и брата Готфрида!

Все поняли, что старик взывает к Богу и молит о упокоении усопших потому, что при упоминании о сере он подумал про ад; трепет объял рыцарей, и они хором ответили:

– Аминь, аминь, аминь!

С минуту слышался вой ветра и дребезжание оконных переплетов.

– Где тела комтура и брата Готфрида? – спросил старик.

– В часовне. Священники поют над ними литании.

– Они уже в гробах?

– В гробах, только у комтура закрыта голова, у него и череп и лицо разбиты.

– Где остальные мертвецы? Где раненые?

– Мертвецов положили на снег, чтобы они заоченели, пока сколотят гробы, а раненые уже перевязаны и лежат в госпитале.

Зигфрид снова сжал руками голову.

– И всё это сотворил один человек!.. Дух Света, храни орден, когда начнется великая война с этим волчьим племенем!

Ротгер поднял глаза, словно силясь что-то вспомнить.

– Я слышал под Вильно, – сказал он, – как самбийский правитель говорил своему брату, магистру: «Если ты не начнешь великой войны и не истребишь это племя так, чтобы стёрлась сама память о нём, горе тогда нам и нашему народу».

– Господи, пошли великую войну, дабы нам сразиться с ними! – сказал один из юношей, пребывающих на искусе.

Зигфрид устремил на него долгий взгляд, как бы желая сказать: «Сегодня ты мог сразиться с одним из них», – но при виде невзрачной фигуры юноши вспомнил, быть может, о том, что и сам, несмотря на всё свое прославленное мужество, не пожелал идти на верную смерть, и не стал укорять его.

– Кто из вас видел Юранда? – спросил он.

– Я, – ответил де Бергов.

– Он жив?

– Жив. Лежит в той самой сети, которой мы его опутали. Когда он очнулся, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил.

– Добивать нельзя. Он у мазуров человек значительный, они подняли бы страшный шум, – возразил Зигфрид. – И скрывать всё, что случилось тут, нам не придется, слишком много было свидетелей.

– Что же нам говорить и что делать? – спросил Ротгер.

Зигфрид задумался.

– Вы, благородный граф де Бергов, – заговорил он через минуту, – поезжайте в Мальборк к магистру. Вы томились в неволе у Юранда и как гость ордена вовсе не должны непременно за нас заступаться, вам поэтому скорее поверят. Расскажите обо всём, что вы видели, о том, как Данфельд отбил у пограничных разбойников какую-то девушку и, думая, что это дочь Юранда, дал ему знать об этом, как Юранд прибыл в Щитно и... ну, о том, что было дальше, вы сами знаете...

– Простите, благочестивый комтур, – сказал де Бергов. – Я томился в Спыхове в тяжкой неволе и как ваш гость охотно свидетельствовал бы за вас; но скажите мне, чтобы совесть моя была спокойна: не было ли в Щитно подлинной дочери Юранда и не вероломство ли Данфельда разъярило так её грозного отца?

Зигфрид де Лёве не сразу ответил. Лютой ненавистью ненавидел он польское племя, даже Данфельда превосходил жестокостью, и хищен был, когда дело касалось ордена, надменен и алчен, но не любил строить козни. Тяжелым испытанием, отравлявшим всю его жизнь, были эти козни, ставшие уже, вследствие безнаказанности и самочинства крестоносцев, общим и неизбежным явлением в жизни ордена. Де Бергов затронул его самое больное место, и только после продолжительного молчания старик сказал:

– Данфельд предстал уже пред судилищем господя, если же вас, граф, спросят, что вы обо всём этом думаете, то вы можете сказать что вам угодно. Но если вас спросят, что видели вы собственными глазами, то скажите, что, прежде чем мы опутали сетью безумного мужа, вы, кроме раненых, видели здесь, на полу, девять трупов, и между ними трупы Данфельда, брата Готфрида, фон Брахта, Хьюга и двух благородных юношей... Упокой, господи, души усопших рабов твоих! Аминь!

– Аминь, аминь! – снова повторили юноши, пребывающие на искусе.

– Скажите также, – прибавил Зигфрид, – что как ни хотел Данфельд усмирить врага ордена, всё же никто из нас не обнажил первый меч.

– Я буду говорить только то, что видел собственными глазами, – ответил де Бергов.

– Около полуночи будьте в часовне, – мы придем помолиться за усопших, – сказал Зигфрид.

И, прощаясь, в знак благодарности протянул де Бергову руку; он хотел остаться один на один с братом Ротгером, которого любил беззаветно, как может любить только отец единственного сына. В ордене по поводу этой безграничной любви строили всякие догадки; но никто ничего толком не знал, тем более что рыцарь, которого Ротгер считал своим отцом, жил ещё в своем маленьком замке в Германии и никогда не отрёкался от сына.

После ухода Бергова Зигфрид уснул и обоим юношей, пребывающих на искусе, под тем предлогом, что надо последить, как сколачивают гробы для убитых Юрандом простых кнехтов, а когда дверь закрылась за ними, живо повернулся к Ротгеру и произнес:

– Послушай, что я тебе скажу, есть одно только средство: надо, чтобы ни одна живая душа никогда не узнала, что у нас была подлинная дочь Юранда.

– Это нетрудно, – ответил Ротгер, – ведь о том, что она у нас, не знал никто, кроме Данфельда, Готфрида, нас двоих и послушницы, которая стережет её. Людей, которые привезли её из лесного дома, Данфельд велел напоить и повесить. Среди стражи были такие, которые кое о чём догадывались, но, когда вышла эта юродивая, они совсем были сбиты с толку, и сейчас сами не знают, мы ли это ошиблись или какой-то чародей и впрямь оборотил дочку Юранда.

– Это хорошо, – заметил Зигфрид.

– Мне вот что пришло в голову, благородный комтур: коли Данфельд уже мёртв, не свалить ли на него всю вину?..

– И признаться перед всем светом в том, что в мирное время, когда шли переговоры с мазовецким князем, мы похитили из его дома воспитанницу княгини и её любимую придворную? Нет, это немыслимое дело. При дворе нас видели вместе с Данфельдом, и великий госпитальер, его родич, знает, что мы действовали всегда заодно. Если мы обвиним Данфельда, он станет мстить нам за то, что мы порочим его память.

– Что ж, надо тогда посоветоваться, как быть, – сказал Ротгер.

– Надо посоветоваться и придумать хорошее средство, иначе нам несдобровать! Отдать дочку Юранду, так она сама скажет, что мы вовсе не отбивали её у разбойников и что люди, которые её похитили, привезли её прямо в Щитно.

– Это верно.

– Дело не только в ответственности. Князь станет жаловаться польскому королю, и королевские послы тотчас поднимут крик при всех дворах о насилиях, которые мы чиним, о нашем вероломстве, о наших злодеяниях. Какой вред может от этого произойти для ордена! Да если только сам магистр знал правду, он должен был бы повелеть нам скрыть эту девушку.

– Но если она пропадет, они всё равно будут винить нас? – спросил Ротгер.

– Нет! Брат Данфельд был человек хитрый. Помнишь, он поставил Юранду условие, чтобы тот не только явился в Щитно, но раньше объявил всем своим и написал князю, будто едет выкупать дочь у разбойников и знает, что её у нас нет.

– Это верно. Но как же мы объясним тогда всё, что случилось в Щитно?

– Мы скажем, будто знали о том, что Юранд ищет дочь, и, когда отбили у разбойников какую-то девку, которая не могла сказать нам, кто она такая, то дали знать об этом Юранду, думали, что, может, это его дочь, а тот, как приехал да увидел эту девку, обезумел и, будучи одержим злым духом, пролил столько невинной крови, что и в бою не бывает такого кровопролития.

– Воистину, разум и опыт жизни глаголет вашими устами, – произнес Ротгер. – Если бы мы свалили всю вину на Данфельда, его дурные дела всё равно приписали бы ордену, стало быть, и всем нам, и капитулу, и самому магистру, а так будет доказана наша непричастность и во всем будут повинны Юранд и поляки, которые дышат злобой на нас и знают со злыми духами...

– И пусть тогда судит нас кто хочет: папа ли или римский император!

– Да.

На минуту воцарилось молчание, затем брат Ротгер спросил:

– Что же мы сделаем с дочкой Юранда?

– Давай подумаем.

– Отдайте её мне.

Зигфрид посмотрел на него и сказал:

– Нет! Послушай, молодой брат! Когда дело касается ордена, нельзя потворствовать слабостям ни мужчины, ни женщины, но нельзя потворствовать и своим собственным слабостям. Данфельда покарала десница господня, ибо он не только хотел отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и удовлетворить свою похоть.

– Вы плохо обо мне думаете! – возразил Ротгер.

– Нельзя потворствовать своим слабостям, – прервал его Зигфрид, – ибо плоть и дух ваши станут немощны и жестокое это племя со временем так придавит коленом вам грудь, что больше вы уже не восстанете.

И в третий раз он мрачно оперся на руку головой, и видно было, что говорит старик только с собственной совестью и себя только подразумевает, потому что через минуту он сказал:

– И на моей совести много людской крови, много мук, много слез... И я, когда дело касалось ордена и я видел, что силой не возьмешь, без колебаний искал иных путей; но когда я предстану пред судилищем господя, которого чту и люблю, то скажу ему: «Для блага ордена я свершил сие, а себе избрал одно лишь

долготерпение».

Сжав руками виски, он поднял глаза к небу и воскликнул:

– Отрекитесь от плотских утех и непотребства, укрепите вашу плоть и ваш дух, ибо я вижу в воздухе белые орлиные крылья и когти орла, красные от крови крестоносцев...

Его речь прервал такой страшный порыв бури, что вверху над хорами с шумом распахнулось окно и в зал с хлопьями снега ворвался вой и свист мотели.

– Во имя духа света! Какая зловещая ночь! – сказал старый крестоносец.

– Ночь злых духов, – заметил Ротгер. – Но скажите, почему вы говорите не «во имя Бога», а «во имя духа света»?

– Дух света – это Бог, – ответил старик, затем, как бы желая переменить разговор, спросил:

– А у гроба Данфельда есть священники?

– Да.

– Боже, смилуйся над ним, грешным.

И они оба умолкли, затем Ротгер позвал слуг и приказал им закрыть окно и снять нагар с факелов, а когда они вышли, снова спросил:

– Что же вы сделаете с дочкой Юранда? Возьмете её отсюда в Янсборк?

– Я возьму её в Янсборк и сделаю с нею то, что нужно будет для блага ордена.

– А что же мне надо делать?

– Есть ли у тебя мужество?

– Разве я совершил поступок, который дал бы вам право сомневаться в этом?

– Нет, я в тебе не сомневаюсь, я знаю тебя и за мужество люблю больше всех на свете. Тогда поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему всё, что случилось тут, так, как мы решили.

– Но ведь мне может грозить гибель?

– Если твоя гибель послужит к вящей славе Христа и ордена, ты должен пожертвовать жизнью. Но нет! Не ждет тебя гибель! Они гостям не чинят обид, разве только кто-нибудь захочет вызвать тебя на бой, как тот молодой рыцарь, который всем нам послал вызов... Он ли или кто другой, ведь тебе никто из них не страшен...

– Дай-то Бог! И всё же они могут схватить меня и ввергнуть в подземелье.

– Они этого не сделают. Помни, что Юранд написал князю письмо, а ты ведь поедешь жаловаться на Юранда. Ты расскажешь им всю правду о том, что он натворил в

Щитно, и они должны будут поверить тебе... Мы первые дали им знать, что у нас какая-то девка, первые пригласили его приехать и посмотреть её, а он приехал, обезумел, убил комтура, перебил наших людей. Ты расскажешь им так обо всём, и что же тогда они смогут тебе ответить? Слух о смерти Данфельда разнесется уже по всей Мазовии. Князь не станет поэтому жаловаться. Дочку Юранда, наверно, будут искать, но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то никто не заподозрит, что мы причастны к её похищению. Надо выказать храбрость и заткнуть им рты, они ведь подумают, что, если бы мы были виноваты, никто из нас не отважился бы приехать к ним.

– Это верно. После похорон Данфельда я тотчас отправлюсь в путь.

– Да благословит тебя Бог, сыночек! Если всё сделать с умом, они не только тебя не задержат, но вынуждены будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать: вот, мол, что творят они с нами!

– Надо будет жаловаться так при всех дворах.

– Великий госпитальер проследит за этим и для блага ордена, и как родич Данфельда.

– Да! Но если этот спыховский дьявол выживет и вырвется на волю...

Зигфрид, угрюмо глядя перед собой, ответил медленно и раздельно:

– Если он даже вырвется на волю, то никогда не сможет произнести ни единого слова жалобы на орден.

Затем он стал учить Ротгера, что говорить и чего требовать при мазовецком дворе.

### III

Однако весть о событии в Щитно дошла до Варшавы ещё до прибытия брата Ротгера и вызвала там удивление и беспокойство. Ни сам князь, ни придворные не могли понять, что же произошло. Незадолго до этого Миколай из Длуголяса должен уже был отправиться в Мальборк с письмом от князя, в котором тот с горечью жаловался на самочинство пограничных комтуров, похитивших Данусю, и, прибегая даже к угрозам, требовал незамедлительно отпустить её на волю. И вдруг пришло письмо из Спыхова от Юранда, в котором он сообщал, что дочь его похитили не крестоносцы, а обыкновенные пограничные разбойники, и что он в самом непродолжительном времени её выкупит. Поэтому посол не поехал в Мальборк; никому не пришло в голову, что крестоносцы могли вынудить у Юранда это письмо, пригрозив ему смертью дочери. Правда, трудно было понять, как могли разбойники похитить девушку. На границе шайки разбойников, будь то подданные князя или ордена, учиняли нападения не зимой, когда их могли выдать следы на снегу, а летом, да и нападали на купцов или грабили деревушки, хватая людей и угоняя скот. Казалось совершенно невероятным, чтобы они дерзнули посягнуть на князя и похитить его воспитанницу, к тому же дочь могущественного рыцаря, перед которым всё трепетало. Но письмо Юранда рассеяло все сомнения, оно было скреплено его собственной печатью и на этот раз доставлено человеком, о котором было точно известно, что он из Спыхова. Всякие подозрения как будто отпали, только князь разгневался так, как давно уж не гневался, и велел преследовать разбойников по всей границе своего княжества, призвав и плоцкого князя не давать пощады насильникам.

И тут вдруг пришла весть о событии в Щитно.

Переходя из уст в уста, весть была раздута и преувеличена. Рассказывали, будто Юранд ворвался в замок с пятью всадниками через открытые ворота и учинил такую резню, что из стражи мало кто остался цел и пришлось посылать за подмогой в ближайшие замки, скликать рыцарей и вооруженные пешие отряды, которые только после двухдневной осады захватили замок и убили Юранда с его товарищами. Толковали также, будто все эти войска вторгнутся теперь в пределы княжества и неминуемо вспыхнет война. Князь не верил этим слухам, он знал, как важно для великого магистра, чтобы в случае войны с польским королем оба мазовецкие княжества не стали на сторону королевства; не было для князя тайной и то, что в случае нападения крестоносцев на него или на Земовита плоцкого никто не сможет удержать королевство от выступления в их защиту и что великий магистр боится этой войны. Понимая, что она неизбежна, великий магистр стремился, однако, оттянуть её; он и по натуре был миролюбив, да и померяться силами с могущественным Ягайлом мог только, подготовив войско, какого орден ещё никогда не выставлял, и обеспечив себе помощь государей и рыцарства не только Германии, но и всего Запада.

Князь войны не боялся, однако хотел знать, что же в самом деле произошло, что надо думать о событии в Щитно, исчезновении Дануси и о всех тех слухах, которые приходили с границы. Поэтому, при всей своей ненависти к крестоносцам, он обрадовался, когда однажды вечером капитан лучников доложил ему, что приехал рыцарь ордена и просит аудиенции.

Князь принял крестоносца надменно; тотчас признав в нём одного из тех братьев, которые были у него в лесном доме, он сделал вид, что не узнает его, и спросил, кто он такой, откуда прибыл и что привело его в Варшаву.

– Я брат Ротгер, – ответил крестоносец, – и недавно имел честь бить вам челом, вельможный князь.

– Почему же ты, будучи братом ордена, не надел своих знаков?

Рыцарь стал толковать князю, что он не надел белого плаща с крестом только потому, что его тогда непременно схватили бы и убили мазовецкие рыцари; повсюду, мол, на свете, во всех королевствах и княжествах, знак креста на плаще хранит и обеспечивает гостеприимство, и в одном только мазовецком княжестве крест угрожает верной гибелью.

Князь в гневе прервал его.

– Не крест, – сказал он, – ибо крест и мы целуем, а ваша бесчестность... А коли вас в другом месте лучше принимают, то только потому, что меньше вас знают.

Видя, как смешался рыцарь, князь спросил:

– Ты был в Щитно, не знаешь ли, что там произошло?

– Я был в Щитно и знаю, что там произошло, – ответил Ротгер, – сюда же я прибыл не как посол, а лишь затем, что умудренный опытом и благочестивый комтур из Янсборка сказал мне: «Наш магистр любит благочестивого князя и верит в его справедливость, так вот я поспешу в Мальборк, а ты поезжай в Мазовию и бей челом князю на Юранда, расскажи о нашей обиде, о нанесенном нам бесчестии, о нашей беде. Не похвалит справедливый князь нарушителя мира и жестокого обидчика,

который столько пролил христианской крови, словно он не Христа слуга, но сатаны».

И крестоносец стал рассказывать обо всём, что произошло в Щитно, о том, как они, отбив у разбойников девушку, вызвали Юранда посмотреть, не его ли это дочь, как тот вместо благодарности пришел в ярость и убил Данфельда и брата Готфрида, англичанина Хьюга, фон Брахта и двух благородных оруженосцев, не считая кнехтов; как они, памятуя заповедь Божию и не желая убивать его, вынуждены были в конце концов опутать сетью грозного мужа, который поднял тогда на себя руку и нанес себе тяжелые раны; как ночью после погрома не только в самом замке, но и в городе люди в вихре зимней бури слышали страшный хохот и голоса, взывавшие в воздухе: «Наш Юранд! Хулитель креста! Погубитель невинных душ! Наш Юранд!»

И весь рассказ, и особенно последние слова крестоносца произвели сильное впечатление на присутствующих. Все подумали в страхе, что, может, Юранд и впрямь призвал на помощь дьявола. Воцарилось немое молчание. Но на аудиенции присутствовала княгиня, которая всё горевала о своей дорогой Данусе; она обратилась к рыцарю с неожиданным вопросом.

– Вы говорите, рыцарь, – сказала она, – что, отбив юродивую, решили, что это дочь Юранда, и потому вызвали его в Щитно?

– Да, вельможная княгиня, – ответил Ротгер.

– Как же вы могли это подумать, когда в лесном доме вы видели со мною подлинную дочь Юранда?

Брат Ротгер смешался, он не был подготовлен к такому вопросу. Князь поднялся и вперил в крестоносца суровый взор, а Миколай из Длуголяса, Мрокота из Моцажева, Ясько из Ягельницы и прочие мазовецкие рыцари, тотчас подбежав к монаху, грозно спросили его:

– Как могли вы это подумать? Говори, немец, как могло это случиться?

Но брат Ротгер овладел собою и сказал:

– Мы, монахи, не поднимаем на женщин очей. В лесном доме вельможную княгиню окружало много придворных; но которая из них дочка Юранда, этого никто из нас не знал.

– Данфельд знал, – возразил Миколай из Длуголяса, – он даже говорил с нею на охоте.

– Данфельд предстал перед Богом, – ответил Ротгер, – и о нём я одно только могу сказать: на другой день после смерти на его гробу нашли расцветшие розы, а время зимнее, и рука человеческая не могла возложить их на гроб.

Снова наступило молчание.

– Откуда вы узнали, что у Юранда похитили дочь? – спросил князь.

– Столь дерзостен и кощунствен был этот поступок, что слух о нём разнесся повсюду. Узнав о похищении, мы заказали молебен, возблагодарив Создателя за то, что из лесного дома похитили не вашего родного сына или дочь, а простую



придворную.

– И всё же мне удивительно, как могли вы юродивую принять за дочь Юранда?

Брат Ротгер ответил:

– Данфельд нам вот что сказал: «Сатана часто предаёт своих слуг, может, он оборотил дочь Юранда».

– Разбойники – люди простые, они не могли подделать руку Калеба и печать Юранда! Кто это мог сделать?

– Злой дух.

И снова никто не нашелся, что ответить.

Ротгер устремил на князя пристальный взгляд и сказал:

– Воистину, как мечи, пронзают мне грудь ваши вопросы, ибо недоверие и подозрение таятся в них. Но, веря в правосудие Божие и в силу правды, я вопрошаю тебя, вельможный князь: разве Юранд подозревал нас в этом злодеянии? А если подозревал, то почему, прежде чем мы вызвали его в Щитно, он искал по всей границе разбойников, чтобы выкупить у них свою дочь?

– Это... верно! – произнес князь. – Если и скроешь что от людей, то от Бога не скроешь. В первую минуту он подозревал вас, но потом... потом думал иначе.

– Так свет истины побеждает тьму, – сказал Ротгер.

И торжествующим взглядом окинул зал, думая, что крестоносцы хитрее и умнее поляков и что польское племя всегда будет добычей и снедью ордена, как муха бывает добычей и снедью паука.

Отбросив прежнюю вкрадчивость, он приступил к князю и заговорил громко и настойчиво:

– Вознагради нас, государь, за наши потери, за наши обиды, за наши слезы и нашу кровь! Твоим подданным был Юранд, это исчадие ада, вознагради же нас за наши обиды и кровь во имя Бога, давшего власть государям, во имя правосудия и креста!

Князь воззрился на него в изумлении.

– Господи, помилуй! – сказал он. – Да чего же это ты хочешь? Юранд в безумии пролил вашу кровь, а я должен отвечать за его безумства?

– Он был твоим подданным, государь, – возразил крестоносец, – в твоём княжестве лежат его земли, его деревни и его городок, где томились в неволе слуги ордена; пусть же хоть эти богатства, эти земли и эта твердыня безбожия достанутся отныне под руку ордена. Воистину, недостойная это будет отплата за пролитую благородную кровь! Не воскресит она мёртвых; но, может, укротит гнев Божий и изгладит позор, который иначе падет на всё твоё княжество. О государь! Повсюду владеет орден землями и замками, данными ему милостивыми и благочестивыми христианскими государями, только здесь нет ни пяди земли в его обладании. Пусть же наша обида, взывающая о мести к Богу, будет хоть так вознаграждена, дабы могли мы сказать,

что и здесь люди живут в страхе Божиим.

Князь не мог прийти в себя от изумления, только после долгого молчания он воскликнул:

– Раны Божьи!.. Да по чьей же милости владеет орден здесь землями, как не по милости моих отцов? Мало вам ещё краев, земель и городов, которые некогда принадлежали нам, а ныне под вашей рукой? Жива ещё дочь Юранда, никто не донес нам ещё о её смерти, а вы уже хотите захватить сиротское приданое и сиротским хлебом вознаградить себя за обиды?

– Государь, ты признал наши обиды, – сказал Ротгер, – так вознагради же нас за них так, как велит тебе твоя княжеская совесть и твоя справедливая душа.

И снова возвеселился он сердцем, подумав про себя: «Теперь они не только не будут винить нас, но сами ещё подумают, как бы умыть руки и чистыми выйти из этого дела. Никто уже не станет нас укорять, и незапятнанной, как белый наш плащ, будет слава ордена».

Но неожиданно раздался голос старого Миколая из Длуголяса:

– Вас осуждают за алчность, и, видит Бог, справедливо, ибо в этом деле не честь ордена, а выгода важна для вас.

– Это правда! – хором поддержали его мазовецкие рыцари.

Крестоносец шагнул вперед, надменно поднял голову и, смерив их высокомерным взглядом, сказал:

– Я прибыл сюда не как посол, а как свидетель и рыцарь ордена, готовый до последнего издыхания защищать его честь!.. Если кто, вопреки словам самого Юранда, посмеет обвинить нас в том, что мы причастны к похищению его дочери, пусть поднимет эту рыцарскую перчатку и предаст себя в руки Господа.

С этими словами он бросил перчатку к ногам рыцарей; но те стояли в немом молчании, ибо не один из них иззубрил бы свой меч о шею крестоносца, но все они боялись суда Божия. Ни для кого не было тайной ясное свидетельство Юранда, что не рыцари ордена похитили его дочь, поэтому всякий думал в душе, что прав Ротгер и что он победит в бою.

А тот, подбоченясь, спросил с ещё большею дерзостью:

– Так кто же поднимет эту перчатку?

Внезапно на середину зала вышел рыцарь; никто не заметил его появления, и он уже некоторое время слушал в дверях речи крестоносца.

– Я! – сказал он, подняв перчатку.

И, бросив свою перчатку прямо в лицо Ротгеру, заговорил голосом, который в немой тишине как громом разнесся по залу:

– Я призываю Бога в свидетели, вельможного князя и всех достославных рыцарей этой земли и говорю тебе, крестоносец, что ты лжешь как собака, истине и

справедливости вопреки, и я вызываю тебя на бой на ристалище, пешего или конного, на копьях, секирах, коротких или длинных мечах и не на неволю, а до последнего издыхания, на смерть!

Слышно было, как муха пролетит. Все глаза обратились на Ротгера и рыцаря, вызвавшего его на бой; никто не признал этого рыцаря, так как на голове у него был шлем, правда, без забрала, но с округлым нашеломником, который спускался пониже ушей и совсем закрывал верхнюю часть лица, а на нижнюю отбрасывал томную тень. Крестоносец был изумлён не менее всех остальных. Как молния мелькает в ночном небе, так мелькнуло на его побледневшем лице выражение замешательства и ярости. Подхватив лосиную перчатку, которая скользнула у него по лицу и зацепилась за край наплечника, он спросил:

– Кто ты, взывающий к правосудию Божию?

Тот отстегнул подбородник, снял шлем, обнажив молодую светлую голову, и сказал:

– Я – Збышко из Богданца, муж дочери Юранда.

Все поразились, и Ротгер в том числе, так как никто, кроме княжеской четы, отца Вышонека и де Лорша, не знал о том, что Дануся обвенчана. Крестоносцы были уверены, что, кроме отца, у Дануси нет никого из родных, кто мог бы её защитить. Но тут вышел вперед господин де Лорш и сказал:

– Рыцарской честью свидетельствую, что этот рыцарь сказал правду, а кто посмеет в этом сомневаться, вот моя перчатка.

Ротгер, который не знал страха, в гневе, быть может, поднял бы и эту перчатку, но, вспомнив, что рыцарь, который бросил её, сам был знатен и к тому же графу Гельдернскому сродни, удержался, а тут и князь поднялся со своего места и, нахмурясь, сказал:

– Я запрещаю поднимать эту перчатку, ибо и я свидетельствую, что этот рыцарь сказал правду.

Услышав эти слова, крестоносец поклонился и сказал Збышку:

– Коли будет на то согласие, то пешими, на ристалище, на секирах.

– Я тебя и так ещё раньше вызвал, – ответил Збышко.

– Боже, ниспошли победу правому! – воскликнули мазовецкие рыцари.

#### IV

Весь двор – и рыцари и дамы – был в тревоге, так как все любили Збышка, а меж тем, зная о письме Юранда, никто не мог сомневаться в том, что правда на стороне крестоносца. К тому же было известно, что Ротгер – один из самых славных рыцарей ордена. Оруженосец ван Крист, быть может не без умысла, рассказывал мазовецким шляхтичам о том, что его господин, прежде чем стать вооруженным монахом, восседал однажды за почётным столом крестоносцев, к которому допускались лишь самые знаменитые рыцари, совершившие поход в святую землю либо победившие в бою чудовищных драконов или могущественных чародеев. Слушая рассказы ван Криста и хвастливые его уверения, будто его господину не раз доводилось одному биться против пятерых с мизерикордией в одной руке и секирой или мечом в другой, мазуры

ещё больше тревожились за Збышка. «Эх! – поговаривал кое-кто из них. – Был бы тут Юранд, так с двумя такими справился бы, ни один ведь немец не ушел из его рук, а хлопцу несдобровать – немец и посильней его, и постарше, да и поискусней!» Другие сожалели о том, что им не пришлось поднять перчатку, и говорили, что, не будь письма Юранда, они бы непременно это сделали, а так, мол, страшно суда Божия. Для собственного утешения они вспоминали при случае мазовецких, да и вообще польских рыцарей, которые и на придворных игрищах, и на поединках одерживали победы над западными рыцарями; в первую голову называли Завишу из Гарбова, с которым не мог померяться силами ни один рыцарь во всём христианском мире. Но были и такие, которые крепко надеялись на Збышка. «Косая сажень в плечах, – говорили они о молодом рыцаре, – слышали мы, как он однажды снял головы немцам с плеч на утоптанной земле». Но особенно ободрились все, когда накануне боя оруженосец Збышка, чех Глава, хлопец горячий, слушал-слушал рассказы ван Криста о неслыханных победах Ротгера, а потом схватил его за бороду, задрал ему голову вверх да и говорит: «Коли не стыдно тебе людям брехать, так на небо погляди, ведь и Бог тебя слышит!» Подержал это он так ван Криста, а потом, как отпустил, тот и стал спрашивать, кто он родом, и, узнав о благородном происхождении оруженосца, тоже вызвал его на поединок на секирах.

Очень тогда мазуры обрадовались. «Небось, – говорили они, – такие не дрогнут на поле боя, и, если только правда и Бог на их стороне, тевтонские псы не выйдут целыми из их рук». Но Ротгер так сбил всех с толку, что многих очень тревожило, на чьей же стороне правда, и сам князь разделял эту тревогу.

Вечером перед поединком он призвал Збышка и в присутствии одной только княгини спросил:

– Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Дануську? Разве Юранд тебе говорил об этом? Погляди, вот его письмо, оно написано ксёндзом Калемом, это вот печать Юранда, он пишет, что знает, что Дануську не крестоносцы похитили. Что он тебе говорил?

– Говорил, что не крестоносцы.

– Как же ты можешь рисковать головой и выходить на суд Божий?

Но Збышко молчал, только губы у него дрожали и слезы выступили на глазах.

– Я ничего не знаю, вельможный князь, – сказал он. – Мы уехали отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я ему повинился, что мы обвенчались с Дануськой. Он стал тогда сокрушаться, что, может, это грех; но, когда я ему сказал, что это воля Божья, он успокоился – и простил нас. Всю дорогу он говорил, что только крестоносцы могли похитить Данусю, а потом я сам не знаю, что с ним случилось!.. В Спыхов приехала та самая женщина, которая привозила для меня в лесной дом какие-то снадобья, а с нею приехал ещё один посланец. Они заперлись с Юрандом и вели с ним разговор. О чём они там толковали, я тоже не знаю, но только после этого разговора Юранд как с креста снятый стал, собственные слуги его не признали. Нам он сказал, что не крестоносцы Данусю похитили, а сам Бог весть зачем выпустил из подземелья Бергова и всех невольников, а потом уехал один, без оруженосца, без слуги... Сказал, будто едет к разбойникам выкупать Дануську, а мне велел ждать. Что поделаешь! Я ждал. А тут приходит вдруг весть из Щитно, что Юранд перебил немцев и сам сложил голову! О вельможный князь! Земля в Спыхове горела у меня под ногами я чуть ума не лишился. Посадил я людей своих на коней, чтобы отомстить за смерть Юранда, а ксёндз Калем мне и говорит: «Замка тебе не

взять, и войны ты не начинай, а поезжай к князю, может, там что-нибудь про Дануську и знают». Я вот и приехал и попал как раз тогда, когда этот пёс про обиды крестоносцев брехал да про то, что Юранд обезумел... Я, вельможный князь, потому его перчатку поднял, что уж раньше его вызвал на бой, и одно только я знаю, что они отъявленные лжецы, нет у них ни стыда, ни чести, ни совести! Вы только подумайте, вельможный князь и вельможная княгиня! Ведь это они закололи де Фурси, а всю вину за это злодеяние хотели свалить на моего оруженосца. Как вола его зарезали, а к тебе, вельможный князь, пришли требовать кары и возмездия. Кто может поклясться, что они и тогда не налгали Юранду, и теперь не налгали тебе, вельможный князь?.. Не знаю, не знаю я, где Дануська! Но я его вызвал на бой, и, хотя бы мне головой пришлось поплатиться, лучше мне умереть, чем жить без моей дорогой, без моей любимой Дануськи, милей которой нет для меня никого на свете!

С этими словами он сорвал в волнении сетку с головы, так что волосы рассыпались у него по плечам, и горько разрыдался. Княгиня Анна Данута, сама удрученная потерей Дануси, видя его муку, пожалела его, положила ему руки на голову и сказала:

– Да поможет тебе Бог, да утешит и благословит тебя!

V

Князь не стал чинить препятствий Збышку и Ротгеру, да по тогдашним обычаям он и не мог воспретить им биться. Он только потребовал, чтобы Ротгер написал магистру и Зигфриду де Лёве о том, что он первый бросил перчатку мазовецким рыцарям и потому выходит на бой с мужем дочери Юранда, который к тому же ещё раньше послал ему вызов. Крестоносец оправдывался перед великим магистром, он объяснял, что выходит на бой без позволения единственно потому, что речь идет о чести ордена и о том, чтобы рассеять грязные подозрения, которые могли бы покрыть позором орден, и что он, Ротгер, всегда готов смыть этот позор собственной кровью. Письмо было тотчас послано на границу с одним из слуг рыцаря, откуда его должны были отправить в Мальборк по почте, которую крестоносцы изобрели и ввели у себя на много лет раньше других стран.

Тем временем на замковом дворе утоптали снег и посыпали его золой, чтобы ноги противников не вязли в снегу и не скользили по гладкой его поверхности. Во всём замке царило необычайное движение. Рыцари и придворные дамы были в таком волнении, что в ночь накануне боя никто из них не ложился спать. Толковали о том, что конный бой на копьях и даже на мечах часто кончается одними ранами, а исход пешего боя, особенно на страшных секирах, всегда бывает смертельным. Сердца всех были на стороне Збышка, все любили его и Данусю и с тем большей тревогой вспоминали рассказы о славе и ловкости крестоносца. Многие женщины провели ночь в часовне, где после исповеди у ксёндза Вышонека молился и Збышко. Глядя на его юное лицо, они говорили друг дружке: «Совсем ещё мальчик!.. Каково же ему подставлять свою молодую голову под немецкую секиру?» Тем усерднее молились женщины Богу о ниспослании ему помощи. Но когда на рассвете Збышко поднялся с колен и прошел через часовню к выходу, чтобы в одном из замковых покоев надеть доспехи, женщины приободрились; голова и лицо были у Збышка и впрямь юношеские, но сам он был такой рослый и сильный, что показался им удалым молодцом, который справится даже с самым могучим богатырем.

Поединок должен был состояться во дворе замка, вокруг которого шла галерея.

Когда встал уже день, князь и княгиня вышли с детьми и сели посредине между

колоннами, откуда лучше всего был виден весь двор. Рядом с ними заняли места самые знатные придворные вельможи, благородные дамы и рыцари. Толпа заполнила все уголки галереи; слуги устроились за снежным валом, примостились на балконах и даже на крыше. «Дай Бог, чтобы наш не дался немцу!» – говорил простой народ.

День был холодный, сырой, но ясный; в воздухе носились целые стаи галок, гнездившихся под крышей и на башнях; испуганные необычайным движением, они кружили над замком, громко хлопая крыльями. Несмотря на холод, людей бросало в пот от волнения, а когда затрубила первая труба, возвестив выход противников, сердца у всех молотом забились в груди.

Противники вышли на ристалище с противоположных сторон и остановились на краях его. Все затаили дыхание, все подумали о том, что скоро-скоро две души улетят к подножию престола господня и два трупа останутся на снегу, – и при этой мысли краска сошла с лица у женщин, а мужчины впилась глазами в противников, стремясь по их виду и по доспехам угадать, на чьей стороне будет победа.

На крестоносце был надет панцирь, украшенный голубой финифтью, такие же набедерники и шлем с поднятым забралом и с пышным павлиньим султаном на гребне. Грудь, бока и спину Збышка охватывала великолепная миланская броня, которую он в свое время захватил в добычу у фризов. На голове у него был шлем с нашеломником, но без подбородника и без перьев, на ногах сапоги из бычьей кожи. В левой руке оба рыцаря держали щиты с гербами; у крестоносца на верхнем поле герба была шахматная доска, а на нижнем – три льва, стоящие на задних лапах, у Збышка – тупая подкова. В правой руке оба держали страшные широкие секиры, насаженные на почернелые дубовые рукояти длиннее руки рослого мужчины. Рыцарей сопровождали оруженосцы: Глава, которого Збышко звал Гловачем, и ван Крист, оба в темной железной броне, оба с секирами и со щитами. У ван Криста в гербе был куст дрока, у чеха же, как в гербе Помяна, голова быка, только вместо секиры в ней торчал короткий меч, до половины вонзившийся в глаз.

Труба затрубила второй раз; после третьего противники по условию должны были сходиться. Их разделяло теперь только небольшое пространство, посыпанное серой золой, над которым, казалось, витала, как зловещая птица, смерть. Однако, прежде чем труба затрубила в третий раз, Ротгер приблизился к колоннам, между которыми сидели князь с княгиней, поднял свою закованную в сталь голову и произнес таким громким голосом, что его услышали во всех уголках галереи:

– Призываю Бога в свидетели, тебя, достойный князь, и всё рыцарство этой земли, что я неповинен в той крови, которая сейчас прольется.

При этих словах снова сжались сердца зрителей, поражённых тем, что крестоносец так уверен в себе и своей победе. Но Збышко, человек прямодушный, обратился к своему чеху и сказал:

– Противна мне похвальба этого крестоносца, ибо уместна она была бы не теперь, когда я ещё жив, а после моей смерти. У этого бахвала павлиний чуб на шлеме, а я сперва дал обет сорвать три таких чуба, а потом столько, сколько пальцев на обеих руках. Вот Бог и привел!

– А что, пан, – спросил Глава у Збышка, наклонившись и набирая в горсти золы со снегом, чтобы рукоять секиры не скользила в руках, – коли я с Божьей помощью быстро управлюсь с этим прусским мозгляком, нельзя ли мне тогда если не ударить на крестоносца, то хоть рукоять сунуть ему меж колен, чтобы свалить его наземь?

– Боже упаси! – с живостью воскликнул Збышко. – Ты бы покрыл позором и меня и себя.

Но вот труба затрубила в третий раз. При звуках её оруженосцы стремительно и яростно бросились друг на друга, рыцари же выступили навстречу друг другу медленно и важно, как и подобало им по достоинству их и званию выступить до первого столкновения.

Мало кто обращал внимание на оруженосцев, но опытный глаз рыцарей и слуг, которые смотрели на них, сразу уловил, какое огромное преимущество на стороне Главы. Секира тяжело ходила в руках у немца, и щит его двигался медленней. Длинные ноги, видневшиеся из-под щита, были гораздо слабее упругих и сильных ног чеха, обтянутых узкими штанами. Глава так стремительно напал на него, что ван Крист под его натиском чуть не в первую минуту вынужден был отступить. Всем стало ясно, что один из противников обрушился на другого как ураган, что он напирает, теснит и разит врага как молния, а тот, чуя смерть свою, только обороняется, чтобы отдалить страшную минуту. Так оно на самом деле и было. Хвостун, который вообще выходил на бой только тогда, когда не мог уже отвертеться, понял, что дерзкие и неосторожные речи довели его до боя с грозным богатырем, от которого он должен был бежать как от огня, и теперь, когда он понял, что этот богатырь одним ударом может свалить быка, сердце у него упало. Он совсем забыл о том, что мало обороняться щитом, что надо самому разить врага, он видел только, как сверкает секира, и каждый её удар казался ему последним. Подставляя щит, он невольно закрывал в страхе глаза, не зная, откроет ли их ещё раз. Лишь изредка наносил он удар, не надеясь поразить противника, и только всё выше поднимал щит над головой, чтобы ещё и ещё раз уберечь её от удара.

Он уже стал уставать, а чех наносил всё более могучие удары. Как под топором дровосека от высокой сосны откалываются огромные щепы, так под секирой чеха стали ломаться и отскакивать бляхи от брони немецкого оруженосца. Верхний край щита прогнулся и треснул, правый наплечник покатился наземь вместе с разрубленным и уже окровавленным ремешком. Волосы встали дыбом на голове у ван Криста, его объял смертельный страх. Он ещё два раза изо всей силы ударил по щиту чеха и, убедившись наконец, что ему не уйти от страшного противника и что спасти его может только какое-то необычайное усилие, бросился внезапно в своих тяжелых доспехах Главе под ноги.

Оба они повалились на землю и боролись, катаясь и перевертываясь на снегу. Но чех скоро подмял под себя противника. С минуту он ещё отражал отчаянные удары ван Криста, затем прижал коленом железную сетку, покрывавшую его живот, и достал из-за пояса короткую трехгранную мизерикордию.

– Пощади! – тихо прошептал ван Крист, поднимая на чеха глаза.

Но тот вместо ответа лег на него, чтобы легче было достать до шеи, и, перерезав ремешком подбородник шлема, дважды вонзил меч несчастному в горло, клинком вниз, в самую грудь.

Глаза у ван Криста закатились под лоб, руками и ногами он стал бить по снегу, точно хотел очистить его от золы, а через минуту вытянулся и остался недвижимым, только губы, окрашенные кровавой пеной, отдувались ещё у него и весь он обливался кровью.

А чех поднялся, вытер о платье немца мизорикордию, затем поднял секиру и, опершись на нее, стал смотреть на более тяжелый и упорный бой своего рыцаря с братом Ротгером.

Западные рыцари уже привыкли к удобствам и роскоши, а меж тем шляхтичи Малой и Великой Польши, а также Мазовии вели ещё суровую и простую жизнь, и даже иноземцы и недоброжелатели удивлялись крепости их здоровья, стойкости их и закаленности. И теперь было уже ясно, что Збышко так же превосходит крестоносца крепостью рук и ног, как его оруженосец превосходил ван Криста; но ясно уже было и то, что он молод и уступает противнику в искусстве боя.

Хорошо ещё, что Ротгер избрал бой на секирах, так как этим оружием нельзя было фехтовать. Если бы Збышко бился с Ротгером на коротких или длинных мечах, когда надо было уметь рубить, колоть и отражать удары, то у немца было бы перед ним значительное преимущество. Всё же по движениям Ротгера и по его умению владеть щитом и сам Збышко, и зрители поняли, что это искусный и страшный противник, который, видно, не впервые выступает в таком поединке. Ротгер подставлял щит при каждом ударе Збышка и в то самое мгновение, когда секира обрушивалась на щит, слегка отдергивал его назад, от чего даже самый богатырский размах терял силу и Збышко не мог ни просечь щит, ни повредить его гладкую поверхность. Ротгер то пятился, то напирал на юношу, делая это спокойно, но с такой молниеносной быстротой, что глазом трудно было уловить его движение. Князь испугался за Збышко, и лица рыцарей омрачились, так как им показалось, что немец умышленно играет с противником. Иной раз он даже не подставлял щита, но в то мгновение, когда Збышко наносил удар, делал пол-оборота в сторону так, что лезвие секиры рассекало пустой воздух. Это было самое страшное, так как Збышко мог потерять при этом равновесие и упасть, и тогда гибель его была бы неизбежна. Видел это и чех, стоявший над заколотым Кристом; в тревоге за своего господина он говорил про себя: «Ей-ей, коли только он упадет, ахну я немца обухом меж лопаток, чтобы тут и ему конец пришел».

Однако Збышко не падал, он широко расставлял свои могучие ноги и при самом сильном размахе удерживал на одной ноге всю тяжесть своего тела.

Ротгер сразу это заметил, и зрители ошибались, думая что он недооценивает силу своего противника. Уже после первых ударов, когда у Ротгера, несмотря на всю ловкость, с какой он отдергивал щит, правая рука совсем онемела, он понял, что ему круто придется с этим юношей и что, если он не сойдет его ловким ударом с ног, бой может затянуться и стать опасным. Он думал, что при ударе в пустоту Збышко повалится в снег, и, когда этого не случилось, его просто охватила тревога. Из-под стального нашеломника он видел сжатые губы и ноздри противника, а порой его сверкающие глаза, и говорил себе, что этого юношу должна погубить горячность, что он забудется, потеряет голову и, ослепленный, будет больше думать не о защите, а о нападении. Но он ошибся и в этом. Збышко не умел уклоняться от ударов, делая пол-оборота в сторону, но он не забыл о щите и, занося секиру, не открывал корпус больше, чем следовало. Было видно, что внимание его удвоилось, что, поняв, насколько искусен и ловок противник, он не только не забылся, а, напротив, сосредоточился, стал осторожнее, и в ударах его, которые становились всё сокрушительней, чувствовался расчёт, на который в пылу боя способен не горячий, а только хладнокровный и упорный человек.

Ротгер, который побывал на многих войнах и участвовал во многих сражениях и поединках, по опыту знал, что бывают люди, которые, словно хищные птицы, созданы для битвы и, будучи от природы особенно одарёнными, как бы чутьем угадывают то,



до чего другие доходят после долгих лет обучения. Он сразу понял, что имеет дело с таким человеком. С первых же ударов он постиг, что в этом юноше есть нечто напоминающее ястреба, который в противнике видит только добычу и думает только о том, как бы впиться в нее когтями. Как ни силен он был, однако заметил, что и тут не может сравняться со Збышком и что если он лишится сил, прежде чем успеет нанести решительный удар, то бой с этим страшным, хотя и менее искусным юношей может кончиться для него гибелью. Подумав, он решил биться с наименьшим напряжением сил, прижал к себе щит, не очень теснил противника и не очень пятился, ограничил движения и, собрав все свои силы для того, чтобы нанести решительный удар, ждал только удобного момента.

Ужасный бой затягивался. На галерее воцарилась мёртвая тишина. Слышались только то звонкие, то глухие удары лезвий и обухов о щиты. И князю с княгиней, и рыцарям, и придворным дамам было знакомо подобное зрелище, и всё же сердца у всех сжались от ужаса. Все поняли, что в этом поединке противники вовсе не хотят показать свою силу, свое искусство и мужество, что они охвачены большей, чем обычно, яростью, большим отчаянием, неукротимым гневом, неутолимой жаждой мести. На суд Божий вышли в этом поединке, с одной стороны, жестокие обиды, любовь и безутешное горе, с другой – честь всего ордена и непреборимая ненависть.

Меж тем посветлело бледное зимнее утро, рассеялась серая пелена тумана, и луч солнца озарил голубой панцирь крестоносца и серебристые миланские доспехи Збышка. В часовне зазвонили к обеду, и с первым ударом колокола целые стаи галок слетели с крыш, хлопая крыльями и пронзительно крича, словно радуясь виду крови и трупа, который лежал уже неподвижно на снегу. Ротгер во время боя повёл на него раз-другой глазами и внезапно почувствовал себя страшно одиноким. Все глаза, обращенные на него, были глазами врагов. Все молитвы и заклинания, которые творили женщины, и обеты, которые давали они про себя, были за Збышка. И хотя крестоносец был совершенно уверен, что оруженосец Збышка не бросится на него сзади и не нанесет ему предательского удара, однако от самого присутствия чеха, от близости его грозной фигуры Ротгера охватывала та невольная тревога, какая охватывает людей при виде волка, медведя или буйвола, от которого их не отделяет решётка. Он не мог противостоять этому чувству, тем более что чех, следя за ходом боя, не стоял на месте: он то забегал сбоку, то отступал назад, то появлялся спереди, наклоня при этом голову и зловеще глядя на Ротгера сквозь отверстия в железном забрале, а порой как бы невольно поднимая окровавленное лезвие секиры.

Усталость начала наконец одолевать крестоносца. Раз за разом он нанес врагу два коротких, но страшных удара, целясь в правое его плечо; однако тот с такой силой отразил их щитом, что рукоять задрожала в руке у Ротгера и он вынужден был отпрянуть, чтобы не упасть. С этой поры он только отступал. У него иссякали не только силы, но и хладнокровие, и терпение. При виде отступления крестоносца из груди зрителей вырвался крик торжества, который пробудил в нём злобу и отчаяние. Удары секир становились всё чаще. Оба врага обливались потом, из груди у них сквозь стиснутые зубы вырывалось хриплое дыхание. Зрители перестали соблюдать спокойствие, теперь то и дело раздавались то мужские, то женские голоса: «Бей! Рази его!.. Суд Божий! Кара Божья! Да поможет тебе Бог!» Князь помахал рукой, чтобы успокоить толпу, но уже не мог её удержать. Возгласы становились всё громче, на галерее уже стали плакать дети, и, наконец, под самым боком у княгини молодой женский голос крикнул сквозь слезы:

– За Дануську, Збышко, за Дануську!

Збышко знал, что он дерется за Данусю. Он был уверен, что этот крестоносец тоже приложил руку к её похищению, и, сражаясь с ним, знал, что мстит за обиды, нанесенные ей. Но он был молод и жаждал битвы и в эту минуту думал только о самой битве. Этот внезапный крик напомнил ему о его утрате, о горькой участи Дануси. От любви, сожаления и жажды мести кровь закипела в его жилах. Сердце надрывалось у юноши от проснувшейся муки, и ярость овладела им. Страшных, как порывы бури, ударов его крестоносец не мог уже ни уловить, ни отразить. Збышко с такой нечеловеческой силой ударил щитом в его щит, что рука у немца внезапно онемела и бессильно повисла. Ротгер отпрянул в ужасе и откинулся, и в то же мгновение перед глазами его сверкнула секира, и лезвие молниеносно обрушилось на правое его плечо.

До слуха зрителей долетел только душераздирающий крик: «Jesus!..»[2] Ротгер сделал ещё один шаг назад и грянулся навзничь на землю.

Тотчас на галерее зашумели, пришла в движение толпа, словно пчелы на пасеке, когда, пригревшись на солнце, они начинают шевелиться и жужжать. Целые толпы рыцарей сбегали вниз по ступеням, слуги перепрыгивали через снежный вал, чтобы поглядеть на трупы. Повсюду раздавались возгласы: «Вот он, суд Божий!.. Есть наследник у Юранда. Честь и хвала ему! Вот это мастер рубить секирой!» Другие кричали: «Нет, вы только поглядите да подивитесь! Сам Юранд не сумел бы так раскроить!» Вокруг трупа Ротгера сбилась целая толпа любопытных, а он лежал на спине, и лицо его было бело как снег, рот широко открыт, а плечо всё в крови и так страшно рассечено от шеи до самой подмышки, что держалось оно чуть ли не на одной только коже. «Вот жив был, – толковали в толпе, – и такой ходил гордый, а теперь пальцем шевельнуть не может!» При этом одни дивились его росту – распростертый на земле, он казался ещё больше, – другие – павлиньему султану, который чудно переливался на снегу, третьи – доспехам, которые стоили доброй деревни. Но тут подошел чех Глава с двумя слугами, чтобы снять с убитого доспехи, и любопытные окружили Збышка, восхваляя его доблесть и превознося его до небес, ибо они справедливо полагали, что он покрыл себя славой и что отныне сиянием её будет окружено всё мазовецкое и польское рыцарство. А тем временем у Збышка взяли щит и секиру, чтобы облегчить его, затем Мрокота из Моцажева снял с потной головы молодого рыцаря шлем и надел ему шапку алого сукна. Тяжело дыша, Збышко стоял точно в остолбенении, бледный от напряжения и ярости, с огнем, ещё не погасшим в глазах, и дрожал от волнения и усталости. Его подхватили под руки и повели к князю и княгине, которые ждали победителя в теплой комнате у камина. Збышко опустился перед ними на колени, а когда отец Вышонек перекрестил его и помолился за усопших, князь обнял молодого рыцаря и сказал:

– Всевышний рассудил вас, он направлял твою руку, и да будет благословенно имя его, аминь!

Затем он обратился к де Лоршу и другим рыцарям и прибавил:

– Тебя, иноземный рыцарь, и всех вас беру я в свидетели и сам свидетельствую, что они бились согласно с законом и обычаем, и суд Божий свершился по-рыцарски и по-божьи, как везде он свершается.

Согласным хором ответили князю мазовецкие воители, когда же слова его перевели господину де Лоршу, тот встал и заявил, что не только свидетельствует, что всё произошло согласно рыцарскому обычаю и Божьему закону, но что, если кто-нибудь в Мальборке или при каком-нибудь другом дворе посмеет в этом усомниться, он, де Лорш, тотчас вызовет его на поединок на ристалище, пешего или конного, даже если

это будет не обыкновенный рыцарь, а великан или чародей, превосходящий колдовской силой самого Мерлина.

А тем временем княгиня Анна Данута, склонившись, говорила коленопреклоненному Збышку:

– Что же ты не радуешься? Радуйся и благодари Бога, ибо в своем милосердии он избавил тебя от опасности, так и впредь не оставит своей милостью и даст тебе счастье.

– Как же мне радоваться, милостивая пани? – ответил ей Збышко. – Господь ниспослал мне победу над крестоносцем: но Дануськи как не было, так и нет, и по-прежнему она от меня далеко.

– Мертвы уже самые лютые враги, Данфельд, Готфрид и Ротгер, – возразила княгиня, – а про Зигфрида говорят, что хоть и жесток он, но справедливее их. Возблагодари же и за это Создателя. Господин де Лорш говорил, что, если крестоносец падет в бою, он отвезет его тело, а потом тотчас поедет в Мальборк и у самого великого магистра потребует, чтобы Дануську отпустили на волю. Не посмеют они ослушаться великого магистра.

– Дай Бог здоровья господину де Лоршу, – сказал Збышко. – Я тоже поеду с ним в Мальборк.

Услышав эти слова, княгиня пришла в такой ужас, точно Збышко сказал ей, что безоружный пойдет к волкам, которые зимой собирались в стаи в дремучих лесах Мазовии.

– Зачем? – воскликнула она. – На верную гибель? Сразу после боя не помогут тебе ни де Лорш, ни те письма, которые Ротгер писал перед поединком. Ты никого не спасешь, а себя погубишь.

Но он встал, скрестил руки на груди и сказал:

– Клянусь всем святым, я не то что в Мальборк, за море поеду. Видит Бог, до последнего издыхания, до самой смерти буду я искать её. Легче мне немцев бить, сражаться с ними в броне, чем сироте томиться в подземелье. Ох, легче, легче!

Как всегда, вспоминая Данусю, Збышко говорил с таким волнением, с такой болью, что по временам голос у него прерывался, словно ком подкатывал к горлу. Княгиня поняла, что тщетны будут все её просьбы, что удержать его можно, только заковав в цепи и ввергнув в подземелье.

Однако Збышко не мог сразу уехать. В те времена рыцаря не могли остановить никакие препоны; но он не мог нарушить рыцарский обычай, который повелевал победителю провести на месте поединка весь день до полуночи, чтобы показать, что поле битвы за ним, что он готов к новому бою, если кто-нибудь из родных или близких друзей побеждённого захочет снова его вызвать. Этот обычай соблюдали даже войска, теряя не раз те преимущества, которые они получили бы, если бы после победы быстро продвинулись вперед. Збышко и не помышлял о том, чтобы пренебречь этим неумолимым законом: немного подкрепившись, он надел доспехи и до полуночи простоял на замковом дворе под хмурым зимним небом, ожидая врага, который ниоткуда не мог появиться.

Только в полночь, когда герольды под звуки труб объявили об окончательной его победе, Миколай из Длуголяса позвал его на ужин и на совет к князю.

## VI

Князь первый взял на совете слово.

– Вся беда в том, – сказал он, – что нет у нас никакого письма, никакого свидетельства против комтуров. Хоть и справедливы как будто подозрения, хоть и сам я думаю, что это они похитили дочку Юранда, но что из этого? Они отопрутся. А если великий магистр потребует у нас доказательств, что мы ему скажем? Ведь даже письмо Юранда свидетельствует в их пользу.

– Ты говоришь, – обратился князь к Збышку, – что они под угрозой вынудили его написать это письмо. Может, так оно и есть, иначе правда была бы на их стороне и Бог не помог бы тебе в битве с Ротгером. Но если они вынудили его написать одно письмо, то могли вынудить написать и два. Может, и у них есть свидетельство Юранда, что они неповинны в похищении бедной девушки. Они покажут это письмо магистру, и что тогда будет?

– Да ведь они, вельможный князь, сами сказали, что отбили Дануську у разбойников и что она у них.

– Знаю. Но теперь они говорят, что ошиблись, что это другая девушка, и самый сильный у них довод – что сам Юранд от нее отрёкся.

– Отрёкся потому, что они ему другую показали; оттого он и разъярился.

– Так оно, верно, и было; но они-то могут сказать, что это только наши домыслы.

– Их ложь, – сказал Миколай из Длуголяса, – что лес дремучий. С краю ещё что-то видно, а чуть подальше – дебри непроходимые, так что человек непременно заблудится и совсем съедётся с дороги.

Затем он повторил свои слова господину де Лоршу по-немецки.

– Сам великий магистр, – заметил тот, – лучше их, да и брат его хоть и дерзок, но блюдет рыцарскую честь.

– Это верно, – поддержал его Миколай. – Магистр человек хороший, но не умеет он держать в узде капитул и комтуров и ничего не может поделывать, хоть и не рад, что орден на людских обидах стоит. Поезжайте, поезжайте, рыцарь де Лорш, и расскажите ему всё, что у нас произошло. Они иноземцев больше стыдятся, чем нас, боятся, чтобы те не рассказали при чужих дворах об их вероломстве и злодеяниях. А когда магистр потребует у вас доказательств, вы ему вот что скажите: «Один Бог правду видит, а человек должен искать её. Так коли хочешь, мол, доказательств, поищи их: вели обшарить замки, учинить допрос людям, позволь нам поискать, ведь они всё басни рассказывают, будто сироту похитили лесные разбойники».

– Всё басни рассказывают, – повторил де Лорш.

– Разбойники не посягнули бы ни на княжий дом, ни на дочь Юранда, а если бы они даже похитили её, то для того, чтобы взять выкуп, и сами дали бы знать, что она у них.

– Я всё это расскажу, – сказал лотарингский рыцарь, – и отыщу де Бергова. Мы с ним земляки, и хоть я не знаю его, но говорят, будто он родич графа Гельдернского. Он был в Щитно, пусть расскажет магистру всё, что видел.

Збышко кое-что понял из его слов, а когда Миколай перевел ему остальное, он схватил господина де Лорша в объятия и так крепко прижал его к груди, что тот даже охнул.

– А ты тоже непременно хочешь ехать? – спросил князь у Збышка.

– Непременно, вельможный князь. Что же мне остается делать? Хотел я Щитно захватить, даже если бы голыми руками пришлось брать замок, но как же мне самочинно начинать войну?

– Кто бы начал самочинно войну, тому под мечом палача пришлось бы каяться, – ответил князь.

– Закон есть закон, – сказал Збышко. – Хотел я потом вызвать на поединок всех, кто был в Щитно, но, говорят, Юранд их там как волов перерезал, и не знаю я, кто из них остался жив... Но клянусь на кресте святом, что Юранда я до последнего издыхания не покину!

– Вот речь, достойная рыцаря! – воскликнул Миколай из Длуголяса. – Нет, ты мне по душе, да и голову на плечах, видно, имеешь, коли в Щитно сам не помчался; ведь и дурак догадался бы, что не держат они там ни Юранда, ни его дочери, а увезли их, наверно, в другие замки. А за то, что сюда приехал, Бог в награду ниспослал тебе победу над Ротгером.

– Да! – вспомнил князь. – Мы это и от Ротгера слышали: из четверых жив теперь только старый Зигфрид; прочих Бог уже покарал коли не твоей рукой, так Юранда. Зигфрид не такой негодяй, как все они, но, пожалуй, он из них самый свирепый. Плохо, что Юранд и Дануська в его руках, надо немедля спасать их. Чтобы и с тобой не приключилось худа, я дам тебе письмо к магистру. Слушай хорошенько и помни, что едешь ты к нему не как посол, а как гонец от меня, а магистру я вот что пишу. Коли посягнули они в свое время на меня, потомка их благодетелей, так, верно, и Дануську похитили, тем более что они злобой на Юранда дышат. Я прошу магистра повелеть учинить повсюду розыск девушки и, коли хочет он жить в мире со мною, тотчас отдать её в твои руки.

Збышко при этих словах бросился князю в ноги и, обняв его колени, воскликнул:

– А Юранд, вельможный князь, а Юранд? Заступитесь за него! Коли смертельны его раны, то пусть хоть на родовом пепелище умрёт, на руках у детей.

– Написал я и про Юранда, – милостиво сказал князь. – Магистр должен выслать двоих судей, и я двоих, дабы они рассудили дела комтуров и Юранда по законам рыцарской чести. А судьи пусть себе ещё главу изберут, и как решат они, так и будет.

На этом совет кончился, и Збышко, который вскоре должен был тронуться в путь, простился с князем; но перед уходом Миколай из Длуголяса, человек бывалый, хорошо знавший крестоносцев, отвел молодого рыцаря в сторону и спросил у него:

– Оруженосца своего, чеха, ты возьмешь с собой к немцам?

– Да уж, верно, он от меня не отстанет. А что?

– Жаль парня. Он у тебя молодец, а ты вот подумай, что я тебе скажу: ты-то из Мальборка цел уйдешь, разве только с противником посильнее придется сразиться, а ему не миновать гибели.

– Почему?

– Да потому, что эти собаки винят его в том, будто он заколол де Фурси. Они ведь должны были написать магистру про смерть де Фурси и, наверное, написали, что это чех пролил его кровь. В Мальборке ему этого не простят. Суд и кара ждут его, и как же ты убедишь магистра, что он в этом неповинен? Да и Данфельду он изломал руку, а тот был великому госпитальеру сродни. Жаль мне его, и ещё раз говорю тебе: коли поедет он с тобой, то на верную смерть.

– Не поедет он на верную смерть: я его в Спыхове оставлю.

Но всё сложилось иначе, и чеху не пришлось оставаться в Спыхове. На другой день Збышко и де Лорш отправились со своими слугами в путь. Де Лорш, которого ксёндз Вышонек разрешил от обетов, данных Ульрике д'Эльнер, ехал счастливый, весь предавшись воспоминаниям о красоте Ягенки из Длуголяса, и хранил молчание; Збышко не мог поговорить с ним о Дануське, потому что они плохо понимали друг друга, и завел разговор с Главой, который ещё ничего не знал о предстоящей поездке к крестоносцам.

– Я еду в Мальборк, – сказал ему Збышко, – и когда ворочусь, одному Богу известно... Может, в самом скором времени, а может, весной, а может, через год, а может, и вовсе не ворочусь, понял?

– Понял. Вы, ваша милость, верно, и затем ещё едете, чтобы биться с тамошними рыцарями? Вот и слава Богу, что у каждого рыцаря есть оруженосец.

– Нет, – возразил Збышко, – не затем я еду, чтобы с ними биться, разве уж если поневоле придется, а ты совсем со мной не поедешь, останешься дома в Спыхове.

Услышав эти слова, чех сперва опечалился и стал горько сетовать, а потом начал просить своего молодого господина, чтобы тот не оставлял его.

– Я дал клятву не покидать вас, ваша милость, своей честью поклялся я в том на кресте; а что, если над вами беда там стряется, как же мне показаться тогда в Згожелицы, на глаза моей пани? Ей я дал клятву, сжальтесь же надо мною, чтобы сраму мне перед нею по натерпеться.

– А разве ты не дал ей клятву, что будешь мне послушен? – спросил Збышко.

– Как не дать, дал. Во всём я дал клятву быть вам послушным, только не в том, чтобы покидать вас. Коли вы, ваша милость, меня прогоните, так я за вами поодадь поеду, чтобы в нужде быть у вас под рукой.

– Я тебя не гоню и не стану гнать, – ответил ему Збышко, – но что же это за неволя такая, что никуда не могу я услать тебя, хоть и в дальний путь, и ни на один день не могу от тебя отвязаться? Не будешь же ты вечно стоять надо мной, как палач над невинной душой. А коли и случится битва, чем же ты мне поможешь? Я

не говорю про войну, на войне все люди воюют, а на поединке ты ведь за меня драться не станешь. Будь Ротгер сильнее меня, не его доспехи лежали бы у нас на повозке, а мои у него. Да и то надо тебе сказать, что с тобой мне хуже там будет, из-за тебя мне может грозить опасность.

– Как так, ваша милость?

Тогда Збышко рассказал ему обо всём, что слышал от Миколая из Длуголяса, о том, как комтуры не могли признаться, что убили де Фурси, и обвинили в этом его и будут поэтому искать отомстить ему.

– А схватят они тебя, – заключил он свой рассказ, – так ведь не оставлю же я тебя в лапах у этих собак и сам тогда могу сложить голову.

Помрачнел чех, услышав эти слова; он понимал, что господин его прав, однако ещё пытался поставить на своем.

– Да ведь и на свете уж нет тех, кто видал меня: одних, говорят, старый пан из Спыхова перебил, а Ротгера вы убили, ваша милость.

– Тебя слуги видали, они тащились поодаль, да и старый крестоносец жив, сейчас он, наверно, в Мальборке, а коли нет его ещё там, так приедет; даст Бог, магистр его вызовет.

На это чеху нечего было больше сказать, и они в молчании ехали до самого Спыхова. Там они застали всех готовыми к бою; старый Толима ждал, что либо крестоносцы учинят набег на городок, либо Збышко, вернувшись, поведет их на выручку старого господина. Повсюду на проходах через болота и в самом городке стояла стража. Крестьяне были вооружены, да им и не внове была война, и они весело ждали немцев, надеясь на богатую добычу. В замке Збышка и де Лорша принял ксёндз Калёб и после ужина показал им пергамент с печатью Юранда, на котором ксёндз собственноручно записал со слов рыцаря из Спыхова его последнюю волю.

– Написал я его духовную, – сказал ксёндз, – в ту ночь, когда уехал он в Щитно, – не надеялся он домой вернуться.

– Почему же вы мне ничего не сказали?

– Не мог я сказать, он мне на исповеди признался, что хочет сделать. Вечная ему память, упокой, господи, его душу...

– Не молитесь вы за упокой души его, он ещё жив. Я знаю это от крестоносца Ротгера, с которым я бился при дворе князя. Между нами был суд Божий, и я убил его.

– Так и подавно не воротится Юранд... Одна только надежда... на Бога!..

– Я еду с этим рыцарем, чтобы вырвать его из их рук.

– Не знаешь ты, видно, рук крестоносцев; а уж я-то их знаю – пятнадцать лет прослужил я ксёндзом в их краю, покуда Юранд не приютил меня в Спыхове. Один Бог может спасти Юранда.

– И может помочь нам.

– Аминь!

Затем ксёндз развернул духовную и стал её читать. Все свои земли и всё достояние Юранд завещал Данусе и её детям, а если она умрёт без потомства, то её мужу Збышку из Богданца. В конце духовной он поручал опеке князя исполнение своей последней воли: «Буде что не по закону, дабы князь своей властью рассудил». Эта приписка была сделана потому, что ксёндз Калёб знал только каноническое право, а сам Юранд, вечно занятый войной, был знаком только с правом рыцарским. Прочитав духовную Збышку, ксёндз прочел её и начальникам спыховской стражи, которые тут же признали молодого рыцаря своим господином и дали присягу повиноваться ему.

Начальники думали, что Збышко тотчас поведет их на выручку старого господина, ибо в груди их бились суровые сердца и они жаждали битвы, да и к Юранду были привязаны. Опечалились они, когда узнали, что им придется остаться дома и что один только молодой господин с горсточкой слуг отправится в Мальборк не затем, чтобы воевать, а затем, чтобы челом бить на комтуров. Разделял с ними печаль чех Гловач, хоть и рад он был, что так умножились богатства Збышка.

– Эх, – сказал он, – кто бы порадовался, так это старый пан из Богданца! Уж он бы завел тут порядок! Что Богданец по сравнению с таким именем!

А на Збышка напала вдруг такая тоска по дяде, какая часто нападала на него в трудную минуту жизни, и, повернувшись к оруженосцу, он сказал ему не раздумывая:

– Чем сидеть тут попусту, поезжай-ка в Богданец, письмо отвезешь.

– Уж коли нельзя мне ехать с вашей милостью, так лучше я туда поскачу, – обрадовался оруженосец.

– Зови сюда ксёндза Калеба, пусть напишет хорошенько обо всём, что тут было, а дяде письмо прочтет кшесненский ксёндз, а нет, так аббат, коли он в Згожелицах.

При этих словах он смял рукою свой молодой ус и прибавил, как бы про себя:

– Да, аббат!..

И тотчас представилась ему Ягенка, синеокая, темноволосая, пригожая, как лань, со слезами на глазах. Как-то не по себе ему стало, потёр он рукою лоб, но про себя молвил:

«Тосковать будешь ты, девушка, да не горше тебе будет, чем мне».

Тем временем пришел ксёндз Калёб и сел писать письмо. Збышко всё подробно описал с той самой минуты, как приехал в лесной дом. Ничего он не утаил, зная, что старый Мацько во всём разберется и будет доволен. Не сравнять Богданец со Спыховом, богатым и обширным владением, а Збышко знал, что Мацько всегда был очень лаком до богатства.

Когда после долгих трудов письмо было написано и скреплено печатью, Збышко снова призвал оруженосца и вручил ему письмо с такими словами:

– А может, ты с дядей сюда воротись, очень я был бы этому рад.



Но лицо у чеха было озабоченное, он мялся, переступал с ноги на ногу и не уходил.

– Ты что? – спросил наконец молодой рыцарь. – Хочешь ещё что-то сказать? Так говори.

– Я хочу, ваша милость... Я хочу ещё спросить, что мне там людям рассказывать?

– Каким людям?

– Ну, не в Богданце, а по соседству, они ведь тоже захотят обо всём узнать.

Збышко, который решил уже ни с чем от него не таиться, бросил на чеха быстрый взгляд и сказал:

– Да не о людях ты говоришь, а об Ягенке из Згожелиц.

Чех на мгновение вспыхнул и ответил, бледнея:

– О ней, милостивый пан.

– А почему ты знаешь, может, она уже вышла за Чтана из Рогова или за Вилька из Бжозовой?

– Ни за кого она там не вышла, – решительно возразил оруженосец.

– Аббат мог ей приказать.

– Не она аббата слушается, а он её.

– Так чего же ты хочешь? Говори ей правду, как и всем.

Чех поклонился и вышел рассерженный.

«Дай-то Бог, – говорил он про себя, думая о Збышке, – чтоб она тебя забыла, дай-то Бог, чтоб получше нашла. А коли не забыла, то скажу я ей, что женился ты, да нет у тебя жены, и что, даст Бог, овдовеешь раньше, чем ступишь с женой на порог опочивальни».

Очень привязан был оруженосец к Збышку, очень жалел он Данусю, но никого так не любил, как Ягенку, и с той поры как узнал перед поединком в Цеханове, что Збышко женился, сердце его жгли обида и боль.

– Даст Бог, овдовеешь! – повторил он ещё раз.

Но вскоре в голову ему пришли, видно, иные, более сладкие мысли, потому что, идя к лошадям, он говорил:

– Слава Богу, хоть к ногам её упаду.

А Збышко меж тем рвался в путь, словно снедаемый лихорадкой; ничем другим он не мог заняться и терзался, думая без конца про Данусю и Юранда. Однако надо было хоть на одну ночь остаться в Спыхове, чтобы дать отдохнуть господину де Лоршу и приготовиться в такой дальний путь. Да и сам Збышко был безмерно утомлен и от

поединка, и от целодневного ожидания на ристалище, и от дороги, и от бессонницы, и от огорчений. Когда спустилась глухая ночь, он бросился на жесткое ложе Юранда в надежде, что сон хоть ненадолго смежит ему глаза. Но не успел он уснуть, как к нему постучался Сандерус.

– Вы спасли меня, господин, от смерти, – сказал он с поклоном, – и так хорошо было мне с вами, как давно уж ни с кем не бывало. Бог дал вам сейчас большие владения, вы стали богаче, да и спыховская казна не пуста. Дайте мне мешочек денег, поеду я в Пруссию от замка к замку и, хоть не очень там для меня безопасно, может, вам и услужу.

Збышко, который в первую минуту хотел вышвырнуть его вон из горницы, призадумался; через минуту он достал из стоявшей около постели дорожной сумы порядочный мешок денег, бросил Сандерусу и сказал:

– На вот тебе и ступай! Коли шельма ты, так обманешь, коли честен, так послужишь.

– Шельма я, господин, – ответил Сандерус, – и обману, да только не вас, а вам – услужу по чести.

## VII

Зигфрид де Лёве собирался в Мальборк, когда почтовый служитель принес ему неожиданное письмо от Ротгера с вестями из Мазовии.

Старый крестоносец был живо тронут этими вестями. Прежде всего из письма было видно, что Ротгер весьма искусно представил князю Янушу всё происшествие с Юрандом и повёл дело блестяще. Зигфрид улыбнулся, читая о том, как Ротгер потребовал, чтобы князь за обиды, нанесенные ордену, отдал во владение крестоносцам Спыхов. Зато в другой части письма содержались неожиданные и менее благоприятные вести. Ротгер сообщал, что для лучшего доказательства непричастности ордена к похищению дочери Юранда он бросил перчатку мазовецким рыцарям, вызывая каждого, кто усомнился бы в этом, на суд Божий, то есть на единоборство в присутствии всего двора... «Ни один из них не поднял перчатки, – писал Ротгер, – ибо все знали, что за нас свидетельствует письмо самого Юранда, и все боялись правосудия Божия; но появился вдруг юноша, которого мы видали в лесном доме, и принял мой вызов. Не удивляйтесь же, благочестивый и мудрый брат, что я вернусь на два-три дня позже, ибо я сам бросил им вызов и должен поэтому биться. Ради славы ордена совершил я это и надеюсь, что ни великий магистр, ни вы, благочестивый брат, коего я почитаю и люблю, как сын, не вмените мне это в вину. Противник мой – сущий младенец, а мне сражаться, как вы знаете, не внове, так что я во славу ордена легко пролью его кровь, особенно с помощью Иисуса Христа, которому, наверное, важнее те, кто носит крест его, нежели какой-то Юранд или обиды ничтожной девки из мазурского племени!»

Зигфрида прежде всего удивила весть, что дочь Юранда замужем. При мысли о том, что в Спыхове может поселиться новый страшный и мстительный враг, даже старым комтуром овладела тревога. «Ясно, – говорил он про себя, – что он не перестанет мстить нам, особенно если отыщет жену и она ему скажет, что это мы похитили её из лесного дома! Тогда сразу выйдет наружу, что мы вызвали сюда Юранда лишь затем, чтобы погубить его, и что никто из нас и не помышлял о том, чтобы вернуть ему дочь». Тут Зигфриду пришло на ум, что великий магистр по письмам князя может повелеть учинить розыск в Щитно, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед князем. Ведь и для магистра, и для капитула было очень важно, чтобы в случае войны с могущественным польским королем мазовецкие князья не приняли в ней

участие. Не говоря уж о том, что войско князей благодаря многочисленности и храбрости мазовецкой шляхты представляло собой силу, которой нельзя было пренебрегать, орден, живя в мире с мазовецкими князьями, обеспечивал на большом протяжении безопасность своих границ и мог спокойно собирать свои силы. В Мальборке не раз толковали об этом при Зигфриде и не раз выражали надежду, что после победы над королем найдется повод и для вторжения в Мазовию, а уж тогда этот край не вырвать из рук крестоносцев. Это был большой и верный расчёт, поэтому можно было быть уверенным и в том, что магистр сделает сейчас всё, чтобы не раздражать князя Януша, тем более что князь был женат на дочери Кейстута и его труднее было привлечь на свою сторону, чем Земовита плочкого, жена которого, неизвестно по какой причине, всей душой предалась ордену.

Раздумывая обо всём этом, старый Зигфрид, который готов был на любое преступление, вероломство и жестокость, но превыше всего любил орден и блюл его славу, обратился к своей совести: «Не лучше ли выпустить Юранда и его дочь? Правда, тогда откроется всё вероломство и вся мерзость этого злодеяния, но позор падет на Данфельда, а его уже нет в живых. И если даже, – думал Зигфрид, – магистр сурово покарает меня и Ротгера за то, что мы были сообщниками Данфельда, не лучше ли всё-таки это для ордена?» Но старик вспомнил об Юранде, и злоба закипела в его мстительном и жестоком сердце.

Выпустить его, этого угнетателя и палача крестоносцев, победителя в стольких столкновениях, виновника стольких поражений и срама, этого погромщика, этого убийцу Данфельда, этого истязателя де Бергова и убийцу Майнегера, этого убийцу Готфрида и Хьюга, который в одном только Щитно пролил больше немецкой крови, чем льется её в целом сражении во время войны! «Не могу! Не могу!» – повторял в душе Зигфрид, и хищные его пальцы при одной мысли об этом судорожно сжимались в кулак, а старая иссохшая грудь с трудом ловила воздух. «Но если это принесет ордену большую пользу и послужит к вящей его славе? Если, покарвав оставшихся в живых виновников преступления, орден привлечет этим на свою сторону князя Януша, своего врага, и сможет заключить с ним договор и даже, быть может, союз?.. Горячи они очень, – думал старый комтур, – но если их немного обласкать, они скоро забывают обиды. Вот мы самого князя захватили в плен на собственной его земле, а ведь он не стал мстить нам...» Старый комтур заходил по залу, терзаемый сомнениями, и вдруг ему почудился голос свыше: «Внемли! Жди Ротгера». Да! Надо ждать Ротгера. Он непременно убьет этого мальчишку, а потом надо будет либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь о них не забудет, но, не зная точно, кто похитил девку, станет её искать, станет посылать письма магистру, не пытаясь уже обвинять их, а стремясь лишь что-нибудь выведать, – и дело затянется надолго. В другом случае все они так обрадуются, когда вернется дочь Юранда, что не захотят даже мстить за её похищение. «А мы всегда можем сказать, что нашли её после того, как на нас напал Юранд!» Эта мысль совершенно успокоила Зигфрида. Что касается самого Юранда, то они вместе с Ротгером давно уже измыслили средство для того, чтобы он не мог ни мстить им, ни обвинять их, даже если его придется отпустить на волю. Жестокая душа Зигфрида радовалась, когда он думал об этом средстве. Она радовалась и при мысли о суде Божьем, который должен был свершиться в цехановском замке. Старик нимало не сомневался в исходе смертельного боя. Он вспомнил о ристалище в Крулевце, когда Ротгер победил двух славных рыцарей, которые в родной своей Анжуйской стране [3] почитались непобедимыми. Он вспомнил и об единоборстве под Вильно с польским рыцарем, придворным Спытка из Мельштына, которого тоже убил Ротгер. И лицо его прояснилось, а сердце исполнилось гордостью, ибо он первый водил Ротгера, и тогда уже славного рыцаря, в походы на Литву и учил его искусству войны с этим племенем. А теперь его сынок ещё раз прольет ненавистную польскую кровь и

вернется окруженный славой. Ведь это суд Божий, и с ордена теперь будут сняты все подозрения... «Суд Божий!..» На мгновение сердце старого крестоносца сжалось, объятые страхом. Ротгер должен выйти на смертельный бой, чтобы доказать невиновность крестоносцев; но ведь они виновны, стало быть, он будет драться за ложь... А что, если над ним стряется беда? Но через минуту это показалось Зигфриду совершенно невыносимым. Ротгер не может быть побежден.

Успокоившись, старый крестоносец стал раздумывать о том, не лучше ли было бы услать пока Данусю в какой-нибудь отдаленный замок, на который ни при каких обстоятельствах не могли бы учинить набег мазуры. Однако, подумав с минуту времени, он отбросил и эту мысль. Только муж Дануси мог замыслить и учинить такой набег, а он ведь погибнет от руки Ротгера... Потом только князь и княгиня будут выведывать, выпытывать, писать и жаловаться, а от этого дело только запутается, никто уже ничего не поймет, не говоря уже о бесконечной затяжке. «Пока они о чём-нибудь дознаются, – сказал про себя Зигфрид, – я умру, а может, и дочка Юранда состарится у нас в заточении». Не зная всё же, что ему придется предпринять вместе с Ротгером, старый крестоносец велел подготовить всё к обороне замка и к отъезду и стал ждать.

Тем временем миновало уже два дня после того первоначального срока, когда Ротгер обещал вернуться, затем прошел третий и четвертый день, а у цитненских ворот всё ещё никто не появлялся. Только на пятый день, уже в сумерки, перед башней привратника раздался звук рога. Зигфрид, который только что закончил свои предвечерние занятия, тотчас послал мальчика-слугу узнать, кто прибыл.

Когда мальчик через некоторое время вернулся, лицо у него было смущенное; но Зигфрид ничего не заметил, так как огонь пылал в глубине камина и почти не рассеивал мрака.

– Приехали? – спросил старый рыцарь.

– Да! – ответил мальчик.

Но в голосе его прозвучали такие ноты, что крестоносец сразу встревожился и спросил:

– А брат Ротгер?

– Привезли брата Ротгера.

Зигфрид поднялся с кресла. Долго держался он рукой за подлокотник, точно боясь упасть, затем произнес сдавленным голосом:

– Подай мне плащ.

Мальчик набросил на плечи ему плащ; старый рыцарь овладел уже, видно, собою, сам надвинул на голову капюшон и вышел из комнаты.

Немного погодя он очутился во дворе замка, где уже царил тьма, и медленным шагом направился по скрипучему снегу к саням, которые миновали ворота и остановились неподалеку от них. Там стояла уже толпа народа и пылало несколько факелов, которые успели принести солдаты замковой стражи. Завидев старого рыцаря, кнехты расступились. В отблесках пламени видны были тревожные лица, тихие голоса шептали во мраке:

– Брат Ротгер...

– Брат Ротгер убит...

Зигфрид подошел к саням, на которых лежало на соломе покрытое плащом тело, и приподнял край плаща.

– Посветите, – велел он, откидывая капюшон.

Один из кнехтов наклонил факел, и старый крестоносец увидел голову Ротгера, его белое как снег, окоченелое лицо, стянутое темным платком, который завязали узлом под подбородком, видно для того, чтобы рот покойника не остался открытым. всё лицо как-то сжалось от этого и изменилось до неузнаваемости. Глаза были закрыты, вокруг них и на висках виднелись синие пятна. Щеки покрылись инеем.

Среди общего молчания долго глядел комтур на труп. А толпа глядела на комтура; все знали, что как сына любил он покойного. Но ни единой слезы не уронил старик, только лицо его стало ещё суровей, и на нём застыло выражение холодного спокойствия.

– Так вот каким они его отослали! – произнес он наконец.

Однако тут же обратился к эконому замка:

– Сколотить до полуночи гроб и тело поставить в часовню.

– Остался один гроб из тех, что делали для убитых Юрандом, – заметил эконом. – Я прикажу только обить его сукном.

– И прикройте тело плащом, – приказал Зигфрид, закрывая лицо Ротгера. – Да не таким, а орденским.

Через минуту он прибавил:

– Гроба крышкой не закрывайте.

К саням подошли люди. Зигфрид снова надвинул на голову капюшон, но перед уходом, видно что-то вспомнив, спросил:

– Где ван Крист?

– Он тоже убит, – ответил один из слуг, – но нам пришлось похоронить его в Цеханове, труп начал уже гнить.

– Хорошо.

Он ушел медленным шагом и, вернувшись в дом, опустился в то самое кресло, в котором застигла его весть; лицо у него было каменное, долго сидел он не двигаясь, так что мальчик-слуга уже забеспокоился и стал заглядывать в дверь.

Текли часы, в замке замирало обычное движение, только со стороны часовни доносился глухой, неясный стук молотка, а потом ничто уже не нарушало тишину, кроме окликов сторожевых солдат.

Было уже около полуночи, когда старый рыцарь очнулся, словно ото сна, и позвал слугу.

– Где брат Ротгер? – спросил он.

Но мальчика так взволновали все события, тишина и бессонница, что он, видно, не понял старика, бросил на него тревожный взгляд и ответил дрожащим голосом:

– Я не знаю, господин!..

А старик улыбнулся страшной улыбкой и мягко сказал:

– Я спрашиваю тебя, дитя мое: он уже в часовне?

– Да.

– Хорошо. Скажи Дидериху, чтобы он пришел сюда с ключами и фонарем и ждал, пока я не вернусь. Пусть захватит с собой и котелок с углями. Есть ли уже свет в часовне?

– Свечи горят у гроба.

Зигфрид надел плащ и вышел.

Придя в часовню, он в дверях огляделся, нет ли кого, затем, тщательно заперев двери, подошел к гробу, отставил две свечи из шести, которые горели в больших медных подсвечниках, и опустил у гроба на колени.

Губы его совсем не двигались, он не молился. Некоторое время он только глядел в застывшее, но всё ещё прекрасное лицо Ротгера, словно тщился уловить в нём признаки жизни.

Затем в тишине часовни он позвал приглушенным голосом:

– Сыночек! Сыночек!

И смолк. Казалось, он ждет ответа.

Протянув руки, он сунул исхудалые, похожие на когти пальцы под плащ, покрывавший Ротгера, и стал ощупывать всю его грудь – и сверху, и по бокам, и пониже ребер, и вдоль ключиц, наконец сквозь сукно он нащупал рубленую рану, которая шла от верхней части правого плеча к самой подмышке; вложив в рану пальцы, старик провел ими по всей её длине и заговорил дрожащим голосом, в котором звучала как будто жалоба:

– О!.. Какой жестокий удар!.. А ты говорил, что он сущий младенец!.. Всю руку! Всю руку! Столько раз поднимал ты её на язычников в защиту ордена, а теперь отрубила её польская секира.. И вот твой конец! И вот твой предел! Нет, не ниспослал тебе Господь своего благословения, ибо не печется он, видно, о нашем ордене. И меня он оставил, хотя долгие годы служил я ему.

Слова замерли у него на устах, губы задрожали, и в часовне снова воцарилось немое молчание.

– Сыночек! Сыночек!

В голосе Зигфрида звучала теперь мольба, но звал он Ротгера ещё тише, словно желал выпытать у него важную и ужасную тайну.

– Если ты ещё здесь, если ты меня слышишь, дай знак; шевельни рукой или на один краткий миг открой глаза; ноет сердце в моей старой груди... дай знак, я ведь так любил тебя, отзовись!..

И, опершись руками на края гроба, он вперил свой ястребиный взгляд в закрытые глаза Ротгера и ждал.

– О, как можешь ты отозваться, – произнес он наконец, – если холодом могилы веет от тебя и тлетворный дух исходит от гроба. Но раз ты молчишь, я сам тебе что-то скажу, и пусть сюда, к горящим свечам, прилетит душа твоя и слушает.

Он склонился к лицу трупа.

– Помнишь, капеллан не позволил нам добить Юранда и мы дали ему клятву? Хорошо, я сдержу клятву, но тебя я всё же порадую, где бы ты ни был сейчас.

С этими словами он отошел от гроба, снова поставил на место подсвечники, покрыл тело плащом, закрыв при этом и лицо, и вышел из часовни.

У дверей комнаты крепко спал мальчик-слуга, которого одолел сон, а в комнате ждал Зигфрида по его приказу Дидерих.

Это был человек низкого роста, приземистый, с кривыми ногами и квадратным звериным лицом, полузакрытым темным зубчатым колпаком, спускавшимся на плечи. На нём был надет кафтан из невыделанной буйволово́й кожи, на бедрах такой же пояс, за которым висела связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал железный, затянутый пузырями фонарь, в левой – медный котелок и факел.

– Ты готов? – спросил Зигфрид.

Дидерих молча поклонился.

– Я велел тебе захватить в котелке углей.

Приземистый человек снова ничего не ответил, он указал только на пылающие в камине поленья, взял железный совок, стоявший у камина, и начал из-под поленьев выгребать угли в котелок. Затем он засветил фонарь и стал в ожидании.

– А теперь слушай, собака, – сказал Зигфрид. – Когда-то ты выболтал, что велел тебе сделать комтур Данфельд, и комтур приказал вырвать тебе язык. Но капеллану ты можешь всё показать на пальцах; так вот запомни: если ты только попробуешь показать ему то, что сделаешь по моему приказанию, я велю тебя повесить.

Дидерих снова молча поклонился, только от страшного воспоминания злобная гримаса исказила его лицо, потому что язык ему вырвали совсем не по той причине, о которой говорил Зигфрид.

– Ступай теперь вперед и веди меня в подземелье к Юранду.

Палач своей огромной рукой схватил котелок за дужку, поднял фонарь, и они вышли. За дверью они миновали спящего мальчика, спустились с лестницы и направились не к главному входу, а под лестницу; позади нее тянулся по ширине дома узкий коридор, который кончался тяжелой одностворчатой дверью, скрытой в нише стены. Дидерих отворил дверь, и они очутились под открытым небом, во внутреннем дворике, с четырех сторон окруженном каменными складами, где хранились запасы хлеба на случай осады замка. Справа под одним из этих складов были подземелья для узников. Стражи около них не было, так как узник, даже вырвавшись из подземелья, очутился бы во дворике, из которого был один выход – через дверь, ведущую в дом.

– погоди! – сказал Зигфрид.

Он оперся рукой о стену и остановился, почувствовав, что с ним творится что-то неладное, что ему не хватает воздуха, точно грудь его закована в слишком узкий панцирь. Всё то, что пришлось ему пережить, было просто не по его старческим силам. Он почувствовал, что на лбу у него под капюшоном выступил холодный пот, и решил немного отдохнуть.

После хмурого дня спустилась необычайно ясная ночь. Луна взошла на небе, озарив лучами весь дворик, и снег в лунном сиянии отливал зеленым цветом. Зигфрид жадно втягивал в грудь свежий, морозный воздух. Ему вспомнилось вдруг, что в такую же ясную ночь Ротгер уехал в Цеханов, откуда вернулся мёртвым.

– А теперь ты лежишь в часовне, – тихо пробормотал Зигфрид.

Дидерих подумал, что комтур обращается к нему, он поднял фонарь и осветил мертвенно-бледное лицо старика, живо напомнившее ему голову старого стервятника.

– Веди! – сказал Зигфрид.

Желтый кружок света от фонаря снова затрепетал на снегу, и они направились дальше. В толстой стене склада было углубление, и несколько ступеней вели к низкой железной двери. Дидерих отворил дверь и снова стал спускаться по ступеням во мрак, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить комтуру дорогу. В конце лестницы начинался коридор, а по коридору справа и слева виднелись низенькие двери подземелий.

– К Юранду! – велел Зигфрид.

Через минуту заскрипел засов, и они вошли. Но в темнице царил непроглядный мрак, и Зигфрид, который плохо видел при тусклом свете фонаря, велел зажечь факел; при сильном отблеске пламени он увидел лежащего на соломе Юранда. На ногах у узника были оковы, на руках цепь подлиннее, чтобы он мог поднести пищу ко рту. На нём было то самое вретище, в котором старый рыцарь предстал перед комтурами, только сейчас оно было покрыто темными кровавыми пятнами: это в день, когда обезумевшего от боли и ярости Юранда опутали сетью, чтобы прекратить бой, кнехты хотели добить рыцаря алебардами и изранили его. Добить старика не дал местный щитненский капеллан, и раны оказались несмертельными; но Юранд потерял столько крови, что в темницу его отнесли полуживого. В замке все ждали, что старый рыцарь вот-вот скончается: но он был таким богатырем, что победил смерть и остался жив, несмотря на то что ран никто не перевязал и его ввергли в страшное подземелье, где в оттепель капало со свода, а в морозы стены сплошь покрывались



инеем и льдом.

Он лежал на соломе, в цепях, ослабелый, но такой огромный, что и теперь казался обломком скалы, которому придали человеческий образ. Зигфрид велел поднести фонарь к лицу Юранда и долго в молчании глядел на это лицо. Затем он обратился к Дидериху и сказал:

– Видишь, у него только один глаз, выжги ему его.

В голосе Зигфрида звучало бессилие и старческая немощь, поэтому ужасный приказ казался ещё ужаснее. Факел задрожал в руке палача, и всё же он нагнулся, и на глаз Юранда стали падать большие капли пылающей смолы и вскоре покрыли всю впадину от брови до выдавшейся скулы.

Судорога исказила лицо Юранда, белокурые усы встопорщились, обнажив стиснутые зубы; но старый рыцарь не произнес ни слова и, от крайнего ли изнурения или из присущего его страшной натуре упорства, не издал ни единого стона.

А Зигфрид сказал:

– Мы обещали выпустить тебя на волю и выпустим; но орден ты ни в чем не сможешь уже обвинить, ибо тебе вырвут язык, которым ты изрыгал хулу на него.

И он снова дал знак Дидериху; однако тот издал странный горловой звук и показал старику на пальцах, что ему нужны обе руки и он просит, чтобы комтур ему посветил.

Зигфрид взял у него факел и держал его в вытянутой дрожащей руке, но, когда Дидерих прижал коленями грудь Юранда, старый крестоносец отвернул голову и стал глядеть на покрытую инеем стену.

Раздался лязг цепей, затем послышалось трудное дыхание, словно протяжный глухой стон, и воцарилась тишина.

Тогда снова раздался голос Зигфрида:

– Юранд, наказание, которое ты понес, ты и так должен был понести; но я обещал ещё брату Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, положить ему в гроб твою правую руку.

Дидерих, который уже было поднялся, услышав эти слова, снова склонился над Юрандом.

Через некоторое время старый комтур и Дидерих снова вышли во дворик, залитый лунным сиянием. Миновав коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный предмет, завернутый в тряпку, и сам себе громко сказал:

– Теперь опять в часовню, а затем в башню.

Дидерих бросил на него быстрый взгляд; но комтур велел ему идти спать, а сам побрел с колеблющимся фонарем в руке к освещённым окнам часовни. По дороге он размышлял обо всём происшедшем. Какая-то уверенность росла в нем, что приходит и его конец, что это последние дела его на земле; и хотя душа у него была не столько лживая, сколько жестокая, всё же под влиянием неумолимой необходимости

он так привык к уловкам, обману и сокрытию кровавых злодеяний ордена, что и сейчас невольно думал о том, как снять с себя и с ордена пятно бесчестия и ответственность за муки Юранда. Дидерих нем, он ни в чем не сознается и, хотя может объясниться с капелланом, ничего ему не скажет просто из страха. Так кто же, кто может тогда доказать, что Юранд не получил всех этих ран в сече? Он легко мог потерять язык от удара копья, меч или секира могли отрубить ему правую руку, а глаз у него был только один, так что же удивительного, что ему его выбили, когда он в безумии один бросился на всю щитненскую стражу. Ах, Юранд! Сердце старого крестоносца затрепетало от последней радости, которую суждено ему было испытать. Да, если Юранд выживет, они отпустят его на волю! Зигфрид вспомнил, как держал об этом совет с Ротгером и как молодой брат со смехом сказал: «Пусть идет тогда к у д а г л а з а г л я д я т, а коли не найдет дороги в Спыхов, пусть с п р о с и т, как туда пройти». Ибо то, что случилось, они отчасти уже давно решили сделать. Но сейчас, когда Зигфрид снова вошел в часовню и, опустившись на колени у гроба, положил в ногах у Ротгера окровавленную руку Юранда, радость, от которой за минуту до этого трепетала его грудь, в последний раз изобразилась на его лице.

– Ты видишь, – сказал он, – я сделал больше, чем мы решили, ибо король Иоанн Люксембургский хотя и был слеп, но мог ещё выйти на бой и погиб со славой[4], а Юранд уже не выйдет и погибнет, как пёс под забором.

Тут у него снова началось удушье, как и тогда, когда он шел к Юранду, а в голове старик ощутил тяжесть, как от железного шлема; но это длилось лишь одно короткое мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал:

– Да, пришел и мой час. Один ты был у меня, а теперь никого не осталось. Но если суждено мне ещё жить, то я даю обет тебе, сынок, либо положить на твою могилу и ту руку, которая тебя убила, либо самому погибнуть. Жив ещё твой убийца...

Зубы сжались у старого крестоносца при этих словах и такая сильная судорога свела лицо, что слова замерли у него на устах, и только через некоторое время он снова заговорил прерывистым голосом:

– Да... Жив ещё твой убийца, но я настигну его... А прежде чем настичь, я заставлю его испытать муку, горшую смерти.

И он умолк.

Через минуту он поднялся и, приблизившись к гробу, сказал спокойным голосом:

– А теперь я прощусь с тобою... В последний раз погляжу я в твое лицо, может, узнаю, рад ли ты моему обету. В последний раз!

Он открыл лицо Ротгера и внезапно отпрянул.

– Ты смеешься... – сказал он. – Но как страшно ты смеешься...

Труп под плащом, может быть от тепла свечей, начал с ужасной быстротой разлагаться, и лицо молодого комтура стало просто страшным. Распухшие, почернелые уши были чудовищны, а синие вздувшиеся губы искривились как будто в усмешке.

Зигфрид торопливо закрыл эту страшную человеческую маску.

Затем он взял фонарь и вышел вон. По дороге старик в третий раз почувствовал удушье; вернувшись к себе, он бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без движения. Он думал, что уснет, но его охватило вдруг странное чувство: ему показалось, что сон уже никогда к нему не придет. И если он останется в этой комнате, то сейчас к нему придет смерть.

Зигфрид не боялся её. Он изнемог, совсем потерял надежду уснуть и в смерти видел лишь бесконечный покой; но он не хотел, чтобы смерть пришла в эту ночь, и потому сел на своем ложе и произнес:

– Дай мне время до завтра.

Но тут же явственно услышал голос, который прошептал ему на ухо:

– Иди. Утром уже будет поздно, и ты не сделаешь того, что поклялся сделать. Иди.

С трудом поднявшись с постели, комтур вышел. На раскатах стен перекликалась стража. Желтый свет падал из окон часовни на снег. Посреди двора, у каменного колодца, играли две черные собаки, теребя какую-то тряпку, а так кругом было пустынно и тихо.

– Непременно этой ночью? – говорил Зигфрид. – Я так утомился, но я иду. Все спят. Измученный Юранд тоже, верно, спит, только я никак не усну. Я иду, иду, потому что в доме ждет меня смерть, а тебе я дал клятву... Но потом пусть приходит смерть, если не может прийти сон. Ты смеешься там, а у меня нет больше сил. Ты смеешься, ты, верно, доволен. Но пальцы у меня застыли, бессильны мои руки, и сам я уже этого не сделаю. Сделает это послушница, которая с нею спит...

Говоря так с самим собою, он шел тяжелым шагом к башне у ворот. Собаки, которые играли у каменного колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид узнал большую охотничью собаку, такую неразлучную спутницу Дидериха, что в замке говорили, будто ночью она служит ему подушкой.

Приласкавшись, собака тихо заскулила, затем, словно угадав мысль человека, побежала к воротам.

Через минуту Зигфрид очутился перед узкой дверцей башни, которую на ночь запирали снаружи на засов. Отодвинув его, старик нащупал перила лестницы, которая начиналась сразу же за дверью, и стал подниматься вверх. В растерянности он забыл фонарь и шел осторожно, нащупывая ногами ступени.

Сделав несколько шагов, он вдруг остановился, услышав выше над головой как будто тяжелое дыхание человека или зверя.

– Кто там?

Ответа не последовало, но дыхание стало чаще.

Зигфрид был человек неустрашимый, он не боялся смерти, но мужество его и самообладание уже исчерпались в эту страшную ночь. В голове у него пронеслась мысль, что это Ротгер преградил ему путь, и волосы встали дыбом у него на голове, а лоб покрылся холодным потом.

Он попятился чуть не к самому выходу.

– Кто там? – спросил он сдавленным голосом.

Но в эту минуту кто-то толкнул его в грудь с такой чудовищной силой, что старик без памяти грянулся навзничь в открытую дверь, не издав ни единого стона.

Воцарилась тишина. Потом из башни выскользнула темная фигура и крадучись побежала к конюшням, расположенным рядом с цейхгаузом по левую сторону двора. Большая собака Дидериха молча понеслась вслед за нею. Другая собака бросилась за ними и скрылась в тени, которую отбрасывала стена; однако вскоре она снова появилась; опустив к земле голову, она потихоньку бежала, словно пригнувшись к следу. Подойдя к лежавшему неподвижно Зигфриду, собака обнюхала его и, сев у него в головы, подняла морду вверх и завывала.

Наводя новую тоску и новый ужас, долго разносился в эту мрачную ночь её вой. Наконец в глубине, у больших ворот, скрипнула потайная дверь и во дворе появился привратник с алебардой.

– А, чтоб ты издохла! – сказал он. – Я вот научу тебя выть по ночам!

И, наставив алебарду, он хотел ткнуть острием в собаку, но тут же увидел, что у распахнутой дверцы башни кто-то лежит.

– Herr Jesus![5] Что это?..

Нагнувшись, он заглянул в лицо лежащему и закричал:

– Сюда, сюда, на помощь!

Затем бросился к воротам и изо всей силы задергал веревку колокола.

## VIII

Как ни торопился Гловач в Згожелицы, однако дороги совсем развезло, и он не мог ехать так скоро, как ему бы хотелось. После суровой зимы, после лютых морозов и метелей, когда целые деревни оказались погребенными под снегом, наступила сильная оттепель. Месяц лютый[6], вопреки своему названию, оказался вовсе не лютым. Сперва всё вставали густые, непроницаемые туманы, потом пошли проливные дожди, от которых на глазах таяли снежные сугробы, а в перерывах между дождями дул обычный мартовский ветер; он налетал порывами, собирал и разгонял в небе тяжелые тучи, а на земле выл в зарослях, ревел в лесах и пожирал снега, под которыми ещё недавно дремали в тихом зимнем сне сучья и ветви деревьев. Леса сразу почернели. Ветер морщил и рябил воду на затопленных лугах; реки и ручьи вздулись. Эта разлившаяся водная стихия радовала только рыбаков, прочий же люд скучал, сидя взаперти. Во многих местах от деревни до деревни можно было добраться только на лодке. Правда, через болота и леса почти везде были проложены из бревен гати и дороги; но сейчас гати размыло, а бревна в низинах затонули в болотной жиже, и проезд по ним стал опасным, а то и вовсе невозможным. Чеху особенно трудно было пробираться по озерной Великой Польше, где разливы каждую весну бывали больше, чем в других местах, и проехать, особенно всаднику, было труднее.

Он вынужден был часто делать остановки и ждать по целым неделям то в местечках, то в деревнях у шляхтичей, которые по обычаю радушно принимали гостя с его

людьми, охотно слушали рассказы о крестоносцах, а за новости платили хлебом-солью. Весна уже вступила в свои права и миновала большая часть марта, прежде чем Гловач добрался до Згожелиц и Богданца.

Сердце билось у чеха при мысли, что скоро он увидит свою госпожу; он знал, что Ягенка для него так же недостижима, как звезда в небе, и всё же обожал её и любил всей душой. Однако Гловач решил заехать сперва к Мацьку – и Збышко послал его к старику, да и людей он вез с собою, которых должен был оставить в Богданце. После смерти Ротгера Збышко взял людей убитого, а по правилам ордена при каждом рыцаре должно было состоять десять человек с десятью конями. Двое слуг Ротгера отвезли тело убитого в Щитно, а остальных Збышко, знавший, как ищет старый Мацько поселенцев, отослал с Гловачем в подарок дяде.

Когда чех приехал в Богданец, он не застал Мацька дома; ему сказали, что старик взял самострел и пошел с собаками в лес. Но Мацько вернулся ещё засветло и, узнав, что к нему приехало много каких-то людей, ускорил шаги, чтобы поздороваться с приезжими и оказать им радушный прием. Он сперва не признал Гловача, когда же тот поклонился и назвал себя, старик в первую минуту страшно испугался и, бросив наземь самострел и шапку, закричал:

– Господи помилуй! Убит! Говори же, что с ним!

– Не убит он, – возразил чех. – В добром здоровье.

Мацько устыдился, услышав эти слова, и смущенно засопел.

– Слава Иисусу Христу, – сказал он наконец со вздохом облегчения. – Где же он?

– Поехал в Мальборк, а меня послал сюда с новостями.

– А зачем он поехал в Мальборк?

– За женой.

– Побойся Бога, парень! За какой женой?

– За дочкой Юранда. На всю ночь хватит нам об этом разговоров; но пока позвольте мне отдохнуть, милостивый пан, страх как утомился я от дороги, с полуночи ехал без отдыха.

Мацько и спрашивать перестал по той простой причине, что от изумления у него язык отнялся. Придя в себя, он кликнул слугу, велел подкинуть дров в печку и принести чеху поесть, а сам заходил по горнице, размахивая руками.

– Ушам своим не верю... – говорил он сам с собою. – Дочка Юранда... Збышко женат.

– И женат, и не женат, – заметил чех.

И только теперь повёл неторопливый рассказ обо всём происшедшем. Старик жадно слушал, прерывая иногда его речь вопросами, потому что не всё в рассказе чеха было для него ясно. Гловач, например, не знал толком, когда Збышко женился, потому что никакой свадьбы не играли; и всё же он уверял, что Збышко обвенчался с Дануськой и что помогла ему в этом сама княгиня Анна Данута, а открылось всё только после приезда крестоносца Ротгера, которого Збышко вызвал на суд Божий и

при всём мазовецком дворе с ним бился.

– Вот как! Бился с ним! – сверкнув со страшным любопытством глазами, воскликнул Мацько. – И что же?

– Пополам разрубил он немца, да и мне Бог помог справиться с оруженосцем.

Мацько снова засопел, на этот раз от удовольствия.

– Ну, – сказал он, – с ним шутки плохи. Последний он в роду Градов, но, ей-ей, не из последних. А тогда с фризами?.. Ведь совсем ещё был мальчишка...

Старик пристально поглядел на чеха.

– Да и ты, – продолжал он, – мне по нраву пришелся. И, видно, не врешь. Я враля за версту слышу. С оруженосцем это дело пустое, да ты и сам говоришь, что недолго с ним повожжался, а вот что ты тевтонскому псу руку изломал, а допрежь того тура свалил, это дело похвальное.

Потом спросил вдруг:

– А добыча? Тоже добрая?

– Доспехи мы взяли, коней да слуг десять человек, восьмерых вам вот прислал молодой пан.

– А что он с двумя-то сделал?

– Отослал их с телом.

– Неужто князь не мог своих слуг послать? Их ведь уже не воротить.

Чех улыбнулся, его насмешила жадность, которую часто обнаруживал Мацько.

– Молодому пану это сейчас нипочем, – сказал он. – Спыхов большое имение.

– Большое-то большое, да что толку в нем? Не его ведь ещё оно.

– А чье же?

Мацько даже привстал.

– Рассказывай! А Юранд-то?

– Юранд у крестоносцев в подземелье, и смерть уж у него в головах. Бог весть, выживет ли он, а коли и выживет, так воротится ли? А хоть и выживет он, и воротится, так ксёндз Калёб читал его последнюю волю, велел он всем слушаться молодого пана, как хозяина.

На Мацька эти новости произвели, видно, огромное впечатление; такие они были и радостные, и вместе с тем огорчительные, что старик терялся, не зная, что и подумать о них, и не мог разобраться в чувствах, которые боролись в нем. Весть о том, что Збышко женился, в первую минуту неприятно поразила Мацька, он ведь как родной отец любил Ягенку и всеми силами старался свести со Збышком. Но, с другой

стороны, старик уже как-то привык к мысли, что дело это пропащее, да и Дануська приносила роду то, чего не могла принести Ягенка: и княжескую милость, и приданое, как у единственной дочери, во много раз большее. Мацько видел уже Збышка княжеским комесом, владельцем Богданца и Спыхова, а в будущем и каштеляном. Всё это легко могло стать в те времена, когда о худородном шляхтиче говаривали: «Было у него двенадцать сыновей, шестеро в битвах полегли, шестеро каштелянами стали». И народ, и шляхетские роды были на пути к возвышению. Богатство только помогло бы Збышку возвыситься, так что алчность и родовая гордость Мацька могли быть удовлетворены. Однако у старика были основания и для беспокойства. Когда-то ради спасения Збышка он сам отправился к крестоносцам и вернулся из этой поездки с железным осколком под ребром, а теперь вот Збышко поехал в Мальборк, прямо как волку в пасть. Что он найдет там? Жenu или смерть? «Косо они будут смотреть на него, – подумал Мацько. – Недавно он убил их знаменитого рыцаря, ещё раньше напал на Лихтенштейна, а они, собачьи дети, мстительны». Закручинился старый рыцарь, подумав об этом, а тут ещё пришло ему в голову, что Збышко, «горячая голова», непременно станет драться с каким-нибудь немцем. Впрочем, это его не так беспокоило. Больше всего Мацько опасался, как бы крестоносцы не схватили Збышка. «Схватили они старого Юранда и его дочку, не побоялись когда-то самого князя схватить в Злоторые, чего это они станут Збышка миловать?»

И тут ему подумалось – что же будет, если парень вырвется из лап крестоносцев, а жены не найдет? Сперва Мацько утешился, вспомнив, что после жены Збышку достанется Спыхов; но этого утешения не надолго хватило. Для старика было очень важно богатство, но не менее важен был и род – потомство Збышка. «Коли Дануська пропадет, как камень в воду канет, и никто не будет знать, жива она или умерла, Збышко не сможет жениться на другой, и вымрут тогда Грады из Богданца. Эх! Не то было бы с Ягенкой!.. Мочидолов тоже ни наседка крыльями, ни пёс хвостом не прикроют, а такая девка что ни год рожала бы, как яблоня в саду». И не так уже радовался Мацько новым владениям, больше сокрушался, что всё так сложилось; в тревоге стал он снова выпытывать у чеха, когда же и как Збышко обвенчался.

– Я уж говорил вам, милостивый пан, – ответил ему чех, – что не знаю, когда это было, догадываюсь только, ну а поклясться в том не могу.

– А всё-таки как ты думаешь?

– Когда пан болел, я от него не отходил и спал с ним в одной горнице. Как-то вечером велено мне было уйти, а потом я видел, как к пану прошла сама вельможная княгиня, а с нею панна Данута, де Лорш и ксёндз Вышонек. У панны на голове был веночек, и я даже удивился, ну, а потом подумал, что это, верно, ксёндз будет причащать пана... Может, тогда это и было... Помню, пан велел нарядить его, как на свадьбу; но я тоже подумал, что это для причастия.

– Ну, а как же потом? Они остались одни?

– Какое там! Не остались! Да хоть бы и остались, так пан тогда и есть-то сам не мог, совсем ослаб. А за панночкой уже люди приехали, будто бы от Юранда, на рассвете она и уехала...

– И Збышко с той поры её не видал?

– Никто её с той поры не видал.

На минуту воцарилось молчание.

– Как ты думаешь? – снова заговорил Мацько. – Отдадут её крестоносцы?

Чех покачал головой, потом нехотя махнул рукой.

– Мне думается, – медленно сказал он, – что пропала она навеки.

– Это почему же? – со страхом спросил Мацько.

– Да если бы они сказали, что она у них, так и надежда была бы. Можно было бы жаловаться, либо выкуп заплатить, либо отбить её силой, а ведь они что говорят? «Была, говорят, у нас какая-то девка, отбили мы её и дали Юранду знать, а тот в ней не признал своей дочери, а за наше добро столько нам перебил народу, что и в бою столько не потеряешь».

– Так они показывали Юранду какую-то девку?

– Говорят, будто показывали. А Бог их знает. Может, и неправда, а может, другую показали, одно только верно, что тьму народу он перебил и что они готовы поклясться в том, что панны Дануты никогда не похищали. Трудное это дело. Хоть и велит им магистр отдать её, так они скажут, что нет её у них, и чем ты докажешь, что она у них? А тут ещё люди в Цеханове толковали про письмо Юранда, в котором он пишет, будто она не у крестоносцев.

– А может, она и впрямь не у крестоносцев?

– Что вы, ваша милость!.. Ведь если бы её разбойники похитили, так только для того, чтобы получить выкуп. Да и не сумели бы они ни письмо написать, ни печать пана из Спыхова подделать, ни столько слуг за нею прислать.

– Это верно. Но зачем же она нужна крестоносцам?

– А обиды свои на ней выместить! Им месть слаще меда и вина, да и причина есть. Страшен был им пан из Спыхова, а после того, что напоследок он им учинил, они вконец распалились... Слыхал я, что и мой пан поднял руку на Лихтенштейна, да и Ротгера убил... А я с Божьей помощью тевтонскому псу руку изломал. Эх!.. Четверо их было, черт бы их, простите, подрал, а теперь один только в живых остался, да и тот старик. Мы, ваша милость, тоже можем показать зубы.

На минуту снова воцарилось молчание.

– Бойкий из тебя оруженосец, – сказал наконец Мацько. – А как ты думаешь, что они с нею сделают?

– Князь Витовт – могущественный князь, говорят, сам германский император в пояс ему кланяется, а что они сделали с его детьми? Мало у них замков? Мало подземелий? Мало колодцев? Мало веревок да петель на шею?

– Господи, спаси и помилуй! – воскликнул Мацько.

– Дай Бог, чтоб молодого пана не заточили, хоть и поехал он к ним с письмом от князя и с паном де Лоршем, знатным рыцарем, который герцогам сродни. Эх, не хотел я сюда ехать, потому там скорей удалось бы с кем-нибудь сразиться. Да пан



велел. Слышал я, как говорил он раз старому пану из Спыхова: «Вы, говорит, хитрый? Потому я совсем хитрить не умею, а с ними нужна хитрость! Вот, говорит, дядя Мацько, тот бы очень нам пригодился!» Затем-то он меня сюда и послал. Но только дочки Юранда и вам, пан, не найти, она уж, верно, на том свете, а против смерти – никакая хитрость не поможет...

Мацько задумался.

– Да, тут уж ничего не поделаешь, – сказал он после долгого молчания.

– Против смерти хитрость не поможет. Вот поехать бы туда да хоть дознаться, что ту убили, так тогда Спыхов всё равно достался бы Збышку, а сам он мог бы вернуться и на другой жениться...

Мацько вздохнул при этом, будто камень у него с души свалился, а Гловач спросил робким, тихим голосом:

– На панночке из Згожелиц?..

– На ней, – ответил Мацько. – Она к тому же теперь сирота, а Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой так навязались, что совсем от них житься девке не стало.

Чех вскочил.

– Панночка сирота? А рыцарь Зых?..

– Так ты ничего не знаешь?

– Господи, да что же стряслось?

– Оно и верно, откуда тебе знать об этом, коли приехал ты прямо сюда, а толковали мы с тобой только про Збышка. Сирота она! Згожелицкий Зых, сказать по правде, и места-то дома не пригрел, только тогда, бывало, и посидит, как гости у него. А так всё ему было скучно в Згожелицах. Написал ему как-то аббат, что собирается в гости к освенцимскому князю Пшемку, и его с собой позвал. А Зых и рад, он с князем знаком был, не раз с ним пировал. Приезжает это ко мне Зых и говорит: «Еду я в Освенцим, а оттуда в Глевицы, а вы приглядите тут за Згожелицами». Будто почуяло мое сердце беду, говорю я ему: «Не ездите! Постерегите дом и Ягенку, знаю я, что Чтан с Вильком худое замышляют». А надо тебе сказать, что аббат, разгневавшись на Збышка, хотел выдать Ягенку за Вилька или Чтана, да как поближе к ним пригляделся, отколотил их как-то обоим своим посохом и вышвырнул вон из Згожелиц. Оно бы и хорошо, да вот беда, уж очень они обозлились. Сейчас спокойней стало, изувечили они друг дружку и лежат, а то ни минуты тебе покоя нет. Всё на моих плечах: и опекай, и охраняй. А теперь вот Збышко хочет, чтобы я к нему ехал. Не знаю, как и быть-то с Ягенкой... Впрочем, погоди, дай я тебе сперва про Зыха доскажу. Не послушался он меня, поехал.

Ну, пировали они там, веселились! Из Глевиц поехали к отцу князя Пшемка[7], к старому Носаку, который в Цешине княжит. А тут Ясько[8], князь рациборский, который ненавидел князя Пшемка, возьми и подошли к ним разбойников под предводительством чеха Хшана. И князь Пшемко погиб, а с ним и згожелицкий Зых, стрела ему в горло воткнулась. Аббата они железным чеканом оглушили, так что у него и по сию пору голова трясется, без памяти старик и языка лишился, верно тоже навсегда. Но старый князь Носак купил Хшана у владельца Зампахы и так его

истязал, что даже старики о таких пытках не слыхивали. Но от этого не перестал он тосковать по сыну, и Зыха не воскресил, и Ягенки не утешил. Вот тебе и позабавились... Шесть недель назад привезли сюда Зыха и похоронили.

– Такой могучий был богатырь!.. – с сожалением сказал чех. – Я под Болеславцем тоже был уже крепким парнем, а ведь он схватил меня и минуты не повожжался. Только такая у него была неволя, что не променяю я её и на волю... Добрый, хороший был пан! Вечная ему память! Уж так мне жаль, так жаль, а больше всего бедняжки панночки.

– И впрямь бедняжка. Другая матери так не любит, как она отца любила. Да и жить ей в Згожелицах стало опасно. Не успела она отца похоронить, ещё снегом могилу его не засыпало, а уж Чтан и Вильк учинили набег на Згожелицы. По счастью, мои люди прослышали про умысел их, и я со слугами поспешил на подмогу Ягенке; с Божьей помощью здорово мы их тогда поколотили. А Ягенка после боя упала мне в ноги: «Не судьба мне за Збышком быть, так ни за кого не пойду. Только спасите меня от этих выродков, потому лучше мне смерть принять, чем за кого-нибудь из них замуж пойти...» Ты, скажу я тебе, Згожелиц сейчас не узнаешь, я там настоящую крепость устроил. Чтан и Вильк ещё два раза учиняли потом набег, да только ничего у них не вышло. Теперь попритихли на время – я уж тебе говорил, так друг дружку изувечили, что ни рукой, ни ногой двинуть не могут.

Гловач ничего не отвечал, только так скрежетал зубами, слушая про Чтана и Вилька, будто кто скрипучую дверь отворял да затворял, а потом потёр об ляжки свои сильные руки, видно почувствовал, что чешутся они у него. Одно только слово вырвалось у чеха:

– Проклятые!..

Но в эту минуту в сенях раздались чьи-то голоса, дверь внезапно распахнулась, и в горницу ворвалась Ягенка со старшим из братьев, четырнадцатилетним Яськом, с которым они были схожи, как близнецы.

Узнав от згожелицких мужиков, которые видели на дороге всадников, что какие-то люди, предводительствуемые чехом Главой, поехали в Богданец, она, как и Мацько, очень испугалась, а когда ей сказали, что Збышка с ними не было, она решила, что стряслась беда, и духом примчалась в Богданец, чтобы узнать всю правду.

– Господи! Что там стряслось?.. – крикнула девушка с порога.

– А что могло стрястись-то? – сказал Мацько. – Збышко жив и здоров.

Чех бросился к своей госпоже и, преклонив колено, стал целовать край её платья, однако она ничего не заметила; услышав ответ старого рыцаря, она отвернула голову в тень и только через минуту, вспомнив, что надо поздороваться, сказала:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков! – ответил Мацько.

А она только теперь заметила чеха у своих ног и склонилась к нему:

– Я, Глава, от души рада тебя видеть, но почему ты покинул своего пана?

- Он усладил меня, милостивая панночка.
- И что велел тебе делать?
- Велел ехать в Богданец.
- В Богданец?.. А ещё что?
- Послал за советом... с приветом и поклоном.
- Только в Богданец? Ну ладно. А сам-то он где?
- К крестоносцам поехал в Мальборк.

На лице Ягенки снова изобразилось беспокойство.

- Что, ему жизнь не мила? Зачем он туда поехал?
- Искать, милостивая панночка, то, чего уж ему не найти.
- Это верно, что не найти, – вмешался Мацько. – Как гвоздя не утвердить без молота, так и волю людскую без воли Божьей.
- О чём это вы толкуете? – спросила Ягенка.

Но Мацько на вопрос ответил вопросом:

- Говорил ли тебе Збышко про дочку Юранда? Слышал я, что говорил.

Ягенка не сразу ответила.

- Говорил! А почему бы ему не говорить? – спросила она, затаив дыхание.
- Вот и хорошо, теперь мне легче будет рассказывать, – ответил старик.

И он начал рассказывать ей обо всём, что слышал от чеха, и сам диву давался, отчего это так трудно ему говорить и рассказ его так нескладен. Но человек он и в самом деле был хитрый, и уж очень ему не хотелось «отпугивать» Ягенку, поэтому он на всякий случай особенно упирал на то, чему и сам верил, – что Збышко вовсе и не был мужем Дануси и что она пропала навеки.

Чех поддакивал старику, то кивая головой, то повторяя: «Ей-же-ей, правда!» или: «Так оно на самом деле и есть», а девушка слушала, потупя взор, ни о чём не спрашивала и так притихла, что молчание её встревожило Мацька.

- Ну, что же ты скажешь? – спросил он, закончив свой рассказ.

Она ничего не ответила, только две слезинки блеснули у нее на ресницах и скатились по щекам.

Через минуту девушка подошла к Мацьку, поцеловала ему руку и сказала:

- Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков! – ответил старик. – Что это ты так домой торопишься? Осталась бы с нами.

Но она не захотела остаться, сказала, будто дома на ужин ничего не оставила. Хоть и знал Мацько, что в Згожелицах есть старая шляхтянка Сецехова, которая могла бы заменить Ягенку, но не очень задерживал девушку, понимая, что с печали слезы льются, а не любит человек, чтобы его в слезах видели, вот и прячется, словно рыба, которая, почуяв в себе зуб остроги, уходит поглубже на дно.

Он только погладил девушку по голове и с чехом проводил её во двор. Чех вывел из конюшни коня, вскочил на него и поехал следом за панночкой.

А Мацько, вернувшись, покачал со вздохом головой и проворчал:

– Ох, и дурень же ты, Збышко!.. Даже пахнет сладко после этой девки в хате.

И старик совсем закручинился. Вот, подумал он, женился бы на ней Збышко сразу, как домой воротился, так уж, может, до этой-то поры была бы и радость, и утеха! А теперь что? Только вспомнишь о нём, а у нее уж слеза катится из глаз, а парень бродит где-то по свету и будет в Мальборке стену лбом пробивать, покуда не разобьет его себе, а в хате пусто, одни доспехи скалятся со стен. Какой толк от хозяйства, к чему все заботы, на что и Спыхов и Богданец, коли некому будет их оставить?

И Мацько распалился гневом.

– погоди ты, бродяга! – сказал он вслух. – Не поеду я к тебе, делай себе, что хочешь.

Но тут, как назло, напала на него страшная тоска по Збышку. «Как же не ехать-то, – подумал старик, – да разве я усiju дома? Не усiju! Наказание господне! Это чтоб я хоть разок ещё этого сорванца не увидел? Не может этого быть! Опять он там тевтонского пса изрубил и добычу взял... Другой поседет, покуда рыцарский пояс получит, а его уже князь опоясал... И по справедливости, потому много удалых молодцов среди шляхты, но другого такого, пожалуй, не сыщешь».

И, совсем растрогавшись, он сперва стал озирать доспехи, мечи и секиры, темневшие в дыму, как бы раздумывая, что взять с собой и что дома оставить, а потом вышел вон, потому что не вмоготу ему стало в хате сидеть, да и надо было распорядиться, чтобы конюхи смазали телеги и задали лошадям вдвое больше овса.

Во дворе уже спускались сумерки; старику вспомнилась вдруг Ягенка, которая за минуту до этого садилась здесь на коня, и опять его охватила тревога.

– Ехать-то ехать, – сказал он себе, – а кто будет тут защищать её от Чтана и Вилька? А чтоб их гром разразил!..

Ягенка тем временем ехала с малым Яськом по лесной дороге в Згожелицы, а чех тащился за ними в молчании, и сердце его было переполнено любовью и жалостью... Он видел слезы девушки и, глядя теперь на её темную фигуру, едва видную в лесном мраке, догадывался, как тоскует она и печалится. И чудилось ему, что из темной чащи вот-вот протянутся к ней хищные руки Вилька или Чтана, и при одной этой мысли его охватывала дикая жажда битвы. Порой эта жажда становилась такой неодолимой, что парню хотелось схватиться за меч или секиру и хоть сосны рубить

у дороги. Он чувствовал, что если бы ему побиться до усталости, так стало бы легче. Подумал он было, не пустить ли хоть коня вскачь, да те впереди ехали медленно, нога за ногу, и больше молчали, потому что малый Ясько хоть и был говорлив, но заметил, что сестре не хочется разговаривать, и тоже примолк.

Но когда они подъезжали к Згожелицам, чех перестал уже гневаться на Чтана и Вилька, одна только жалость владела теперь его сердцем. «Да я бы для тебя жизни не пожалел, – говорил он сам с собою, – только бы тебя утешить, но что же мне делать, несчастному, что сказать тебе? Сказать разве, что велел он поклон тебе передать, может, даст Бог, ты хоть немного утетишься».

Подумав об этом, он подъехал к Ягенке.

– Милостивая панночка...

– Ты едешь с нами? – спросила девушка, словно очнувшись ото сна. – Что скажешь?

– Забыл я, пан мне вот что велел вам передать. Как уезжал я из Спыхова, позвал он меня и говорит: «Упади к ногам панночки из Згожелиц и скажи, что горька ли или счастлива будет моя доля, никогда я её не забуду, а за то, говорит, что она для дяди и для меня сделала, пусть Бог её наградит и пошлет ей здоровья».

– Спасибо и ему на добром слове, – ответила Ягенка.

Затем она прибавила таким удивительным голосом, что у чеха совсем растаяло сердце:

– И тебе, Глава.

Разговор у них оборвался; но оруженосец был доволен собой и радовался, что сказал панночке такие хорошие слова. «По крайности, – подумал он про себя, – не скажет она, что отплатили ей неблагодарностью». Потом добрый хлопец стал снова раздумывать, что бы ей ещё такое сказать.

– Панночка... – заговорил он через минуту.

– Что тебе?

– Да я хотел вам то же сказать, что и старому пану в Богданце говорил: пропала уж та навеки, никогда уж молодому пану её не найти, хоть бы и сам магистр стал ему помогать.

– Она жена ему, – возразила Ягенка.

Но чех покачал головой.

– Какая там жена...

Ягенка ничего ему не ответила, но дома, после ужина, когда Ясько и младшие братья пошли спать, велела принести братину меду и сказала чеху:

– Надо мне поговорить с тобою, да ты, может, спать хочешь?

Как ни утомился чех от дороги, но с нею готов был проговорить до утра, и они

стали беседовать, вернее, он стал сызнова подробно рассказывать ей обо всём, что случилось за это время со Збышком, с Юрандом, с Данусей и с ним самим.

## IX

Мацько готовился в путь, а Ягенка два дня не показывалась в Богданце, всё держала совет с чехом. Старый рыцарь встретил её только на третий день, в воскресенье, по дороге в костёл. Ягенка ехала в Кшесню с братом Яськом и с целым отрядом вооруженных слуг, она не была уверена, что Чтан и Вильк всё ещё лежат, и опасалась, как бы они не учинили на нее нападения.

– Я после обедни хотела заехать к вам в Богданец, – сказала девушка, поздоровавшись с Мацьком, – есть у меня к вам спешное дело, а впрочем, мы и сейчас можем потолковать.

Она проехала вперед, не желая, видно, чтобы слуги слышали их разговор, и, когда Мацько поравнялся с нею, спросила:

– Так вы уже наверняка едете?

– Бог даст, не позднее завтрашнего дня.

– В Мальборк?

– То ли в Мальборк, то ли нет. Куда приведется.

– Так послушайте, что я вам скажу. Долго я думала, что мне делать, а сейчас у вас хочу спросить совета. Раньше, когда батюшка был жив и аббат здоров, всё было иначе. Чтан и Вильк думали, что я выберу одного из них, и утихомиривали друг дружку. А теперь я останусь безо всякой защиты, и либо мне придется сидеть за острогом в Згожелицах, как в заточении, либо неминуемое дело ждать от них обиды. Ну, скажите сами, разве это не так?

– Что говорить! – сказал Мацько. – Я и сам думал об этом.

– И что же вы надумали?

– Ничего не надумал, одно только должен тебе сказать, что сторона наша польская, и за насилие над девушкой статут сурово карает обидчика.

– Так-то оно так, да ведь через границу тоже легко перейти. Знаю я, что и Силезия польская сторона, а князья вечно там враждуют и друг на дружку учиняют набеги. Не будь этого, мой дорогой батюшка был бы жив. Поналезло уже туда немцев, мутят они там, обиды чинят, и коли хочет кто укрыться у них, так укроется. Не далась бы я легко в руки ни Чтану, ни Вильку, и не за себя, за братьев я боюсь. Не будет меня в Згожелицах, всё будет спокойно, а останусь я, так Бог один знает, что тогда может случиться. Начнутся опять набеги да стычки, а Яську четырнадцать лет, и его не только мне, никому уж не удержать. Последний раз, когда вы ещё пришли нам на помощь, он уже рвался вперед; Чтан как метнул тогда в толпу булавой, так чуть парнишке в голову не угодил. Да что там! Ясько слугам сказал, что вызовет Чтана и Вилька на бой на утопанной земле. Говорю вам, ни днем, ни ночью не будет покоя, ведь и над младшими братьями может стрястись беда.

– Да что ты! Собачьи дети и Чтан, и Вильк, – с живостью сказал Мацько, – но на

детей руки не поднимут. Тьфу! Да такое одни только крестоносцы могут учинить.

– На детей они руки не поднимут, но в суматохе, или случись, упаси Бог, пожар, всё может случиться. Да что толковать! Старая Сецехова любит братьев, как родных детей, присмотрит она за ними и приглядит, а без меня было бы тут безопасней.

– Может быть, – ответил Мацько.

Затем он бросил на девушку быстрый взгляд:

– Чего же ты хочешь?

Она ответила ему, понизив голос:

– Возьмите меня с собой.

Нетрудно было догадаться, что разговор кончится этим, однако Мацько был вне себя от изумления.

– Побойся ты Бога, Ягенка! – воскликнул он, осадив коня.

Она опустила голову и ответила робко и вместе с тем печально:

– Миленький вы мой! Уж лучше мне не таиться, а всю вам правду сказать. И Глава, и вы говорите, что вовек не найти Збышку Дануськи, а чех ещё горше ждёт беды. Бог свидетель, я не желаю ей зла. Пусть хранит её, бедняжку, мать Божия. Милей была она Збышку, что ж, ничего не поделаешь! Такая уж моя доля. Но, видите, куда Збышко её не найдет, или, как вы думаете, никогда не найдет, то... то...

– То что? – спросил Мацько, видя, что девушка всё больше пугается и смущается.

– То не хочу я ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого не хочу выходить.

Мацько удовлетворенно вздохнул.

– А я уж думал, ты его забыла, – сказал он.

А она ответила с ещё большей грустью:

– Где уж там!..

– Так чего ты хочешь? Как же мне взять тебя к крестоносцам?

– Зачем непременно к крестоносцам? Я бы сейчас к аббату съездила, он в Серадзе лежит больной. Нету там при нём родной душеньки, скоморохи-то его, верно, больше в братину заглядывают, чем к нему, больному, а ведь он крестный мой и благодетель. Будь он здоров, я бы всёравно искала его покровительства, его ведь люди побаиваются.

– Я не стану противиться, – сказал ей Мацько, который в глубине души рад был решению Ягенки. Уж он-то знал крестоносцев и был совершенно уверен в том, что Данусе живой из их рук не вырваться. – Да ведь с девушкой в дороге хлопот не оберешься.

– Может, с другой и не оберешься, только не со мной. Не доводилось мне ещё ни с кем биться, но не в диковину мне стрелять из самострела и на охоту ходить. Надо будет, всё вынесу, это вы не опасайтесь. Надену я платье Яська, косы уберу под сетку, маленький меч к поясу пристегну и поеду. Ясько моложе меня, но ростом ничуть не ниже, а лицом так на меня похож, что, когда мы с ним, бывало, перерядимся на масленой, так и покойный батюшка не угадает, где он, а где я... Вот увидите, не признают меня ни аббат и никто другой.

– Ни Збышко?

– Коли только я увижу его...

Мацько на минуту задумался, а потом сказал вдруг с улыбкой:

– А Вильк из Бжозовой и Чтан из Рогова, пожалуй, взбесятся!

– И пускай себе бесятся. Хуже, если они за нами поедут.

– Ну, этого-то я не боюсь. Хоть и стар я, но лучше мне под руку не попадаться. Да и прочим Градам тоже!.. Они уж понюхали, чем кулак Збышка пахнет.

За разговором Мацько и Ягенка не заметили, как доехали до Кшесни. В костёле был и старый Вильк из Бжозовой; он то и дело бросал мрачные взгляды на Мацька, но тот не обращал на него внимания. После обедни с легким сердцем возвращался Мацько с Ягенкой домой. Но когда на распутье они попрощались и Мацько, вернувшись в Богданец, остался один, в голову ему полезли уже не такие веселые мысли. Он знал, что, если Ягенка уедет, ни Згожелицам, ни родным её не будет грозить опасность. «На девушку парни могли бы напасть, – говорил он про себя, – это совсем другое дело, а на сирот и на их имущество они не посягнут, иначе покрыли бы себя несмываемым позором и все жители поднялись бы на них, как на сущих волков. Но вот Богданец останется на произвол судьбы!.. Межи запашут, стада угонят, мужиков переманят!.. Даст Бог, ворочусь, так всё отобью, pošлю вызов и в суд подам, потому не один кулак, но и закон правит у нас... Только ворочусь ли я, да и когда ворочусь?.. Уж очень они на меня взъелись за то, что девки им не даю, а коли она уедет со мною, ещё пуще взъедятся».

И страх как жалко стало старику Богданца, где он завел уже большое хозяйство; уверен он был, что, вернувшись домой, найдет опять мерзость запустения.

«Ничего не поделаешь! Надо что-то придумать!» – решил старик.

После обеда он велел оседлать коня, сел и поехал прямо в Бжозовую.

Приехал он уже в сумерки. В светлице за жбаном меду сидел старый Вильк, а молодой, избитый Чтаном, лежал на покрытой шкурами лавке и тоже попивал с отцом мед. Мацько вошел неожиданно в светлицу и остановился на пороге, суровый, высокий, костистый, без брони, но с большим мечом на боку. На лицо старика упал яркий отблеск пламени, и отец с сыном тотчас его признали. Они вскочили с быстротой молнии и, ринувшись к стенам, схватили первое попавшееся оружие.

Однако старик, человек бывалый и отлично знавший людей и обычай, нимало не смутился, даже до меча не дотронулся; подбоченясь, он сказал спокойным голосом, в котором звучала легкая насмешка:



– Что это? Так вот как в Бжозовой шляхта принимает гостей?

У тех и руки опустились, старик со звоном уронил на землю меч, молодой – копье, они замерли, вытянув шеи, и на враждебных, но уже пристыженных лицах их изобразилось удивление.

– Слава Иисусу Христу! – сказал Мацько с улыбкой.

– Во веки веков!

– И Георгию Победоносцу.

– Мы служим ему.

– Я как сосед приехал, с добрыми намерениями.

– Коли с добрыми намерениями, так милости просим. Гость – особа священная.

Тут старый Вильк бросился к Мацьку, за ним кинулся и молодой, оба они стали пожимать гостю руку, а затем усадили его за стол на переднее место. В один миг подбросили они дров в печку, накрыли скатертью стол, оставили его яствами, баклагами пива, жбанами меду, и стали все пировать. Молодой Вильк то и дело бросал на Мацька испытующие взгляды, видно было, что уважение к старику, как к гостю, борется в нём с ненавистью; и всё же парень, хоть и ранен был, так усердно прислуживал Мацьку, что даже побледнел от усталости. Оба они с отцом просто сгорали от любопытства, так хотелось им узнать, зачем приехал Мацько; однако они ни словом не обмолвились, ожидая, что старик сам скажет им о цели своего приезда.

А Мацько, как человек, знающий обычай, всё похваливал яства и пития и гостеприимных хозяев и, только наевшись до отвала, поглядел с важностью и сказал:

– Случается людям поссориться и даже подраться, но нет ничего лучше, когда у соседа с соседом лад!

– Нет ничего лучше, – с такой же важностью поддержал его старый Вильк.

– Бывает и так, – продолжал Мацько, – что надо человеку в дальний путь отправляться и жаль ему уехать, не простясь с соседом, с которым он не в ладу жил.

– Спасибо на добром слове.

– Не на одном только слове, я ведь и приехал к вам.

– От души рады вас видеть. Милости просим хоть каждый день.

– Рад бы и я принять вас в Богданце, как подобает принимать людей, которые знают, что такое рыцарская честь, да в дорогу тороплюсь.

– На войну или в святые места?

– Да уж лучше бы на войну или в святые места, а то хуже – к крестоносцам.

– К крестоносцам? – в один голос вскричали отец и сын.

– Да! – подтвердил Мацько. – А кто едет к ним, не будучи им другом, тому лучше и с Богом, и с людьми примириться, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения.

– Удивительное дело! – воскликнул старый Вильк. – Не встречал я ещё человека, который не терпел бы от них обид и утеснении.

– Так и все наше королевство! – прибавил Мацько. – Ни Литва до святого крещения, ни татары не причиняли нашему королевству столько обид, сколько эти дьяволы-монахи.

– Истинная правда, но только, знаете, терпели мы, терпели, а теперь уж невмочь, пора кончать с ними, да вот так!

И старик плюнул в кулак, а сын прибавил:

– Только так.

– Так-то оно так, да вот когда? Не нашего ума это дело, королю оно виднее. Может, скоро это будет, а может, и не скоро... Один Бог знает, а куда мне надо ехать к ним.

– Не с выкупом ли за Збышка?

Когда старый Вильк упомянул имя Збышка, сын мгновенно побледнел от ненависти и лицо его приняло враждебное выражение.

Но Мацько спокойно ответил:

– Может, и с выкупом, но только не за Збышка.

Любопытство обоих хозяев Бжозовой было ещё больше возбуждено.

– Это ваша воля, – не выдержал старик, – сказать или не сказать, зачем вы туда едете.

– Я скажу вам, скажу! – закивал головой Мацько. – Только сперва я про другое хочу с вами потолковать. Дело-то вот какое, уеду я и оставлю Богданец на произвол судьбы... Раньше, когда мы оба со Збышком воевали под знаменами князя Витовта, за нашим добром аббат приглядывал, да и Зых из Згожелиц, а теперь и того не будет. Тяжело, как подумаешь, что зря ты трудился, зря старался... Вы ведь сами знаете, как оно бывает: людей у меня переманят, межи запашут, всяк, сколько сможет, угонит скотины из стада, и коли приведет Бог благополучно воротиться домой, так воротимся мы опять в разоренное гнездо. Одно тут средство, одно спасение: добрый сосед. Вот и приехал я к вам просить по-добрососедски присмотреть за Богданцем и не дать разорить его.

Старый и молодой Вильки переглянулись в изумлении при этих словах и не нашлись сразу, что ответить. На минуту воцарилось молчание. Мацько поднес к губам чару меда, осушил её и продолжал так спокойно и доверительно, будто оба они век были его закадычными друзьями:

– Не таясь, скажу я вам, кого я больше всего опасюсь. Не кого иного, как Чтана из Рогова. Вас бы я не боялся, даже если бы мы расстались с вами врагами, вы люди благородные, лицом к лицу встретитесь с врагом, а за спиной вымещать ему подло не станете. С вами дело совсем другое!.. Рыцарь он всегда рыцарь! Но Чтан человек простого звания, от него всего можно ждать, да и знаете, очень он зол на меня за то, что не даю я ему подступиться к Ягенке.

– Для племянника её бережете! – взорвался молодой Вильк.

Мацько с минуту глядел на него холодным взором, а затем обратился к старику и сказал:

– Мой племянник, скажу я вам, женился на одной мазурской владельнице и взял за нею богатое приданое.

Снова воцарилось ещё более глубокое молчание; отец с сыном, разинув рты, уставились на Мацька.

– Как же так? – воскликнул наконец старик. – Ведь болтали, будто бы... Нет, скажите, как же так?..

А Мацько, пропустив мимо ушей его вопрос, продолжал:

– Потому-то и ехать мне надобно, потому-то и прошу я вас, как достойных и почтенных соседей, заглядывайте время от времени в Богданец, не давайте никому бесчинствовать там, особенно же стерегите его от набегов Чтана!..

Молодой Вильк, парень дошлый, успел тем временем сообразить, что раз Збышко женился, а Ягенка доверяет Мацьку и во всём готова следовать его совету, то лучше жить со стариком в дружбе. Перед молодым буяном открылись вдруг новые виды. «Мало не противиться Мацьку, надо переманить его на свою сторону!» – сказал он себе. И хоть парень был под хмельком, однако тотчас протянул под стол руку и, сжав колено отца, чтобы старик не сболтнул, чего лишнего, сказал:

– Вы Чтана не бойтесь! Ого! Пусть только сунется! Правда, он меня немножко помял, но ведь и я так отделал ему волосатую рожу, что его родная мать не признала. Ничего не бойтесь! Езжайте спокойно. Ни одна ворона не пропадет из Богданца!

– Вижу, вы люди достойные. Обещаете?

– Обещаем! – воскликнули оба.

– Рыцарской честью клянётесь?

– Рыцарской честью.

– И гербом?

– И гербом! Мало того! На кресте клянемся! Истинный Бог!

Мацько удовлетворенно улыбнулся.

– Ну, я знал, что могу на вас положиться. А коли так, тогда я вам ещё вот что скажу... Зых, как вы знаете, оставил мне на попечение своих детей. Потому-то я, хлопец, ни тебе, ни Чтану не дал ворваться в Згожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборке или ещё Бог весть где, какое уж там будет попечение... Правда, на сирот Бог призрит, и тому, кто вздумал бы их обидеть, не только сняли бы голову с плеч, но и отдали бы его на посрамление. И всё-таки тяжело мне уезжать. Очень тяжело. Обещайте же мне, что и сирот Зыха вы не только сами не обидите, но и другим не дадите в обиду.

– Обещаем! Обещаем!

– Рыцарской честью и гербом клянётесь?

– Рыцарской честью и гербом!

– И на кресте тоже?

– И на кресте!

– Бог тому свидетель. Аминь! – завершил Мацько.

И вздохнул с облегчением, зная, что такую клятву они сдержат, даже если ногти себе будут грызть с досады и со злости.

И старик тут же стал прощаться, но Вильки чуть не силком задержали его. Пришлось Мацьку и выпить, и со старым Вильком покумиться: сын же, который во хмелю всегда всех задирает, грозился на этот раз только Чтану, а за Мацьком так усердно ухаживал, будто завтра же должен был получить у него из рук в руки Ягенку. Около полуночи он, однако, обеспамятел от слабости, а когда его привели в чувство, заснул как убитый. Старик вскоре последовал примеру сына, так что Мацько оставил их обоих за столом, погруженных в непробудный сон.

У самого Мацька голова была крепкая, он не был пьян, только под хмельком, и, возвращаясь домой, весело думал о том, какое дельце ему удалось обстричь.

– Ну-ну! – говорил он сам с собою. – Богданец в безопасности, и Згожелицы в безопасности. Взбесятся они, как дознаются, что Ягенка уехала, а стеречь и её добро, и мое будут, потому поклялись. Умишком-то Бог меня не обидел!.. Где нельзя кулаком, надо хитростью взять... Ворочусь, так не миновать мне, верно, со стариком биться, ну да это всё пустое... Вот бы так и крестоносцев поймать на удочку... Только дело это нелегкое... У нас и напорешься на собачьего сына, так уж если он поклянётся тебе рыцарской честью и гербом, то сдержит клятву, а для них клятву дать – всё едино, что в воду плюнуть. А может, пособит мне Пресвятая Дева и пригожусь я на что-нибудь Збышку, как пригодился сейчас детям Зыха и Богданцу...

Тут старику пришло в голову, что Ягенка могла бы и не ехать, всё равно оба Вилька будут стеречь её пуше глаза. Однако через минуту он отбросил эту мысль: «Вильки будут стеречь, зато Чтан ещё больше навяжется. Бог его знает, кто кого победит, но только без набегов да побоищ дело наверняка не обойдется, а от этого могут пострадать Згожелицы, сироты Зыха, да и сама Ягенка. Один Богданец стеречь Вилькам будет легче, а девушке лучше подальше быть от обоих буянов да поближе к богатому аббату». Мацько не верил, что Дануся вырвется живой из лап крестоносцев, и не терял надежды на то, что Збышко вернется когда-нибудь вдовый и тогда непременно поймет, что Ягенка его суженая.

– Эх, господи Боже мой! – говорил он себе. – Вот бы в придачу к Спыхову да взял бы он ещё потом за Ягенкой Мочидолы и всё, что оставит ей аббат, – не пожалел бы я круга воску на свечи!

Раздумывая обо всём этом, старик и не заметил, как доехал до Богданца. Была уже поздняя ночь, и он очень удивился, увидев яркий свет в окнах. Слуги тоже не спали, и не успел Мацько въехать во двор, как навстречу ему выбежал конюх.

– Гости у нас, что ли? – спросил старик, слезая с коня.

– Паныч из Згожелиц с чехом, – ответил конюх.

Мацько ещё больше удивился. Ягенка обещала приехать на другой день на рассвете, и они тотчас должны были тронуться в путь. Зачем же приехал Ясько, да ещё в такой поздний час? Старый рыцарь испугался, не стряслась ли в Згожелицах какая-нибудь беда, и с беспокойством вошел в дом.

Однако в горнице ярко и весело горели смолистые дрова в большой глиняной печи, которую поставили вместо обычного, сложенного посреди горницы очага, а над столом пылали в железных подставках два факела, при свете которых Мацько увидел Яська, чеха Главу и юного оруженосца с лицом румяным, как яблочко.

– Как живешь-можешь, Ясько? Как там Ягенка? – спросил старый шляхтич.

– Ягенка велела вам сказать, – целуя старику руку, ответил паренек, – что она раздумала и решила остаться дома.

– Побойся Бога! Как же так? Что это ей пришло в голову?

А паренек поднял на него голубые глаза и залился смехом.

– Чего же ты хохочешь?

Но в эту минуту чех и юный оруженосец тоже разразились веселым смехом.

– Вот видите! – воскликнул мнимый паренек. – Кто же меня узнает, коли даже вы не признали?

Только теперь, присмотревшись к красивой фигурке, Мацько воскликнул:

– Во имя Отца и Сына! Прямо тебе ряженный на масленой! Ты, коротышка, чего сюда явилась?

– Как чего?.. Кому в путь-дорогу, тому уж пора собираться!

– Да ведь ты завтра на рассвете хотела приехать?

– Как не так! Завтра на рассвете, чтобы все меня видели! Завтра в Згожелицах подумают, что я у вас в гостях, и хватятся меня только послезавтра. Сецехова и Ясько все знают; но Ясько рыцарской честью поклялся, что расскажет обо всём только тогда, когда дома поднимется переполох. А что, не признали вы меня, а?

Тут засмеялся и Мацько.

– Дай-ка я получше рассмотрю тебя... Эх, и хорош мальчишка!.. И совсем особенный, потому и деток от него можно дожидаться... Верно говорю! Эх, будь я помоложе! А ты всё-таки, девка, берегись, не больно вертись у меня перед глазами! Берегись!..

И он погрозил ей пальцем, смеясь и глядя на нее с восхищением, потому что такого паренька в жизни не видывал. Волосы Ягенка убрала под шелковую красную сетку, надела зеленый суконный полукафтан и штанишки, широкие в бедрах, а внизу совсем узенькие, причем одна штанина была такого же цвета, как сетка, а другая полосатая. На боку у нее висел небольшой меч с богатой насечкой, ясное, как зорька, личико улыбалось, и вся она была так хороша, что глаз от нее нельзя было отвести.

– Боже ты мой! – восклицал повеселевший Мацько. – То ли красавец князек, то ли цветочек?

Затем он повернулся к другому пареньку:

– Ну, а этот?.. Тоже ряженный?

– Да ведь это дочка Сецеховой, – ответила Ягенка. – Нехорошо мне быть одной среди вас, не так ли? Вот я и взяла с собой Анульку, вдвоем всё-таки веселее, да и поможет она мне, и прислужит. Её тоже никто не признает.

– Вот тебе, бабушка, и свадьба! Мало было одной, на тебе две!

– Не смейтесь.

– Да я не смеюсь, но только днем-то вас всякий признает.

– Это почему же?

– Коленки вместе держишь, да и она тоже.

– Перестаньте!

– Я-то перестану, мое время прошло, а вот перестанут ли Чтан с Вильком, это одному Богу ведомо. Знаешь ли ты, стрекоза, откуда я возвращаюсь? Из Бжозовой.

– Господи! Да что вы говорите?

– Правду говорю! А что Вильки будут охранять от Чтана и Богданец, и Згожелицы – это тоже правда. Ну! Легко вызвать врагов на бой и сразиться с ними, но сделать их хранителями твоего же добра – это тебе не всякий сумеет.

И Мацько стал рассказывать, как он посетил Вильков, как привлек их на свою сторону и поймал на удочку, а Ягенка слушала в изумлении, когда же он наконец кончил, сказала:

– Вам хитрости не занимать стать; думаю, что всегда всё будет по-вашему.

Но Мацько грустно покачал головой.

– Эх, милая, кабы всегда было по-моему, так ты бы давно уже была хозяйкой в

Богданце.

Ягенка поглядела на старика голубыми глазами, затем подошла к нему и поцеловала в руку.

– Что это ты меня чмокаешь? – спросил старик.

– Да нет, ничего!.. Спокойной ночи, поздно уж, а завтра нам на рассвете в путь.

И, захватив с собой Анульку, Ягенка ушла, а Мацько провел чеха в боковушу, они улеглись там на зубровых шкурах и уснули крепким здоровым сном.

Х

После того как крестоносцы в тысяча триста тридцать первом году предали Серадз огню и мечу и сравняли его с землей, Казимир Великий отстроил город, однако он не был уже так великолепен и не мог идти в сравнение с другими городами королевства. И всё же Ягенка, жизнь которой текла до сих пор между Згожелицами и Кшесной, просто потрясена была, когда взору её открылись стены, башни, ратуша и особенно костёлы, каких она, выдавшая один кшесненский деревянный костёл, и представить себе не могла. Куда девалась вся её бойкость, в первую минуту девушка не решалась даже громко заговорить и только шепотом расспрашивала Мацька обо всех чудесах, которые её ослепили; когда же старый рыцарь стал уверять её, что Серадзу так же далеко до Кракова, как обыкновенной головешке до солнца, она ушам своим не верила, ей казалось совершенно немыслимым, чтобы где-то на свете мог быть ещё другой такой великолепный город.

В монастыре их принял тот самый дряхлый приор, который с детских лет помнил резню, учиненную в городе крестоносцами, и недавно принимал у себя Збышка. Вести об аббате очень огорчили и обеспокоили их. Он долго жил в монастыре; но две недели назад уехал к своему другу, епископу плоцкому. Старик всё хворал. Днём ему бывало получше, но по вечерам он впадал в беспамятство, срывался с постели, приказывал, чтобы на него надели панцирь, и вызывал на бой князя Яна из Рацибора. Причетникам приходилось силой удерживать его в постели, это было нелегко, а порой даже опасно для них. Только недели две назад аббат совсем пришел в себя и, хотя ещё больше ослаб, велел, однако, немедленно везти его в Плоцк.

– Он говорил, что никому так не доверяет, как епископу плоцкому, – кончил свой рассказ приор, – и хочет из его рук принять святое причастие, да и духовную ему оставить. Аббат был очень слаб, и мы всячески уговаривали его не ехать, опасаясь, что он и мили не проедет, кончится. Но разве его уломаешь! Положили скоморохи сена на повозку и увезли его – дай Бог, в добрый час.

– Если бы старик умер где-нибудь неподалеку от Серадза, вы бы об этом прослышали, – заметил Мацько.

– Непременно прослышали бы, – ответил старичок. – Потому мы и думаем, что не умер он, и, уж во всяком случае, до Ленчицы не отдал Богу душу; но что дальше могло с ним приключиться, этого мы не знаем. Коли вы следом за ним поедете, так узнаете по дороге.

Мацько, очень встревоженный этими вестями, направился на совет к Ягенке, которой чех уже сказал, куда уехал аббат.

– Что же делать? – спросил старик. – Как быть с тобой?

– Вы поедете в Плоцк, и я с вами, – коротко ответила девушка.

– В Плоцк! – тоненьким голоском повторила за нею Анулька.

– Нет, вы только послушайте их! Так-таки в Плоцк, будто туда рукой подать?

– Ну, а как же мне возвращаться одной с Анулькой? Уж коли мне дальше нельзя ехать с вами, так лучше было совсем не уезжать. А вы подумали о том, что те ещё больше осердились и взъелись там на меня?

– Вильки тебя оборонят от Чтана.

– Я их обороны так же боюсь, как набега Чтана, да и вижу, что вы так только противитесь, лишь бы противиться.

Мацько и впрямь притворялся. Он предпочитал, чтобы Ягенка ехала с ним; поэтому улыбнувшись на её слова, старик сказал:

– Юбку скинула и куда как умна стала!

– Ум-то не где-нибудь, а в голове.

– Да ведь мне в Плоцк не по дороге.

– А чех говорил, что по дороге, а коли в Мальборк ехать, так через Плоцк ещё ближе.

– Так вы уже с чехом совет держали?

– А как же! Он нам ещё вот что сказал: коли, говорит, молодой пан попал в Мальборке в беду, так через княгиню Александру плоцкую можно много сделать, она ведь родная сестра королю, да и с крестоносцами в большой дружбе, они очень её уважают.

– А ведь правда, ей-ей, правда! – воскликнул Мацько. – Все про то знают, и пожелай она только дать письмо к магистру, так мы бы в полной безопасности разъезжали по всем землям крестоносцев. Они её любят, да и она их любит... Это дельный совет, и твой чех – неглупый парень!

– Ещё какой неглупый! – пылко воскликнула Анулька, подняв к небу свои лазоревые глазки.

Мацько вдруг повернулся к ней:

– А ты чего?

Девушка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, зарумянилась, как роза.

Мацько видел, что нет другого выхода, надо брать с собой обеих девушек, да в душе он и рад был этому, так что на другой день, простившись со старичком-приором, все тронулись снова в путь. Ехать было теперь труднее, – снег уже таял и начинался разлив. По дороге путники расспрашивали везде про аббата;



они побывали во многих шляхетских усадьбах, у ксёндзов, а то и просто в корчмах, где аббат останавливался на ночлег. Легко было ехать по его следу, старик щедро раздавал милостыню, заказывал обеды, жертвовал на колокола, оказывал помощь обедневшим костёлам, так что не один нищий, просивший подаяния, не один костельный служка и даже ксёндз вспоминал о нём с благодарностью. Всюду говорили, что «он ехал, как ангел», и всюду молились за его здоровье, хотя многие высказывали опасение, что не жилец уж он на свете. В некоторых местах аббат по причине большой слабости останавливался на два-три дня отдохнуть. Мацьку казалось, что они в самом деле могут догнать старика.

Однако он ошибся в своих расчётах, их задержали воды Нера и Бзуры. Не доезжая до Ленчицы, путники целых четыре дня вынуждены были просидеть в пустой корчме, брошенной хозяином, который, видно, опасался наводнения. Хотя дорога от корчмы до города была вымощена бревнами, однако её на большом протяжении поняло водой, и она превратилась в болото. Слуга Мацька Вит сам был родом из этих мест и слышал, что через болота в лесах есть проходы, но не хотел вести путников, так как знал, что в ленчицких болотах нечисто, что живет там могущественный Борута, который заманивает людей в бездонную трясиину, а потом спасает их, если только несчастные продадут ему свою душу. Да и сама корчма пользовалась худой славой, и, хотя в те времена путешественники возили с собой всякий припас и не боялись поэтому голода, всё же пребывание в таком месте пугало даже старого Мацька.

По ночам путники слышали какую-то возню на крыше корчмы, а порой кто-то стучался в дверь. Ягенка и Анулька спали в боковуше, рядом с большой горницей, и слышали в темноте шорох маленьких ножек. Это их не очень пугало, обе они в Згожелицах привыкли уже ко всякой нежити; старый Зых в свое время приказывал её подкармливать, и, по тогдашним верованиям, она не вредила тем, кто не жалел для нее крошек. Но однажды ночью неподалеку от корчмы раздался в лесной чаще глухой и грозный рев, а на другой день на болоте были обнаружены следы чудовищных копыт. Это мог быть зубр или тур, но Вит уверял, что это сам Борута, образ, мол, у него человека, даже шляхтича, но вместо ступней копыта, а сапоги, в которых он показывается среди людей, он из бережливости на болоте снимает. Мацько, дознавшись, что Боруту можно задобрить хмельным, целый день раздумывал, не грех ли это будет заручиться поддержкой нечисти, и даже советовался об этом с Ягенкой.

– Повесил бы я на ночь на плетне воловий пузырь с вином или медом, – говорил ей старик, – и коли ночью кто-нибудь выпил бы, так мы бы по крайности знали, что бродит он тут.

– Как бы не оскорбить силы небесные, – ответила девушка, – нам ведь ихнее благословение надобно, чтобы удалось спасти Збышка.

– Да вот и я того же боюсь, ну, а ежели пораздумать, так ведь мед – это не душа. Души я не дам, а что для небесных сил один пузырь меда!

Тут он понизил голос и прибавил:

– Это ведь обыкновенное дело, когда шляхтич угощает шляхтича, пусть самого отчаянного головореза, а люди толкуют, будто он шляхтич.

– Кто? – спросила Ягенка.

– Не хочу поминать нечистого.

Однако в тот же вечер Мацько собственноручно повесил на плетне огромный воловий пузырь, в каких обычно возили напитки, а на другой день оказалось, что пузырь выпит до дна.

Правда, чех, когда об этом шел разговор, как-то странно улыбался; но никто на него не обратил внимания, а Мацько в душе радовался и надеялся, что уж теперь-то, когда придется переправляться через болота, на пути их не ждут никакие неожиданные препятствия и случайности.

– Разве только врут, будто знает он, что такое честь, – говорил он себе.

Впрочем, надо было прежде всего разведать, нельзя ли как-нибудь пробраться через болота лесом. Это было вполне вероятно, так как там, где грунт укреплен корнями деревьев и кустов, дожди не так легко размывают землю. Легче всего поискать проход было Виту, уроженцу здешних мест, но не успел Мацько заикнуться об этом, как тот закричал: «Хоть убейте, пан, не пойду!» Напрасно ему толковали, что нежить днем теряет свою власть, Мацько решил уже было сам пойти; но дело кончилось тем, что Глава, парень смелый, любивший показать людям и особенно девушкам свое удалство, сунул за пояс секиру, взял в руки палку и ушел.

Ушел Глава затемно, и ждали его к полудню, однако он не появлялся, и все стали тревожиться. Напрасно после полудня слуги всё прислушивались, не раздадутся ли в лесу его шаги. Вит только рукой махал: «Не воротится, а коли и воротится, так на наше же горе, потому Бог один знает, не с волчьей ли мордой, оборотит его нечистая сила в вурдалака!» Все пугались, слушая его речи, Мацьку и то было не по себе, а Ягенка всё поворачивалась к лесу и осеняла его крестом. Анулька тщетно искала передник на своих обтянутых штанишками коленках, нечего было ей прижать к глазам, прижимала она пальцы, и они тотчас становились у нее мокрыми от слез, которые катились одна за другой по щекам.

Однако в час вечерней дойки, когда солнце клонилось к закату, чех вернулся, да не один, а с каким-то человеком, которого он гнал впереди на веревке. Все выбежали навстречу ему с радостными криками, но смолкли при виде этого человека, черного, низенького, косолапого и заросшего, одетого в волчьи шкуры.

– Во имя Отца и Сына, что это за чудище ты приволок? – воскликнул, опомнившись, Мацько.

– Мне-то что! – ответил оруженосец. – Говорит, что человек он и смолокур, а правда ли, не знаю.

– Ох, не человек он, не человек! – крикнул Вит.

Но Мацько велел ему замолчать, пристально поглядел на пленника и вдруг сказал:

– Ну-ка, перекрестись! Сейчас же перекрестись!..

– Слава Иисусу Христу! – воскликнул пленник и, скоренько перекрестившись, вздохнул с облегчением, доверчиво на всех поглядел и повторил:

– Слава Иисусу Христу! Я ведь тоже не знал, то ли в христианские руки попал, то ли к самому дьяволу. О господи!..

– Не бойся. Ты среди христиан, которые усердно молятся Богу в костёле. Кто ты такой?

– Смолокур, милостивый пан, будник. Семеро нас в будах с бабами и детьми.

– Далеко ли отсюда?

– Да с полверсты.

– А как же вы в город ходите?

– У нас своя дорога, за Чертовым логом.

– За чертовым? Ну-ка, перекрестись ещё раз.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь!

– Ну ладно, а телега по этой дороге проедет?

– Теперь везде грязь, но там не так, как на большой дороге, потому в логу ветер дует и сушит болото. Вот только до Буд плохо, но кто знает лес, тот потихоньку и до Буд доведет.

– За скоец проведешь? Ну, не за один, так за два!

Смолокур охотно согласился, только выпросил ещё полкаравая хлеба – они в лесу хоть и не умирали с голоду, но хлеба уж давно не видали. Порешили выехать на другой день рано поутру, так как под вечер в лесу было «нечисто». Смолокур говорил, что Борута порой очень в бору «бесится»; но людей простых не обижает и, оберегая от другой нежити свое ленчицкое княжество, гоняет её по бору. С ним только ночью нехорошо встретиться, особенно если человек под хмельком, а днем, да трезвому, его нечего бояться.

– А всё-таки ты боялся? – спросил Мацько.

– Да ведь этот рыцарь схватил меня так неожиданно и крепко, что я думал, он не человек.

Тут Ягенка стала смеяться над тем, что все они приняли за «нечистого» смолокура, а он почел «нечистыми» их. Смеялась с нею и Ануля, да так, что Мацько сказал ей:

– У тебя ещё слезы по Главе не обсохли, а ты уже зубы скалишь.

Чех поглядел на её розовое личико, увидел её мокрые ресницы и спросил:

– Это вы обо мне плакали?

– Нет, – ответила девушка, – я только боялась.

– Ведь вы шляхтянка, а шляхтянке стыдно бояться. Ваша пани не такая трусиха. Что худого могло с вами случиться, днем, среди людей?

– Со мной ничего, а вот с вами.

– Ведь вы говорите, что плакали не обо мне?

– Не об вас.

– О чём же вы плакали?

– Я от страха плакала.

– А теперь вы не боитесь?

– Нет.

– Отчего же?

– Ведь вы вернулись.

Чех посмотрел на нее с благодарностью и сказал улыбаясь:

– Так мы с вами до утра можем говорить. Уж больно вы хитры.

Но её можно было обвинить в чем угодно, только не в хитрости, и Глава, парень лукавый, отлично это понимал. Он понимал и то, что девушка с каждым днем всё больше льнет к нему. Сам он любил Ягенку, но так, как подданный любит королеву, смиренно и почтительно, однако без всякой надежды. А тем временем в дороге он всё больше сближался с Анулькой.

Старый Мацько ехал обычно впереди с Ягенкой, а за ними чех с Анулей; Глава был парень могучий, как тур, кровь в нём играла, и когда по дороге он поглядывал на ясные глазки Анули, на светлые прядки волос, выбивавшиеся у девушки из-под сетки, на всю её стройную, ладную фигурку, и особенно на чудные, точеные ноги, которые охватывали бока вороного, его в дрожь кидало. Всё чаще заглядывался он на все эти совершенства, невольно думая, что, если бы дьявол оборотился таким мальчишкой, то легко довел бы его до искушения. К тому же это был мальчишечка сладкий как мед, послушный такой, что только в глаза заглядывал, угадывая его желания, и веселый, как воробей на крыше. Иногда чеху приходили странные мысли в голову, и однажды, когда они с Анулей немного отстали и поравнялись с вьючными лошадьми, он вдруг повернулся к девушке и сказал:

– Еду я, знаете, подле вас, как волк подле ягненка.

А у нее только белые зубки сверкнули в милой улыбке.

– Вам хочется меня съесть? – спросила она.

– Да ещё как! С косточками!

Он бросил на Анулю такой взгляд, что она зарумянилась, потом оба они смолкли, только сердца у них бились – у него от страсти, у нее же от сладкого, пьянящего страха.

Но вначале страсть подавляла у чеха нежное чувство, и он правду говорил Анульке, что глядит на нее, как волк на ягненка. Только в тот вечер, когда он увидел её мокрые от слез щечки и ресницы, сердце его растаяло. Она показалась ему доброй, родной и близкой; он и сам по натуре был парень хороший, настоящий рыцарь,

поэтому не только не возомнил о себе, увидев эти сладостные слезы, но стал робким и более внимательным к ней. В разговоре он не был уже развязан, и хотя за ужином иногда ещё посмеивался над робостью девушки, но уже иначе, и притом служил ей так, как оруженосец рыцаря должен служить шляхтянке. Хотя старый Мацько думал главным образом о завтрашней переправе и о дальнейшем путешествии, однако он это заметил и похвалил Главу за хороший обычай, которому он, как говорил старик, научился, наверно, у Збышка при мазовецком дворе.

Тут он обернулся к Ягенке и прибавил:

– Эх, Збышко!.. Он и у короля нашелся бы!

После ужина, когда все стали расходиться, Глава поцеловал руку Ягенке, а потом поднес к губам и руку Анульки.

– Вы за меня не бойтесь, – сказал он девушке, – да и при мне ничего не бойтесь, я вас никому не дам в обиду.

Мужчины после ужина легли спать в горнице, а Ягенка с Анулькой в боковуше вдвоем на широкой и мягкой постели. Девушкам что-то не спалось, особенно Ануля всё ворочалась на своей холщовой простыне. Через некоторое время Ягенка придвинулась к ней и шепнула:

– Ануля?

– Что тебе?

– Что-то... сдается мне, что тебе очень по сердцу чех... Правда ведь?

Ответа не последовало, тогда Ягенка снова зашептала:

– Я ведь понимаю... Ты скажи мне...

Анулька не ответила и на этот раз, только прижалась губами к щеке Ягенки и осыпала свою госпожу поцелуями.

У бедной Ягенки девичья грудь стала вздыматься от вздохов.

– Ах, понимаю я тебя, понимаю! – шепнула она так тихо, что Ануля с трудом уловила её слова.

## XI

День после мгливой, теплой ночи встал ветреный, на дворе то прояснялось, то снова хмурилось, когда по небу, гонимые ветром, проносились стаи туч. Мацько велел выступить с рассветом. Смолокур, который взялся довести путников до Буд, уверял, что лошади пройдут всюду, но повозки кое-где придется разбирать и переносить по частям, да и лубяные короба с одеждой и припасом тоже придется перетаскивать на руках. Это было хлопотное и нелегкое дело; но закаленные, привычные к труду люди, чем сидеть сложа руки в пустой корчме, предпочли бы самую тяжелую работу и поэтому охотно двинулись в путь. Перестал бояться даже ободренный смолокуром трусливый Вит.

Сразу же за корчмой путники углубились в высокоствольный чистый лес, где, умело правя лошадьми, можно было подвигаться вперед, даже не разбирая телег. Ветер то

затихал, то налетал порывами с неслыханной силой, точно хлопая огромными крыльями по ветвям стройных сосен, пригибая к земле, ломая и выворачивая их и крутя вершины, словно крылья ветряной мельницы; лес гнулся под неистовым дыханием бури и даже в минуту затишья не переставал шуметь, словно негодуя на такой налет ветра и такое насилие. Тучи по временам совсем заслоняли дневной свет; сек дождь вперемешку со снежной крупой, и становилось так темно, словно надвигались вечерние сумерки. Тогда Вит снова терял присутствие духа и кричал, что «нечистая сила осердилась и не дает им идти»; но его никто не слушал; даже пугливая Ануля не принимала близко к сердцу его слов: ведь чех был так близко, что она могла коснуться стремени его стремени, и так смело глядел вперед, будто хотел вызвать на единоборство самого дьявола.

За высокоствольным бором начиналась лесная дрема, а там глухая чаща, где совсем нельзя было проехать. Пришлось разобрать повозки, что было сделано с большой ловкостью и быстротой. Крепыши слуги перенесли на плечах колеса, дышла и передки, а затем перетаскали узлы и припасы. Такого бездорожья оказалось всего каких-нибудь четверть версты, и всё же путники добрались до Буд только к вечеру. Смолокуры радушно приняли их и заверили, что по Чертову логу, вернее – вдоль него, можно добраться до города. Эти люди, привыкшие к лесу, редко видали хлеб и муку, но не страдали от голода. У них было вдосталь копчёного мяса и особенно много копчёных пескарей, все болота кругом кишели пескарями. Смолокуры щедро угощали ими прибывших, а сами жадно тянулись за лепешками. Среди них были женщины и дети, черные от смолистого дыма; был также один старый крестьянин, который прожил уже более ста лет и помнил ещё ленчицкую резню 1331 года, когда крестоносцы до основания разрушили город. Мацько, чех и обе девушки слышали уже подобный рассказ от приора в Серадзе, и всё же они с любопытством слушали старика, который, сидя у костра и шевеля угли, казалось, шевелил и страшные воспоминания своей молодости. Да! В Ленчице, как и в Серадзе, не пощадили даже церквей и священников, и кровь стариков, женщин и детей лилась под ножами захватчиков. Крестоносцы, вечно крестоносцы! Все думы Мацька и Ягенки летели к Збышку, который находился теперь в волчьей пасти, среди враждебного племени, не ведающего ни жалости, ни законов гостеприимства. У Анули сердце замирало при мысли, что и им придется, быть может, гонясь за аббатом, заехать туда, где живут эти жестокие люди...

Но старик стал потом рассказывать о битве под Пловцами, положившей конец набегу крестоносцев; он участвовал в этой битве с железным чеканом в руках в пешем отряде, выставленном крестьянской общиной. В этой битве погиб почти весь род Градов, так что Мацько знал о ней досконально, однако и сейчас он будто впервые слушал рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, словно нива под напором ветра, полегли под мечами польского рыцарства, побеждённые могущественным королем Локотком...

– Да! Я всё помню, – говорил старик. – Набежали они, пожгли города и замки, детей и тех резали в колыбелях; но пришла и для них черная година. Эх! И жаркая битва была! Только закрою глаза, так и вижу поле...

Он закрыл глаза и надолго умолк, шевеля только тихонько угли в костре, пока наконец Ягенка, не дождавшись продолжения рассказа, спросила в нетерпении:

– Как же это всё было?

– Как это всё было? – переспросил старик. – Помню я поле, будто сейчас его вижу: оно поросло кустами, справа тянулось болото да клочок стерни – так, клин

небольшой. Но после битвы не стало видно ни кустов, ни стерни, ни болота – одно только оружие, мечи, секиры, копья да груды отменных доспехов, словно кто ими всю святую землю прикрыл... Отродясь не видывал я столько убитых и таких рек людской крови...

Мацько от этих воспоминаний снова воодушевился.

– Правда! – воскликнул он. – Велик Бог милостию! Они тогда обратили в пепел наше королевство, как чума прошли по нашей земле. Разрушили не только Серадз и Ленчицу, но и много других городов. И что же? Живуч наш народ, и сила у него великая. Хоть ты, тевтонский пёс, и схватишь его за горло, да задушить не сможешь, а он тебе ещё зубы выбьет... Поглядите только, как отстроил король Казимир и Серадз, и Ленчицу: они ещё краше стали, и съезды собираются там по-старому, а крестonosцы, как разбили их под Пловцами, так и лежат там да гниют. Дай-то, господи, чтоб им всегда такой был конец!

Старый мужик сперва одобрительно кивнул головой, но потом сказал:

– Нет, не лежат там и не гниют. После битвы повелел король пешим воинам копать рвы, помочь нам пришли и окольные мужики, рыли мы так, что только лопаты звенели. Уложили мы потом немцев во рвы и засыпали для порядка, чтоб не пошла от них какая зараза; но только они там не остались.

– Как так не остались? Что же с ними приключилось?

– Сам я этого не видал, скажу только, что люди потом говорили. Разыгралась после битвы неистовая буря, и двенадцать недель бушевала она, да всё по ночам. Днем солнышко сияет, а ночью ветер так и рвет. Это целые тучи чертей кружили в вихре, да всё с вилами; подлетит черт, тык вилами в землю, подденет крестonosца да в пекло его и тащит. Народ в Пловцах такой шум слышал, будто целые стаи собак выли, никто только понять не мог, немцы ли это выли со страху и с горя или черти от радости. И так было до той самой поры, покуда ксёндзы не освятили ров и покуда земля под новый год не замерзла так, что в нее и вилы не всадишь.

Он умолк, а немного погодя прибавил:

– Дай-то, господи, пан рыцарь, такой конец им, как вы сказали, и хоть я до этого не доживу, да доживут такие парнишки, как эти вот двое, и не увидят они того, что видели мои глаза.

И он стал любоваться то на Ягенку, то на Анульку, дивясь чудным их личикам.

– Словно маки в хлебах, – сказал он, качая головой, – таких я ещё не видывал.

За беседой прошла часть ночи, а там все улеглись спать в будах на мохе, мягком, как пух, и покрытом теплыми шкурами. А на другой день, когда богатырский сон укрепил их члены и совсем уже рассвело, путники двинулись дальше. Правда, дорога вдоль лога была нельзя сказать чтобы легкая, но, впрочем, не такая уж и трудная, так что ещё до захода солнца путники увидели ленчицкий замок. Город был вознесен из пепла, частью отстроен из красного кирпича и даже камня. Стены были высокие, защищенные башнями, костёлы ещё великолепнее, чем в Серадзе. У доминиканцев путники легко разузнали про аббата. Он был в Ленчице, говорил, что ему лучше, что он надеется выздороветь, и несколько дней назад отправился дальше. Мацьку не было теперь надобности непременно догонять аббата, он всё равно решил везти

девушек в Плоцк, куда повез бы их и аббат; но старый рыцарь спешил к Збышку и потому очень обеспокоился, узнав о том, что уже после отъезда аббата вода в реках так поднялась, что ехать дальше было нельзя. Рыцарю со столь значительной свитой, направлявшемуся, по его словам, к князю Земовиту, доминиканцы оказали радушный прием и на дорогу снабдили даже оливковой дощечкой, на которой была начертана по-латыни молитва архангелу Рафаилу, покровителю путешественников.

Две недели продолжалось вынужденное пребывание путников в Ленчице; один из оруженосцев замкового старосты обнаружил за это время, что у проезжего рыцаря оруженосцы – девушки, и тут же без памяти влюбился в Ягенку. Чех хотел тотчас вызвать его на бой на утопанной земле, но всё это произошло накануне отъезда, и Мацько отсоветовал Главе драться.

Когда они тронулись в путь, ветер уже подсушил дорогу. Правда, часто выпадали дожди, но, как всегда весной, они быстро проносились. Это были теплые и бурные ливни, пришла уже настоящая весна. На полях сверкали в бороздах светлые полосы воды, при каждом дуновении ветра от пашен тянуло прелью. Болота покрылись желтоголовниками, в лесах расцвели подснежники, малиновки весело звенели в ветвях. Путники ощутили прилив новой бодрости и надежды, ехали они хорошо и через шестнадцать дней остановились у ворот Плоцка.

Однако уже спустилась ночь, городские ворота были заперты, и путникам пришлось переночевать у ткача за городской стеной. Девушки легли поздно и после трудного и долгого путешествия уснули крепким сном. Как только отворили ворота, Мацько, который не знал устали, не стал будить их и сам отправился в город; он легко отыскал кафедральный собор и епископский дом, где ему первым делом сообщили, что аббат неделю назад умер.

Умер он неделю назад; но, по тогдашним обычаям, у гроба в течение шести дней служили панихиды, так что хоронить аббата должны были только сегодня, а после похорон должны были править тризну.

Разогорченный Мацько не стал даже осматривать город, с которым он, впрочем, успел немного познакомиться, когда ездил с письмом от княгини Александры к великому магистру, и поспешил за ворота города, к дому ткача.

«Да, помер, царство ему небесное! – рассуждал по дороге старик. – Тут уж ничего не поделаешь; но как же мне быть теперь с девчонками?», И он стал раздумывать, оставить ли их у княгини Александры или княгини Анны Дануты или уж лучше отвезти в Спыхов. Всё думалось ему по дороге, что, если Дануси нет в живых, не худо было бы Ягенке быть поближе к Збышку. Он не сомневался, что Збышко долго будет тосковать по той, которую любил больше всех, долго будет её оплакивать, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягенка, под боком у парня свое дело сделает. Помнил он, что хоть рвалась душа Збышка через леса и боры в Мазовию, но при Ягенке его всегда брала истомы. По этой причине Мацько, твердо уверенный в том, что Дануська погибла, не раз подумывал, что в случае смерти аббата Ягенку куда усылать не следует. Но жаден был старик до земных благ и поэтому не мог не думать и о наследстве, оставшемся после аббата. Правда, аббат на них разгневался и грозился ничего им не оставить, ну, а вдруг он перед смертью раскаялся? Он оставил что-то Ягенке, в этом не было никакого сомнения, он и сам не раз говорил об этом в Згожелицах, а через Ягенку наследство, может статься, и так не минует Збышка. И всё же Мацько так и подмывало остаться в Плоцке, обо всём поразведать и заняться всем этим делом; однако он тотчас подавил в себе это желание. «Я тут буду об имениях хлопотать, – думал он, – а мой хлопец, может,



руки протягивает ко мне из тевтонского подземелья, спасения ждет от меня». Был, правда, один выход: оставить Ягенку на попечении княгини и епископа с просьбой присмотреть, чтобы девушку не обидели, если аббат ей что-нибудь оставил. Но не очень-то это понравилось Мацьку. «У девчонки и без того богатое приданое, – думал он, – а ежели она получит ещё наследство после аббата, то, как Бог свят, подхватит её какой-нибудь мазур, да и она долго устоять не сможет, ведь ещё покойный Зых говорил, что и тогда девка была огонь огнем». И испугался старый рыцарь, что Збышко может тогда остаться и без Дануси, и без Ягенки, а об этом он и думать не хотел.

«Какая ему от Бога назначена, пусть та его и будет, но одна должна ему достаться».

В конце концов он решил прежде всего спасти Збышка, а Ягенку, если уж непременно надо будет с нею расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, только не в Плоцке, где двор был гораздо более блестящим и где было много красивых рыцарей.

Погруженный в эти мысли, Мацько быстрым шагом шел к дому ткача, чтобы сообщить Ягенке о смерти аббата, а сам в душе давал себе слово сразу ей этого не говорить, чтобы от неожиданной и притом печальной вести дыхание не сперло в груди у девушки, отчего она впоследствии могла остаться бесплодной. Когда он пришел домой, обе девушки уже были одеты, даже принаряжены и веселы, как птички. Усевшись на скамейку, Мацько велел ученикам ткача принести миску подогретого пива, нахмурил и без того суровое лицо и сказал:

– Слышь, как в городе звонят? Угадай-ка, почему такой звон, нынче ведь не воскресенье, а утреню ты проспала. Хочешь видеть аббата?

– Конечно, хочу, – ответила Ягенка.

– Не видать тебе его как своих ушей.

– Неужто он дальше поехал?

– Как же, поехал! Разве не слышишь, что звонят?

– Помер? – вскричала Ягенка.

– Помолись за упокой души его.

Ягенка и Анулька тотчас опустились на колени и звонкими, как колокольчики, голосами начали читать заупокойную молитву. Слезы текли ручьем по лицу Ягенки, она очень любила аббата, который хоть и был горяч, но никому не причинял зла, а добро творил обеими руками и её, свою крестницу, любил, как родную дочь. Мацько вспомнил, что аббат и ему со Збышком был сродни, и тоже растрогался и всплакнул, а когда от слез им стало легче, взял с собой чеха и обеих девушек и отправился в костёл на отпевание.

Похороны были пышные. Погребальное шествие открывал сам епископ Якуб из Курдванова, были все священники и монахи плоцких монастырей, звонили во все колокола, произносили надгробные слова, которых никто не понимал, кроме духовенства, так как произносили их по-латыни, а затем и духовенство, и миряне отправились к епископу на богатую тризну.

Пошел на тризну и Мацько в сопровождении двоих оруженосцев, на что он как родственник покойного и знакомый епископа имел неоспоримое право. Епископ и принял его, как родственника покойного, с почётом и радушием и после первых же приветствий сказал:

– Вам, Градам из Богданца, завещаны леса, а все прочее, что не отписано монастырям и аббатству, оставлено крестнице аббата, некой Ягенке из Згожелиц.

Мацько на многое не рассчитывал и рад был и лесам. Епископ не заметил, что один из оруженосцев старого рыцаря при упоминании об Ягенке из Згожелиц поднял к небу голубые, как васильки, глаза, увлажненные слезами, и проговорил:

– Да вознаградит его Бог, но я бы хотела, чтобы он был жив.

Мацько повернулся к оруженосцу и сердито сказал:

– Помолчи, а то осрамишься.

И вдруг оборвал речь, глаза его сверкнули изумлением, лицо посуровело и стало совершенно волчьим: совсем недалеко, у двери, в которую в это время входила княгиня Александра, Мацько увидел склонившегося в изысканном придворном поклоне того самого Куно Лихтенштейна, из-за которого в Кракове едва не погиб Збышко.

Ягенка никогда в жизни не видела Мацька в такой ярости: лицо его перекопилось, оскаленные, точно у злой собаки, зубы блеснули из-под усов, в мгновение ока он повернул наперед пояс и двинулся к ненавистному крестоносцу.

Однако на полпути старый рыцарь остановился и провел широкой рукой по волосам. Он вовремя вспомнил, что при плохом дворе Лихтенштейн может быть только гостем или, что ещё вероятнее, послом, и если он, невзирая ни на что, вздумает напасть на крестоносца, то поступит так же, как Збышко на пути из Тынца.

Старый рыцарь был более рассудителен и опытен, чем Збышко, он укротил свой гнев и повернул назад пояс. Придав приятное выражение своему лицу, он выждал, пока княгиня поздоровается с Лихтенштейном и заговорит с епископом Якубом из Курдванова, а затем приблизился к ней и с низким поклоном напомнил о себе, заявив, что почитает её своей благодетельницей за то письмо, которым она его когда-то снабдила.

Княгиня смутно помнила его лицо, но о письме и обо всём деле не забыла. Она тоже знала о событиях, происшедших при соседнем мазовецком дворе, слыхала и про Юранда, и про похищение его дочери, и про свадьбу Збышка, и про смертельный поединок его с Ротгером. Всё это было ей ужасно любопытно, как рыцарский роман или одна из тех песен, которые в Германии распевали миннезингеры, а в Мазовии гудочники. Правда, крестоносцы не были ей так ненавистны, как жене Януша, Анне Дануте, особенно потому, что они, стремясь привлечь её на свою сторону, не скупались на почести и лесть и щедро осыпали её дарами; но в этом случае сердце её было на стороне влюбленных. Она готова была помочь им и очень была рада видеть человека, который мог подробно рассказать ей обо всех событиях.

Мацько заранее решил во что бы то ни стало добиться покровительства и поддержки влиятельной княгини и, заметив, с каким увлечением она его слушает, охотно рассказал ей о горькой участи Збышка и Дануси и растрогал её чуть не до слез,

тем более что и сам сокрушался сердцем о своем племяннике и очень жалел его.

– Отродясь не слыхивала я ничего более трогательного, – проговорила наконец княгиня. – И прямо до слез жаль, что он обвенчался уже с этой девушкой, что она уж его была, а утех он с нею не изведал. А вы уверены, что не изведал?

– Всемогущий Боже! – воскликнул Мацько. – Если б изведал, а то ведь он, как венчался с нею, в постели лежал тяжело больной, вечером дело было, а на рассвете её похитили!

– И вы думаете, что это крестоносцы? У нас толковали тут про разбойников, которые обманули крестоносцев, подсунили им другую девушку. Про письмо Юранда тоже шел разговор...

– Это дело рассудил уже не людской суд, а Божий. Говорят, Ротгер был великий рыцарь и побеждал самых могучих богатырей, а погиб от руки мальчишки.

– Нечего сказать, мальчишка, – с улыбкой заметила княгиня, – которому лучше поперек дороги не становиться. Обидно всё это, что и говорить. И вы справедливо жалуетесь, но ведь из четверых крестоносцев троих уж нет в живых, а старик, как я слышала, тоже уцелел только чудом.

– А Дануська?! А Юранд? – возразил Мацько. – Где они? Бог знает, не стряслась ли беда и над Збышком, он ведь поехал в Мальборк.

– Знаю, но крестоносцы не такие уж собаки, как вы думаете. В Мальборке под боком у магистра и его брата Ульриха, человека благородного, ничего худого с вашим племянником не могло случиться, тем более что у него, наверно, были письма от князя Януша. Вот разве только он какого-нибудь рыцаря вызвал на бой и погиб от его руки, ведь в Мальборке всегда много прославленных рыцарей, которые приезжают туда со всех концов света.

– Ну, этого-то я не очень боюсь, – сказал старый рыцарь. – Лишь бы они не заточили его в подземелье и не убили вероломно, а коли есть у него в руках хоть какое-нибудь копьёцо, так не очень-то я за него боюсь. Один только раз нашелся рыцарь сильнее Збышка и на ристалище повалил его наземь – это князь мазовецкий Генрик, тот самый, что был здесь епископом и полюбил прекрасную Рынгаллу. Но Збышко был тогда совсем младенцем. А что до вызова, так один только есть человек, которого он вызвал бы, я и сам дал обет драться с ним, да только человек этот тут.

С этими словами Мацько показал на Лихтенштейна, который беседовал с плочким воеводой.

Но княгиня нахмурила брови и сказала сурово и сухо, как всегда говорила, когда ею овладевал гнев:

– Давали вы обет иль не давали, помните, он у нас в гостях, и кто хочет быть нашим гостем, тот должен соблюдать наш обычай.

– Знаю, милостивая пани, – ответил Мацько. – Я ведь уж и пояс наперед повернул и пошел было к нему; но как подумал, что он, может быть, посол, укротил свой гнев.

– Да, он посол. И у крестоносцев он важная особа, к его советам сам магистр

прислушивается и почти ни в чем ему не отказывает. Счастье, что его не оказалось в Мальборке, пока там был ваш племянник, а то он хоть и знатного рода, но злобен, говорят, и мстителен. Он вас узнал?

– Едва ли, он меня мало видел. На тынецкой дороге мы были в шлемах, а потом я только один раз заходил к нему по делу Збышка, и то вечером, – дело-то было спешное, – да ещё раз мы виделись с ним в суде. За это время я переменялся и борода у меня очень поседела. Я сейчас заметил, что он на меня поглядывал; но это он, видно, потому, что я с вами долго беседую, вельможная пани, потом он спокойно отвел глаза. Збышка он узнал бы, но меня не помнит, а про мой обет, может, и вовсе не слышал, есть у него про кого подумать поважнее меня.

– Это про кого же?

– Вызвать его на бой дали обет и Завиша из Гарбова, и Повала из Тачева, и Марцин из Вроцимовиц, и Пашко Злодвей, и Лис из Тарювиска. Любой из них, милостивая пани, с десятком таких, как он, справился бы, а их ведь вон сколько! Да лучше бы ему на свет не родиться, чем знать, что хоть один такой меч занесен над его головой. А я не только не скажу ему про обет, но постараюсь ещё войти к нему в доверие.

– Зачем это вам нужно?

Лицо у Мацька сразу стало хитрое, он сделался похож на старую лисицу.

– Чтобы он мне письмо дал, с которым я мог бы безопасно разъезжать по землям крестоносцев и в случае надобности прийти Збышку на помощь.

– Достойно ли это рыцарской чести? – с улыбкой спросила княгиня.

– Достойно, – решительно ответил Мацько. – Вот если бы я, к примеру, напал на него сзади в бою и не крикнул, чтобы он повернулся, тогда я покрыл бы себя позором, но в мирное время поймать врага хитро на удочку – да этого ни один настоящий рыцарь не постыдится.

– Тогда я познакомлю вас, – сказала княгиня.

И, сделав знак Лихтенштейну, она познакомила его с Мацьком, решив, что, если Лихтенштейн даже узнает его, особой беды от этого не будет.

Но Лихтенштейн не узнал Мацька. На тынецкой дороге он действительно видел старого рыцаря в шлеме, а потом только один раз говорил с ним, да и то вечером, когда Мацько приходил к нему с просьбой простить Збышка.

Однако поклонился крестоносец довольно надменно и, только увидев позади рыцаря двоих красивых оруженосцев в богатых одеждах, подумал, что далеко не всякий может иметь таких слуг; лицо его стало немного приветливей, хотя он по-прежнему надменно выпячивал губы, как всегда при разговоре с особой, не принадлежащей к владетельному дому.

– Этот рыцарь едет в Мальборк, и я сама поручаю его приязни великого магистра; но он знает, каким уважением вы пользуетесь в ордене, и желал бы и от вас получить письмо.

После этого она отошла к епископу, а Лихтенштейн устремил на Мацьку холодные стальные глаза и спросил:

– Что побуждает вас посетить нашу благочестивую и скромную столицу?

– Побуждения у меня добрые, побуждения благие, – ответил Мацько, поднимая на него глаза. – Иначе милостивая княгиня не поручилась бы за меня. По обещанию я бы хотел съездить, да и увидеть вашего магистра, славнейшего из рыцарей, который печется о мире на земле.

– Мы убогие, но гостеприимные монахи, и тот, за кого ручается милостивая княгиня, госпожа и благодетельница наша, не будет иметь повода упрекнуть нас; что ж до магистра, то вам трудно будет его увидеть: он уже около месяца в Гданьске, а оттуда собирается в Крулевец и дальше на границу; хоть он и стоит за мир, но вынужден оборонять владения ордена от вероломных посягательств Витовта.

Услышав это, Мацько так огорчился, что Лихтенштейн, от взгляда которого ничто не могло укрыться, сказал:

– Я вижу, что вы в равной мере хотели увидеть великого магистра и выполнить свой обет.

– Да, я хотел, я очень хотел! – поспешно ответил Мацько. – Так война с Витовтом за Жмудь[9] дело решенное?

– Витовт сам её начал, оказав, вопреки обещаниям, помощь бунтовщикам.

На минуту воцарилось молчание.

– Что ж! Да ниспошлет Бог удачу ордену, какой он заслужил! – сказал наконец Мацько. – Не увижу я магистра, так хоть исполню свое обещание.

Сказал он это, а сам, не зная в растерянности, что предпринять, думал только об одном:

«Где же мне искать теперь Збышка, где же мне теперь найти его?»

Нетрудно было догадаться, что если магистр покинул Мальборк и отправился на войну, то нечего искать в Мальборке и Збышка; но, во всяком случае, нужно собрать о нём самые подробные сведения. Старый Мацько сильно опечалился; но, будучи человеком предприимчивым, решил не терять времени и завтра же двинуться в путь. С помощью княгини Александры ему легко удалось получить письма от Лихтенштейна, который питал неограниченное доверие к княгине. Это были рекомендательные письма к бродницкому комтуру и к великому госпитальеру в Мальборке. Мацько подарил за них Лихтенштейну довольно большой серебряный кубок тонкой работы вроцлавских мастеров; такие кубки с вином рыцари имели обыкновение ставить на ночь у своих постелей, чтобы в случае бессонницы иметь под рукой и лекарство, и утешение. Щедрость Мацька несколько удивила чеха, знавшего, что старый рыцарь не очень охотно раздает подарки, да ещё немцам; но Мацько сказал ему:

– Я потому это сделал, что дал обет вызвать его на бой и мне придется с ним драться, нехорошо будет поднять руку на человека, который оказал тебе услугу. Не в нашем это обычае...

– Но жаль хорошего кубка! – не соглашался чех.

– Не беспокойся, – сказал на это Мацько, – я ничего не делаю не подумавши! Ежели с Божьей помощью я одолею немца, то и кубок верну, и захвачу другую богатую добычу.

Затем они вместе с Ягенкой стали обсуждать, что делать дальше. Мацько подумывал о том, не оставить ли её и Анульку в Плоцке на попечении княгини Александры, раз у епископа хранится завещание аббата. Однако Ягенка решительно воспротивилась этому и со свойственной ей непреклонностью твердо стояла на своем. Конечно, ехать без них вольготнее, на ночлегах не нужно заботиться об отдельных комнатах и соблюдении благоприличия, а также думать об опасности и всяких иных обстоятельствах. Но не для того же они выехали из Згожелиц, чтобы сидеть в Плоцке. Раз уж завещание у епископа, оно не пропадет, а если надо где-нибудь оставить их, так лучше не у Александры, а у княгини Анны, при дворе которой крестоносцев недолюбливают, зато больше любят Збышка. Правда, Мацько на это ответил, что не бабьего ума дело «рассуждать», а девке это и вовсе не пристало, однако не стал особенно противиться и совсем уступил, когда Ягенка отвела его в сторону и со слезами на глазах сказала:

– Знаете что, Бог видит, что по утрам и вечерам я молюсь за Данусю и за счастье Збышка! Бог в небесах лучше всё это видит! Но и вы, и Глава говорите, что она уже погибла, что живой ей из рук крестоносцев не вырваться. А коли так, то я...

Она заколебалась; слезы набежали у нее на глаза и медленно скатились по щекам. Наконец она тихо закончила:

– То я хочу быть при Збышке...

Мацька тронули эти слезы и эти слова, всё же он сказал:

– Коли та погибнет, Збышко с горя и не взглянет на тебя.

– Я и не хочу, чтобы он глядел, я хочу только быть при нем.

– Ты сама знаешь, что и я хочу того же; но с горя он ещё может накинуться на тебя с бранью...

– Пусть бранится, – с печальной улыбкой ответила она. – Только не сделает он этого, потому что и не догадается, что я при нем.

– Он тебя признает.

– Не признает. Ведь и вы не признали. Скажете ему, что это Ясько, а Ясько очень похож на меня. Скажете, что вырос хлопец, – вот и всё. Збышку и в голову не придет, что это не Ясько...

Старый рыцарь стал опять что-то бормотать о коленях, которые смотрят внутрь; но такие колени бывали иногда и у хлопцев, так что это не могло служить препятствием, тем более что Ясько и впрямь был как две капли воды похож на Ягенку, да и волосы после последней стрижки отросли у хлопца, так что он уже заправлял их под сетку, как все мальчики благородного происхождения, да и сами рыцари. Поэтому Мацько уступил, и все заговорили уже о дороге. Собрались выехать

завтра. Мацько решил двинуться в земли крестоносцев, добраться до Бродницы, там обо всём поразведать, и если магистр, вопреки предположениям Лихтенштейна, ещё в Мальборке, ехать в Мальборк, в противном случае направиться вдоль границы владений крестоносцев в сторону Спыхова и по дороге расспрашивать о молодом польском рыцаре и его слугах. Старый рыцарь надеялся даже, что в Спыхове или при дворе варшавского князя Януша скорее удастся узнать про Збышка, чем в каком-нибудь другом месте.

На другой день они выехали. Весна уже вступила в свои права, реки, особенно Скрва и Дрвенца, разлились и замедляли путешествие, так что только на десятый день после выезда из Плоцка Мацько со спутниками переехал границу и очутился в Броднице. Это был чистенький и опрятный городок, но уже при въезде чувствовалась железная немецкая рука – на огромной каменной виселице, воздвигнутой за городом у дороги в Горченицу[10], качались тела повешенных, среди которых была одна женщина. На сторожевой башне и на замке развевалось знамя с кровавой рукой на белом поле. Самого комтура путники не застали; с частью стражи он во главе окрестной шляхты выехал в Мальборк. Это объяснил Мацьку старый, слепой на оба глаза крестоносец, который был когда-то комтуром Бродницы, привязался к этим местам и доживал в замке остаток своих дней. Когда местный капеллан прочитал старому крестоносцу письмо Лихтенштейна, он радушно принял Мацьку; живя среди польского населения, старик прекрасно изъяснялся по-польски, и с ним легко было разговориться. Оказалось, что шесть недель назад крестоносец ездил в Мальборк, куда его как опытного рыцаря вызвали на военный совет, и знал поэтому, что творится в столице. Когда Мацько спросил, не слышал ли он там про молодого польского рыцаря, старый крестоносец сказал, что слышал, как звали его, позабыл, но помнит, что этот рыцарь сперва всех удивил тем, что, невзирая на молодые годы, был уже опоясан, а потом удачно сражался на ристалище, которое великий магистр устроил, по обычаю, для иноземных гостей перед выступлением в военный поход. Старик вспомнил даже, что этого рыцаря полюбил и взял под особое свое покровительство храбрый и благородный брат магистра, Ульрих фон Юнгинген, и дал ему охранные грамоты, с которыми юноша, кажется, уехал потом на восток. Этим вестям Мацько очень обрадовался; он нимало не сомневался в том, что молодой рыцарь был Збышко. Теперь не было надобности ехать в Мальборк: если даже великий госпитальер или другие оставшиеся в Мальборке старшие братья и рыцари могли дать ещё более подробные указания, то они все равно не знали, где сейчас Збышко. Впрочем, сам Мацько отлично знал, где можно найти племянника: нетрудно было догадаться, что он либо кружит где-то около Щитно, либо, не найдя там Дануси, разыскивает её в более отдаленных восточных замках и комтуриях.

Не теряя времени, путники тронулись по землям крестоносцев на восток, к Щитно. Они быстро подвигались вперед, так как часто встречавшиеся на пути города и местечки были соединены удобными дорогами, которые крестоносцы, вернее купцы, жившие в городах, содержали в порядке, так что они были не хуже польских дорог, проложенных при хозяйственном и деятельном короле Казимире. К тому же установилась чудная погода. Ночи были звездные, дни ясные, а в пору обеденной дойки дул теплый, сухой ветерок, наполнявший грудь бодростью и свежестью. На полях зазеленели озими; луга покрылись коврами цветов, а сосновые леса источали уже аромат смолы. На протяжении всей дороги до Лидзбарка, а оттуда до Дзялдова и дальше до Недзбожа путники не видели на небе ни одной тучки. И только в Недзбоже ночью разразилась гроза, и они впервые в эту весну услышали гром; но буря промчалась, и утро на завтра встало такое ясное, алое, золотое и такое сверкающее, что всё кругом, насколько хватает глаз, переливалось алмазами и жемчугами, и казалось, вся земля улыбается небу и радуется жизни, кипящей вокруг.

В такое-то утро путешественники повернули от Недзбожа к Щитно. Мазовецкая граница была не особенно далеко, и они легко могли свернуть к Спыхову. Мацько хотел даже это сделать, но через минуту, взвесив все обстоятельства, предпочел держать путь прямо к страшному гнезду крестоносцев, где так мрачно решилась судьба Збышка. Взяв в провозатые крестьянина, Мацько велел ему вести их в Щитно; правда, особой надобности в провозатом не было, так как от Недзбожа шла прямая дорога, на которой немецкие мили были обозначены белыми камнями.

Провозатый ехал впереди, за ним на расстоянии нескольких десятков шагов следовали верхом Мацько и Ягенка, затем довольно далеко позади чех с красавицей Анулькой, а заключали весь поезд повозки под охраной вооруженных слуг. Было раннее утро. Небо на востоке ещё розовело, хотя солнце уже сияло, обращая в опалы капельки росы на листве деревьев и на травах.

– Ты не боишься ехать в Щитно? – спросил Мацько.

– Не боюсь, – ответила Ягенка. – Меня Бог хранит, я ведь сирота.

– Никому нельзя там верить. Правда, самый лютый пёс был у них Данфельд, его и Готфрида убил Юранд... Так говорил чех. Другой после Данфельда был Ротгер, он пал под секирой Збышка; однако старик тоже изверг, он продал душу дьяволу... Люди толком ничего не знают, только, думаю я, если Дануська погибла, так от его руки. Болтают, будто что-то стряслось над ним, но княгиня говорила мне в Плоцке, что он дешево отделался. С ним-то и придется нам иметь дело в Щитно... Хорошо, что у нас есть письмо от Лихтенштейна, сдается, эти собаки боятся его больше, чем самого магистра... Говорят, он особа очень важная и в большом почёте у них, да к тому же мстителен. Никакой обиды не прощает. Без этого письма я не ехал бы так спокойно в Щитно.

– А как зовут старика?

– Зигфрид де Лёве.

– Бог даст, мы справимся с ним.

– Бог даст!

Мацько рассмеялся и через минуту продолжал:

– Говорит мне в Плоцке княгиня: «Вы всё жалуетсяь, жалуетсяь, как овечки на волков, а из этих, говорит, волков троих в живых уже нету, невинные овечки их задушили». Сказать по правде, так оно и есть...

– А Дануська, а её отец?

– Я сказал об этом княгине. Но про себя-то я радуюсь, выходит, и нас обижать опасно. Мы тоже умеем ухватить секиру да ахнуть с размаху. А с Дануськой и Юрандом это всё верно. Я, как и чех, думаю, что их нет уж на свете, но толком никто ничего не знает... Жаль мне Юранда, и при жизни он столько муки за дочку принял, и коли погиб, так тяжкою смертью.

– Только при мне вспомнят о нём, и я тотчас про батюшку думаю, которого тоже нет на свете, – ответила Ягенка.



При этих словах она подняла к небу увлажненные слезами глаза.

– Он, наверно, у Бога в совете, райское блаженство вкушает, – сказал Мацько, покачав головой, – пожалуй, во всём нашем королевстве не было человека лучше его.

– Ох, не было, не было! – вздохнула Ягенка.

Дальнейший разговор был прерван провожатым, который внезапно осадил жеребца, затем повернул его, подскакал к Мацьку и закричал странным, испуганным голосом:

– Господи Боже, поглядите-ка, пан рыцарь: кто это спускается к нам с пригорка?

– Кто, где? – воскликнул Мацько.

– А вон! Великан это, что ли...

Мацько и Ягенка остановили своих иноходцев, посмотрели в указанном провожатым направлении и в самом деле в какой-нибудь сотне шагов увидели на вершине холма человека необычайно высокого роста.

– Он говорит правду, это сущий великан, – пробормотал Мацько.

Затем он поморщился, плюнул вдруг вбок и сказал:

– Чур меня!

– Что это вы чураетесь? – спросила Ягенка.

– Да вспомнил, как в такое же утро на дороге из Тынца в Краков мы со Збышком увидели похожего великана. Тогда говорили, что это Вальгер Прекрасный. А оказалось, что это был пан из Тачева; однако из этого тоже ничего хорошего не вышло. Чур меня!

– Это не рыцарь, он идет пешком, – сказала Ягенка, напрягая зрение. – Я даже вижу, что он безоружен, только в левой руке держит палку...

– И нащупывает дорогу, как ночью, – прибавил Мацько.

– И едва ступает. Слепец это, что ли?

– Слепец, ей-ей, слепец!

Они тронули коней и через некоторое время остановились перед стариком, который медленно-медленно спускался с холма, нащупывая палкой дорогу.

Старик и впрямь был высоченного роста, хотя вблизи уже не казался великаном. Они убедились также, что он совсем слеп. Вместо глаз у него зияли две красные ямы. Не было у него и кисти правой руки, на месте её болтался узелок из грязной тряпицы. Белые волосы спускались на плечи, борода доходила до пояса.

– Нет у него, бедняги, ни поводыря, ни собаки, сам ощупью ищет дорогу, – проговорила Ягенка. – Боже мой, нельзя же оставить его без помощи. Не знаю,

поймет ли он меня, но я хочу поговорить с ним по-нашему.

С этими словами она быстро соскочила с иноходца и, вплотную подойдя к старику, стала искать денег в висевшем у пояса кожаном кошельке.

Услышав конский топот и человеческую речь, старик вытянул палку и поднял вверх голову, как это делают слепцы.

– Слава Иисусу Христу! – сказала Ягенка. – Дедушка, вы понимаете по-христиански?

Услышав её нежный молодой голос, старик вздрогнул, заволновался, лицо его от умиления на миг как-то странно посветлело, он закрыл веками свои пустые глазницы и, внезапно бросив палку, упал перед Ягенкой на колени и воздел руки к небу.

– Встаньте, я и так вам помогу. Что с вами? – в удивлении спросила Ягенка.

Но старик ничего не ответил, только две слезы скатились у него по щекам, и из уст вырвался стон:

– А-а! а!

– Милосердный Боже, да вы немой, что ли?

– А-а! а!

Он поднял левую руку, изобразил сначала в воздухе крест, а потом стал водить ею по губам.

Ягенка в недоумении взглянула на Мацько.

– Он как будто показывает тебе, что ему язык отрезали, – сказал ей Мацько.

– Вам отрезали язык? – спросила девушка.

– А-а! а! а! а! – кивая головой, несколько раз повторил старик.

После этого он показал пальцами на глаза, а затем вытянул правую руку без кисти, а левой показал, что ему её отрубили.

Теперь его поняли и Ягенка, и Мацько.

– Кто это вас так? – спросила Ягенка.

Старик снова несколько раз изобразил в воздухе крест.

– Крестоносцы! – воскликнул Мацько.

Старик в знак подтверждения опустил голову на грудь.

На минуту воцарилось молчание. Только Мацько и Ягенка переглянулись в тревоге при виде этого живого доказательства свирепости и бесчеловечности, с какой карали своих узников крестоносцы.

– Жестокие правители! – сказал наконец Мацько. – Тяжко они его покарали, и Бог

весть, справедливо ли. Об этом мы от него не дознаемся. Хоть бы узнать, куда его отвезти, – он, наверно, здешний. Вишь, по-нашему понимает: простой народ здесь такой же, как и в Мазовии.

– Вы понимаете, что мы говорим? – спросила Ягенка.

Старик утвердительно кивнул головой.

– А вы здешний?

– Нет, – ответил жестами старик.

– Так, может, из Мазовии?

– Да.

– Из княжества Януша?

– Да.

– Что вы делали у крестоносцев?

Старик не мог ответить; но на лице его мгновенно изобразилось такое безутешное горе, что жалостливое сердце Ягенки затрепетало от сострадания, и даже Мацько, который вовсе не отличался чувствительностью, сказал:

– Наверно, обидели его тевтонские псы, может, и безвинно.

Ягенка сунула бедняку несколько мелких монет.

– Послушайте, – промолвила она, – мы вас не оставим. Вы поедете с нами в Мазовию, и мы в каждой деревне будем спрашивать, не ваша ли она. Может, как-нибудь и найдем. А теперь встаньте, мы ведь не святые угодники.

Но старик не встал, напротив, он ещё ниже склонился и обнял её ноги, как бы отдавая себя под её покровительство и выражая ей свою благодарность; однако на лице его изобразилось при этом удивление и даже как будто разочарование. Судя по голосу, он думал, быть может, что перед ним девушка, а меж тем рука его коснулась яловичных сапог, какие носили в дороге рыцари и оруженосцы.

– Так мы и сделаем, – сказала Ягенка. – Скоро подойдут наши повозки, вы отдохнете и подкрепитесь. Но в Мазовию вы не сразу поедете, нам сперва нужно заехать в Щитно.

При этом слове старик вскочил на ноги. На лице его отразились ужас и изумление. Он распростер руки, словно желая преградить Ягенке путь, и из уст его вырвались дикие, полные отчаяния звуки.

– Что с вами? – воскликнула в испуге Ягенка.

Но тут чех, который успел подъехать к ним с Анулькой и некоторое время упорно глядел на старика, вдруг переменялся в лице и, обращаясь к Мацьку, странным голосом произнес:

– Раны господни! Позвольте мне, пан, поговорить с ним, вы и не догадываетесь, кто это может быть!

И, не дожидаясь позволения, он подбежал к старику, положил на плечи ему руки и спросил:

– Вы идете из Щитно?

Словно зачарованный звуком его голоса, старик мгновенно успокоился и кивнул головой.

– Не искали ли вы там свою дочку?

Глухой стон был единственным ответом на этот вопрос.

Глава побледнел, с минуту ещё всматривался он своими рысьими глазами в лицо старика, а затем медленно и отдельно сказал:

– Так вы Юранд из Спыхова!

– Юранд! – вскричал Мацько.

Но Юранд в это мгновение пошатнулся и лишился чувств. Пережитые страдания, голод, трудности пути свалили его. Вот уже десятый день брел он ощупью, голодный, изможденный, палкой нашаривая дорогу, сам не зная, по верному ли идет он пути. Он не мог спросить дорогу и днем шел на тепло солнечных лучей, а ночи проводил в придорожных канавах. Проходя через деревню или селение, наталкиваясь на встречных людей, он протягивал руку и стонал, прося подаяния, но редко какая-нибудь сердобольная душа подавала ему милостыню, все принимали его за преступника, которого постигла законная и справедливая кара. Два последних дня он питался древесной корой и листьями и совсем уже потерял надежду попасть когда-нибудь в Мазовию – и вдруг его окружили свои, добрые люди, он услышал родные голоса, один из которых напомнил ему сладкий голос дочери. А когда кто-то произнес его имя, он не выдержал всех этих волнений, сердце сжалось в его груди, мысли вихрем закружились в голове, и он упал бы ничком в дорожную пыль, если бы сильные руки чеха не поддержали его.

Мацько соскочил с коня и, подхватив старика, перенес вместе с Главой к поезду и уложил на устланную сеном повозку. Ягенка и Анулька привели его в чувство, накормили и напоили вином, причем Ягенка, видя, что он не в силах держать кубок, сама подавала ему вино. Юранд погрузился в неодолимый глубокий сон, от которого ему предстояло очнуться только на третий день.

Меж тем путники стали спешно держать совет.

– Скажу коротко, – начала Ягенка, – не в Щитно, а в Спыхов надо теперь ехать, отвезти надо Юранда в безопасное место, к своим, чтобы они окружили его заботами.

– Ишь распорядилась! – заметил Мацько. – Понятное дело, его надо отправить в Спыхов, только всем туда ехать незачем, достаточно послать с ним одну повозку.

– Все я не распорядилась, думаю только, что от него мы могли бы много узнать и про Збышка, и про Данусю.

– А как ты будешь с ним говорить, коли у него языка нет?

– А разве не он сам показал вам, что у него нет языка? Вот видите, мы и без разговоров узнали всё, что нам было нужно, а ведь нам куда легче будет, когда мы привыкнем к его знакам! Мы спросим, к примеру, приезжал ли Збышко из Мальборка в Щитно, а он либо кивнет нам, либо головой покачает. Так мы обо всём будем говорить с ним.

– Это верно! – воскликнул чех.

– Я и не спорю, – сказал Мацько, – мне тоже это приходило в голову, но я сперва люблю подумать, а уж потом говорить.

И он велел поезду повернуть к мазовецкой границе. По дороге Ягенка то и дело подъезжала к повозке, на которой лежал Юранд, опасаясь, как бы он не умер во сне.

– Не признал я его, – говорил Мацько, – да и немудрено. Богатырь он был, сущий тур! Мазуры говаривали, что только он мог бы померяться силами с Завишей, – а теперь от него один скелет остался.

– Ходили слухи, – сказал чех, – что крестоносцы его запытали; но не хотелось верить, что христиане могли так поступить с опоясанным рыцарем, который тоже Георгия Победоносца почитает своим покровителем.

– Бог помог Збышку хоть немного отомстить за него. Нет, вы только поглядите, какая между нами и крестоносцами разница. Правда, из четырех тевтонских псов трое уже полегли, но они в бою полегли, никто им не вырывал в неволе языка и не выкалывал глаз.

– Бог их покарает! – сказала Ягенка.

– Как ты его признал? – обратился Мацько к чеху.

– Сперва, милостивый пан, и я его не признал, хоть видал его позже вас. Но всё мне что-то знакомое чудилось в его лице, и чем больше я смотрел, тем больше сдавалось оно мне знакомым... Ведь тогда у него ни бороды не было, ни седых волос, могучий, крепкий был рыцарь, как же мог я признать его в таком старике! Но когда панночка сказала, что мы поедем в Щитно, а он застонал, тут меня осенило.

Мацько задумался.

– Надо бы из Спыхова к князю его отвезти, не может князь простить крестоносцам такую обиду, нанесенную знатному рыцарю.

– Они, милостивый пан, отпрутся, похитили же они вероломно его дочку и отперлись, а про пана из Спыхова скажут, что в бою он языка, руки и глаз лишился.

– Это верно, – согласился Мацько. – Ведь когда-то они самого князя похитили. Воевать он с ними сейчас не может, не одолеть ему их, разве только наш король поможет. Толкует и толкует народ про великую войну, а пока и малой-то нет.

– А с князем Витовтом?

– Слава Богу, хоть он их ни во что не ставит... Да, вот это князь так князь! Хитростью им его тоже не одолеть, он один хитрее всех крестоносцев. Бывало, так прижмут его эти собаки, что гибель нависнет над ним, как меч над головой, а он ужом выскользнет да тут же их и укусит... Берегись его, когда он тебя бьет, но ещё больше берегись, когда он тебя милует.

– Он со всеми такой?

– Нет, не со всеми, только с крестоносцами. С другими он добрый и щедрый князь!

Тут Мацько задумался, словно силясь получше представить себе Витовта.

– Вовсе не похож он на здешних князей, – сказал он наконец. – Збышку надо было к нему ехать, с ним против крестоносцев куда больше можно сделать.

Помолчав, он прибавил:

– Как знать, не попадем ли мы оба к нему, тогда, пожалуй, и воздадим собакам по заслугам.

Потом все снова заговорили про Юранда, про злополучную его участь и неслыханные обиды, причиненные ему крестоносцами. Убив безо всякого повода его любимую жену и платя потом мстью за мсть, они похитили его дочь, а его самого так люто пытали, что и татарам не измыслить злейших мук. Мацько и чех скрежетали зубами при мысли о том, что само освобождение Юранда было новой, обдуманной жестокостью. Старый рыцарь в душе давал себе слово разузнать, как всё было, и потом сторицей отплатить крестоносцам.

В таких раздумьях и разговорах проходил их путь в Спыхов. После погожего дня спустилась тихая, звездная ночь, и путники, нигде не останавливаясь на ночлег и только три раза хорошенько покормив лошадей, ещё затемно пересекли границу и на рассвете в сопровождении нанятого провожатого ступили на спыховскую землю. Старый Толима, видно, держал всё в железных руках. Едва поезд углубился в лес, как навстречу выехало двое вооруженных всадников; убедившись, что перед ними не войско, они не только пропустили путников без опроса, но и провели через трясины и болота, где не могли бы пройти люди, незнакомые с местностью.

В городке гостей приняли Толима и ксёндз Калёб. Весть о том, что какие-то добрые люди привезли их господина, с быстротой молнии разнеслась среди стражи. Но когда люди увидели, каким вышел Юранд из рук крестоносцев, поднялась такая буря, все разразились таким негодованием, что, если бы в спыховских подземельях оставался ещё хоть один крестоносец, ничто не спасло бы его от страшной смерти.

Конники хотели было тотчас вскочить на коней, помчаться к границе, схватить немцев сколько удастся и бросить их головы к ногам господина; но Мацько укротил их порыв, объяснив им, что немцы засели в городах и крепостях, а в деревнях живут те же поляки, только под иноземным гнетом. Ни шум, ни крики, ни скрип колодезных журавлей не могли пробудить ото сна Юранда, которого на медвежьей шкуре перенесли с повозки в его комнату. При нём остался ксёндз Калёб, его старый друг, который любил Юранда, как родного; он стал читать молитвы, прося всевышнего вернуть несчастному зрение, язык и руку.

Утомленные дорогой путники после завтрака отправились на отдых. Мацько проснулся уже далеко за полдень и велел слуге позвать Толиму.

Зная, что Юранд перед отъездом велел всем повиноваться Збышку и через ксёндза завещал ему Спыхов, Мацько сказал старику повелительным голосом:

– Я дядя вашего молодого пана и, пока он не вернется, буду управлять Спыховом.

Толима склонил свою седую голову, которая чем-то напоминала волчью, и, приставив к уху ладонь, спросил:

– Так вы, пан, благородный рыцарь из Богданца?

– Да, – ответил Мацько. – Откуда вы меня знаете?

– Вас ждал тут молодой пан Збышко, он спрашивал про вас.

Мацько при этих словах вскочил на ноги и, забыв всю свою важность, воскликнул:

– Збышко в Спыхове?

– Был, милостивый пан, уж два дня как уехал.

– Боже мой, откуда же он прибыл и куда уехал?

– Прибыл он из Мальборка, по дороге заезжал в Щитно, а куда уехал – не сказал.

– Не сказал?

– Может, он ксёндзу Калебу говорил.

– Ах ты господи! Выходит, мы с ним разминулись! – проговорил Мацько, хлопнув себя по ляжкам.

Толима приставил ладонь к другому уху.

– Что вы говорите, милостивый пан?

– Где ксёндз Калёб?

– У старого пана он, у его постели.

– Попросите ксёндза сюда!.. Или нет... Я сам к нему пойду.

– Я позову! – сказал старик.

Он вышел. Ксёндз Калёб ещё не появлялся, когда в комнату вошла Ягенка.

– Поди-ка сюда! Знаешь, что случилось? Два дня назад здесь был Збышко.

Ягенка мгновенно переменялась в лице, её ноги, обтянутые полосатыми штанишками, подкосились.

– Был и уехал? – спросила она с бьющимся сердцем. – Куда?

– Два дня назад, а куда, может, ксёндз знает.

– Нам надо скакать за ним! – решительно заявила девушка.

В это время вошел ксёндз Калёб и, думая, что Мацько позвал его, чтобы справиться про Юранда, сказал, не ожидая вопроса:

– Он ещё спит.

– Я слышал, что здесь был Збышко! – воскликнул Мацько.

– Был, да вот уж два дня, как уехал.

– Куда?

– Он и сам не знал... На поиски... К жмудской границе поехал, где теперь война.

– Ради Бога, отче, расскажите нам всё, что вы о нём знаете!

– Да я только то знаю, что он сам мне рассказывал. Он побывал в Мальборке, заручился там могущественным покровительством брата магистра, первого рыцаря среди крестоносцев. По его повелению Збышку дозволено во всех замках чинить розыски...

– Юранда и Дануськи?

– Да, но Юранда Збышко не стал искать, ему сказали, что того уж нет в живых.

– Расскажите всё с самого начала.

– Сейчас, дайте только передохнуть и прийти в себя, я из иного мира возвращаюсь.

– Как из иного?

– Да, я возвращаюсь с того света, куда на коне не доскачешь, а с молитвой дойдешь... от стоп Иисуса Христа, которого я молил смилостивиться над Юрандом.

– Вы просили чуда? Это в вашей власти? – с величайшим любопытством спросил Мацько.

– Не в моей это власти, а спасителя; коли пожелает он, то вернет Юранду и глаза, и язык, и руку...

– Да, коли пожелает, так, уж конечно, вернет, – ответил Мацько, – хоть и не о пустяке вы просите.

Ксёндз Калёб ничего не ответил, может, не расслышал, глаза у него были ещё отуманенные, видно, он и впрямь забылся, погружившись в молитву.

Он закрыл руками лицо и некоторое время сидел в молчании. Наконец, встряхнувшись и протерев руками глаза, он сказал:

– Ну, теперь спрашивайте.



– Как снискал Збышко расположение самбийского правителя?

– Он теперь уже не самбийский правитель. [11]

– Это маловажно... Вы знаете, о чём я спрашиваю, и рассказывайте всё, что знаете.

– На ристалище снискал он расположение Ульриха. В Мальборк съехалось в гости множество рыцарей, и магистр устроил состязания. Ульрих любит выступать на ристалищах, сражался он и со Збышком. Лопнула тут у Ульриха седельная подпруга, и Збышко легко мог свалить его с коня; однако он, как увидел, что подпруга лопнула, швырнул копье наземь и поддержал покачнувшегося Ульриха.

– Вот видишь, каков он! – воскликнул Мацько, обращаясь к Ягенке. – За это Ульрих его полюбил?

– Да, за это он его полюбил. Он уже больше не пожелал с ним драться ни на острых, ни на тупых копьях и полюбил его. Когда же Збышко рассказал ему о своем горе, Ульрих, который блюдет рыцарскую честь, распалился гневом и повёл Збышка жаловаться к своему брату магистру. Бог ниспошлет ему за это спасение; мало среди крестоносцев таких, кто стоит за справедливость. Збышко говорил мне, что много помог ему и рыцарь де Лорш, который там в большом почёте за свой знатный род и богатство, он во всём свидетельствовал за Збышка.

– Как же рассудил великий магистр?

– Великий магистр строго-настрога повелел щитненскому комтуру незамедлительно выслать из Щитно в Мальборк всех невольников и узников, в том числе и самого Юранда. Про Юранда комтур написал, что он скончался от ран и похоронен в Щитно около церкви, прочих же невольников, и среди них юродивую девку, он отослал в Мальборк, но нашей Дануси среди них не было.

– От оруженосца Главы я знаю, – сказал Мацько, – что Ротгер, которого убил Збышко, при дворе князя Януша тоже упоминал про какую-то дурочку. Он говорил, будто они приняли её за Дануську. Когда же княгиня заметила ему, что они знали подлинную дочку Юранда и видели, что она не была дурочкой, он ответил: «Это верно, но мы думали, что её оборотил нечистый».

– Комтур тоже написал магистру, что они отбили эту девку у разбойников и не держали её в заточении, а только опекали, и что разбойники клялись, будто это дочка Юранда, которую оборотил нечистый.

– И магистр поверил?

– Он сам не знал, верить ему или не верить; но Ульрих ещё больше распалился гневом и настоял на том, чтобы брат послал в Щитно вместе со Збышком одного из правителей ордена, что тоже было сделано. Но, прибыв в Щитно, Збышко и правитель уже не застали старого комтура; он уехал на войну с Витовтом в восточные замки; нашли они только помощника комтура, которому правитель велел открыть все подвалы и подземелья. Искали они, искали, но так ничего и не нашли. Допросили и людей. Один сам сказал Збышку, что много можно узнать от капеллана, который понимает немного палача. Но старый комтур взял палача с собой, а капеллан уехал в Крулевец на какой-то духовный congressus... [12] Священники часто съезжаются и посылают папе жалобы на орден, потому что и им, бедным, тяжело сносить иго крестоносцев...

– Удивительно, как они не нашли Юранда, – заметил Мацько.

– Должно быть, старый комтур выпустил его раньше. Это было такое злодейское дело, что уж лучше бы они его просто казнили. Им хотелось, чтобы перед смертью он больше выстрадал, чем может вынести рыцарь... Слепой, немой, без правой руки – храни Господь и помилуй!.. Ни домой дойти, ни дорогу узнать, ни попросить куска хлеба... Они думали, что он умрёт от голода под забором или утонет... Что они ему оставили? Ничего, кроме воспоминания о том, кем он был, и мыслей о своем убожестве. А ведь это горшая из мук... Может, он сидел где-нибудь у костёла или при дороге, а Збышко проезжал мимо и не признал его. Может, и он слышал голос Збышка, но не мог его окликнуть... Эх! Трудно удержаться от слез!.. Это чудо явил Господь, что вы его встретили, и потому я полагаю, что Господь явит ещё большее чудо, хоть и молят его об этом недостойные и грешные мои уста.

– Что ещё говорил Збышко? Куда он собирался ехать? – спросил Мацько.

– Он говорил так: «Я знаю, что Дануська была в Щитно; но они её похитили и либо замучили, либо увезли. Это, говорил он, сделал старый де Лёве, и, клянусь Богом, я не успокоюсь до тех пор, пока не схвачу его».

– Збышко так говорил? Ну, тогда он, наверно, поехал в восточные комтурии; но ведь там теперь война.

– Он знал, что там война, и потому поехал к князю Витовту. Он говорил, что с князем скорее найдет управу на крестоносцев, чем с самим королем.

– К князю Витовту! – вскочил Мацько.

И тут же обратился к Ягенке:

– Вот видишь, что такое ум! Не говорил ли я то же самое? Ведь предсказывал же я, что придется и нам ехать к Витовту...

– Збышко надеялся, – вмешался ксёндз Калёб, – что Витовт вторгнется в Пруссию и будет осаждать тамошние замки.

– Дай ему только время, он непременно начнет осаду, – ответил Мацько.

– Ну, слава Богу, теперь мы хоть знаем, где искать Збышка.

– Вот и надо сейчас же двигаться в путь! – сказала Ягенка.

– Помолчи! – прикрикнул на нее Мацько. – Оруженосцам не подобает соваться со своими советами.

И он бросил на Ягенку многозначительный взгляд, как бы желая напомнить девушке, что она оруженосец; та спохватилась и замолчала.

Мацько подумал с минуту времени и сказал:

– Ну теперь-то мы найдем Збышка, он наверняка при князе Витовте, но хорошо было бы дознаться, надобно ли ему ещё искать кого по свету, кроме тех немецких голов, которые обещал он добыть.

– А как же об этом дознаешься? – спросил ксёндз Калев.

– Кабы знать, что щитненский капеллан уже вернулся с синода, я бы с ним повидался, – ответил Мацько. – У меня есть письма Лихтенштейна, и я безо всякой опаски могу ехать в Щитно.

– Не было там никакого синода, только congressus, – возразил ксёндз Калев, – и капеллан, наверно, уже давно вернулся.

– Это хорошо. Всё прочее я беру на себя. На всякий случай я возьму с собой Главу да двоих слуг с боевыми конями и поеду.

– А потом мы поедем к Збышку? – спросила Ягенка.

– Да, потом мы поедем к Збышку, а покуда ты оставайся здесь и жди меня. Думаю, что больше трех-четырёх дней я не задержусь. Кости у меня крепкие, к трудам мне не привыкать стать. Только сперва я хочу попросить вас, отец Калев, дать мне письмо к щитненскому капеллану. Как покажу я ему ваше письмо, он мне скорее поверит... вы, священники, друг дружке всегда больше доверяете.

– Люди о тамошнем капеллане хорошо отзываются, – сказал отец Калев. – И уж если кто и знает что-нибудь, так это он.

К вечеру ксёндз Калев приготовил письмо, а на другой день, ещё солнце не успело взойти, а старого Мацька уже не было в Спыхове.

## XII

Юранд очнулся от своего долгого сна при ксёндзе Калеве; забыв во сне, что с ним случилось, не зная, где он находится, он стал ощупывать свою постель и стену, у которой она стояла. Но ксёндз Калев заключил его в объятии и воскликнул со слезами умиления:

– Это я! Ты в Спыхове! Брат Юранд! Господь послал тебе испытание... но ты среди своих... Добрые люди привезли тебя... Брат Юранд! Брат!!

И, прижав его к груди, он стал целовать его лоб, его пустые глазницы, и снова прижимать к груди, и снова целовать. Ошеломленный Юранд сперва, казалось, ничего не понимал; наконец он провел левой рукой по голове, словно сясь разогнать и рассеять тягостное оцепенение и сон.

– Ты слышишь меня, понимаешь? – спросил ксёндз Калев.

Юранд утвердительно кивнул головой, затем протянул руку и, сняв со стены серебряное распятие, добытое когда-то в бою с богатым немецким рыцарем, прижал его к устам и груди и передал ксёндзу Калеву:

– Я понимаю тебя, брат! – сказал ксёндз. – Он остается с тобою и как вывел тебя из неволи, так может вернуть тебе всё, что ты потерял.

Юранд показал перстом на небо в знак того, что лишь там ему будет всё возвращено, и выжженные глаза его снова наполнились слезами, и на изможденном лице изобразилось безмерное горе.

Ксендз Калёб, увидев это движение и горестное это лицо, решил, что Дануськи нет уже в живых, опустилсЯ у лoжА на колени и произнес:

– Упокой, господи, душу её в селениях праведных, да сияет над нею свет вечный, аминь!

Но слепец при этих словах приподнялся, сел на постели, стал качать головой и махать рукою, как бы силясь остановить ксёндза Калёба, дать понять ему, что он ошибается. Однако они так и не поняли друг друга, потому что в эту минуту в комнату вошел старый Толима, а за ним стража городка, управитель, самые почтенные спыховские старики, лесничие и рыбаки. Весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Люди обнимали колени Юранда, целовали ему руки и горько плакали, глядя на калёку и старца, ничем не напоминавшего прежнего могучего Юранда, грозу крестоносцев и победителя во всех битвах. Соратники его по походам побледнели от гнева, и жестокими стали их лица. Собираясь кучками и подталкивая друг дружку локтями, они стали о чём-то шептаться; наконец из толпы выступил вперед один страж, он же спыховский кузнец, Сухаж, и, подойдя к Юранду, упал ему в ноги, и сказал:

– Как привезли вас сюда, милостивый пан, мы тотчас хотели двинуться в Щитно, да рыцарь, который привез вас, не позволил нам. Но теперь позвольте нам пойти на Щитно, потому что не можем мы не отомстить за такую обиду. Пусть будет так, как прежде бывало. Не бесчестили они нас безнаказанно и не будут бесчестить... Ходили мы с вами на них, пойдём и теперь с Толимой, а то и без него. Должны мы взять Щитно и пролить их собачью кровь, да поможет нам Бог!

– Да поможет нам Бог! – повторили десятки голосов.

– На Щитно!

– Кровь за кровь!

И пламя гнева охватило горячие мазурские сердца. Лица нахмурились, глаза засверкали, послышался скрежет зубов. Но вскоре стихли голоса и скрежет, и все взоры устремились на Юранда.

Щеки его сперва разгорелись, словно в рыцаре проснулись былая ярость и былой боевой пыл. Он поднялся и снова стал водить рукой по стене. Людям показалось, что это он ищет меч: но пальцы его наткнулись на крест, который ксёндз Калёб повесил на прежнее место.

Юранд снова снял крест со стены, лицо его побледнело, и, обратившись к людям, он протянул вперед распятие, подняв к небу пустые глазницы.

Наступило молчание. На улице вечерело. В открытые окна долетал гомон птиц, которые устраивались на ночь под навесами крыш и на липах, росших во дворе. Последние багряные лучи солнца, проникая в комнату, падали на высоко поднятый крест и седые волосы Юранда.

Кузнец Сухаж посмотрел на Юранда, оглянулся на товарищей, повёл глазами и, перекрестившись, вышел на цыпочках вон. За ним так же тихо вышли все остальные и, столпившись во дворе, снова стали шептаться:

– Ну, так как же?

– Не пойдём, что ли?

– Не позволил!

– Месть оставил Богу. Видно, и душа его изменилась.

Так оно на самом деле и было.

В комнате Юранда остались только ксёндз Калёб, старик Толима и Ягенка с Анулькой, которые, увидев во дворе толпу вооружённых людей, пришли поглядеть, в чем дело.

Ягенка, которая была смелее и решительнее Анули, подошла к Юранду.

– Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд! – сказала она. – Это мы, помните, мы привезли вас из Пруссии.

При звуке её молодого голоса лицо Юранда посветлело. Видно, яснее вспомнилось ему теперь всё, что произошло на щитненской дороге, он стал благодарить девушку, кивая головой и прижимая к сердцу руку. Ягенка начала рассказывать Юранду, как они его встретили, как узнал его оруженосец Збышка, чех Глава, и как, наконец, они привезли его в Спыхов. Она рассказала ему и о том, что носит с товарищем меч, шлем и щит за рыцарем Мацьком из Богданца, дядей Збышка, и о том, что Мацько выехал из Богданца на поиски племянника и отправился теперь в Щитно, откуда через три-четыре дня он должен вернуться в Спыхов.

Правда, при упоминании о Щитно Юранд уже не взволновался так, как в первый раз на дороге, всё же на лице его изобразилось сильное беспокойство. Но Ягенка уверила его, что рыцарь Мацько столь же хитер, сколь и отважен, и никому не попадетсЯ на удочку, а кроме того, у него письма от Лихтенштейна, с которыми он может безопасно разъезжать повсюду. Эти слова успокоили Юранда; было видно, что он хочет расспросить и о многом другом и страдает оттого, что не может этого сделать. Догадливая девушка сразу это заметила.

– Вот будем мы с вами почаще беседовать, – сказала она Юранду, – так обо всём поговорим.

Юранд в ответ опять улыбнулся, положил девушке на голову руку и долго держал так, как бы благословляя её. Он и впрямь многим был ей обязан, да и видно было, что пришлось ему по сердцу и её молодость, и её речи, так живо напомнившие ему щебетанье пташки.

С той поры, когда он не молился, – а молился он по целым дням, – или не был погружен в сон, он всегда искал её подле себя, а когда её не было, тосковал по её голосу и всячески давал понять ксёндзу Калебу и Толиме, как хочется ему, чтобы при нём был этот чудный оруженосец.

Она приходила к нему, жалея старика всем своим добрым сердцем, и коротала время с ним, поджидая Мацька, который почему-то задерживался в Щитно.

Он должен был вернуться дня через три, меж тем миновал уже и четвертый, и пятый день. Лишь к вечеру шестого дня, когда обеспокоенная девушка собралась уже просить Толиму послать людей на разведку, со сторожевого дуба дали знать, что к

Спыхову подъезжают какие-то всадники.

Спустя немного времени на подъемном мосту и впрямь зацокали копыта, и во двор въехал оруженосец Глава с одним из слуг. Ягенка уже сбежала сверху и поджидала чеха во дворе; не успел он спешиться, как она бросилась к нему.

– Где Мацько? – спросила она с тревожно бьющимся сердцем.

– Поехал к князю Витовту, а вам велел оставаться здесь, – ответил оруженосец.

### XIII

Узнав, что Мацько велел ей остаться в Спыхове, Ягенка от удивления, огорчения и гнева не могла сначала слова вымолвить и только широко открытыми глазами глядела на чеха, который прекрасно понимал, какую неприятную весть он ей привез.

– Я хотел бы рассказать вам о том, что слышали мы в Щитно, есть много новостей, и притом важных, – сказал он.

– И про Збышка?

– Нет, новости только щитненские – понимаете...

– Понимаю! Пусть слуга расседлает коней, а вы ступайте за мной.

И, отдав распоряжение слуге, она повела чеха наверх.

– Почему Мацько нас бросил? Зачем нам оставаться в Спыхове, почему вы воротились? – забросала она чеха вопросами.

– Я воротился потому, что мне велел рыцарь Мацько, – ответил Глава. – Мне тоже хотелось на войну; но приказ есть приказ. Рыцарь Мацько сказал мне так: «Воротишься, будешь охранять згожелицкую панну и ждать от меня вестей. Может, говорит, тебе придется проводить её в Згожелицы, не годится ей одной туда ехать».

– Господи Боже мой, да что же случилось? Неужто нашлась дочка Юранда? Неужто Мацько не к Збышку поехал, а за Збышком? Ты её видел? Говорил с нею? Почему же ты не привез её и где она сейчас?

В ответ на град вопросов чех склонился к ногам девушки и сказал:

– Не прогневайтесь, ваша милость, не могу я вам сразу ответить. Коли воля ваша, буду отвечать по порядку.

– Хорошо! Нашлась она или нет?

– Нет, но теперь мы точно знаем, что она была в Щитно и что её увезли куда-то в восточные замки.

– Почему же мы должны сидеть в Спыхове?

– А вдруг она найдется?.. Тогда, ваша милость... дело такое... незачем тогда...

Ягенка умолкла, только щеки у нее покраснели.

– Я думал и всё ещё думаю, – продолжал чех, – что нам не вырвать её живой из лап этих псов, но всё в руках Божьих. Расскажу вам по порядку. Приехали мы в Щитно, ну, ладно. Рыцарь Мацько показал помощнику комтура письмо Лихтенштейна, а тот замолodu носил меч за Куно, на наших глазах поцеловал он печать и принял нас радушно, ни в чём не заподозрил. Будь у нас хоть горсточка людей под рукой, замок можно было бы захватить, так он нам доверял. И с ксёндзом видеться нам никто не мешал; две ночи мы с ним протолковали, и рассказал нам ксёндз дивные дела, от палача он про них дознался.

– Палач немой.

– Немой, но ксёндзу на пальцах умеет показывать, и тот так хорошо понимает, будто палач живым словом всё ему рассказывает. Дивные дела, и перст Божий в них виден. Палач отрубил Юранду руку, вырвал ему язык и выжег глаз. Такой он человек, что, коли велют ему мужа пытать, ни перед чем он не остановится, прикажи человека зубами разорвать – разорвет. Но ни на одну молоденькую девушку он руки не поднимет, какими бы пытками ему ни грозили. А стал он таким потому, что когда-то была у него дочка единственная и любил он её без памяти, а крестоносцы её...

Глава осекся, не зная, как продолжать. Видя это, Ягенка сказала:

– Что вы мне про дочку палача толкуете!

– Это к делу относится, – ответил чех. – Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Ротгера, старый комтур Зигфрид чуть не помешался. В Щитно болтали, будто Ротгер был его сыном, и ксёндз говорил нам, что родной отец не мог бы так любить сына, как Зигфрид любил Ротгера. И из мести продал он душу дьяволу, палач это видел! Зигфрид разговаривал с убитым, как вот я с вами, а тот в гробу то смеялся, то зубами скрежетал, то облизывался почернелым языком от радости, что старый комтур пообещал ему голову пана Збышка. Но добыть голову пана Збышка Зигфрид тогда не мог и велел пока мучить Юранда, а потом положил язык его и руку в гроб Ротгеру, который начал пожирать сырое мясо...

– И слушать-то страшно такое. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь! – проговорила Ягенка.

И, поднявшись, подбросила в печку дров, потому что уже совсем свечерело.

– Да! – продолжал Глава. – Не знаю, как оно будет на страшном суде, ведь всё, чего лишили Юранда, должно к нему вернуться. Но не постигнуть этого человеческим разумом. Палач тогда всё видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, старый комтур отправился за дочкой Юранда; видно, мертвец шепнул ему, что хотел бы запить мясо невинною кровью... Но палач, который, как я уже говорил, на всё способен, только не может вынести, когда девушке чинят обиду, загодя притаился на лестнице... Ксёндз говорил, что он не в своем уме и скот суший, одно это отлично понимает, и, когда нужно, никто не сравнится с ним в хитрости. Сел это он на лестнице и ждет, а тут и комтур приходит. Услышал он чье-то дыхание, увидел сверкающие глаза и очень испугался, понял, что это упырь. А палач как ахнет его кулаком по загорбку! Думал хребет ему перебить, так, чтобы и следа не осталось, однако не убил. Упал комтур без памяти и захворал со страху, а как выздоровел, боялся уже покуситься на дочку Юранда.

– Да, но он увез её.

– Увез и вместе с нею захватил и палача. Он не знал, что палач защищал её, думал, сила неведомая, то ли злая, то ли добрая. Всё же он решил не оставлять палача в Щитно. Боялся, что ли, как бы тот не выдал его... Он хоть и немой, но дойди дело до суда, так через ксёндза мог бы всё рассказать... Под конец ксёндз вот что сказал рыцарю Мацьку: «Старый Зигфрид сам не убьет дочку Юранда, боится, а если и велит кому другому это сделать, так, покуда Дидерих жив, он не даст её в обиду, тем более что один раз уже спас её».

– А ксёндз знает, куда её увезли?

– Точно не знает, но слышал, что там про Рагнету[13] толковали, – это замок неподалеку от литовской или жмудской границы.

– Что же сказал Мацько?

– Выслушал рыцарь Мацько ксёндза и сказал мне на другой день: «Коли так, то, может, мы и найдем её; но мне, не теряя ни минуты, надобно к Збышку спешить, а то крестоносцы заманят его, как Юранда заманили. Стоит им сказать, что они отдадут Дануську, если он сам за нею приедет, и он поедет, а тогда старый Зигфрид так люто отомстит ему за Ротгера, что никто о такой мести и не слыхивал».

– Верно, верно! – воскликнула в тревоге Ягенка. – Это хорошо, коли Мацько потому поторопился!

Немного погодя она снова обратилась к Главе:

– В одном только он ошибся – что услал вас сюда. Ну к чему оберегать нас в Спыхове? Нас и старый Толима уберезет, а вы, такой сильный и ловкий, пригодились бы там Збышку.

– А кто вас, панночка, в случае чего отвезет в Згожелицы?

– В случае чего вы могли бы приехать раньше их. Понадобится же им послать сюда весточку, вот они и перешлют её через вас, а вы тогда и отвезете нас в Згожелицы.

Чех поцеловал ей руку и спросил взволнованным голосом:

– А вы на это время здесь останетесь?

– Бог хранит сироту! Здесь останемся.

– И не будет вам скучно? Что вы будете здесь делать?

– Буду Бога молить, чтобы вернул Збышку счастье и сохранил всех вас в добром здравье.

И при этих словах она горько расплакалась.

А оруженосец снова склонился к её ногам.



– Вы, – сказал он, – как ангел небесный.

#### XIV

Но Ягенка утерла слезы и, взяв его с собой, пошла к Юранду, чтобы рассказать ему новости. Юранд сидел в большой светлице с ксёндзом Калёбом, Анулькой и старым Толимой; у ног его лежала ручная волчица. Местный костельный служка, бывший в то же время и песенником, пел под звуки лютни песню о давней битве Юранда с «нечестивыми крестоносцами», а слушатели, подперев руками головы, задумчиво и грустно внимали ему. Сияла луна, и в комнате было светло. После жаркого дня настал тихий, очень теплый вечер. Окна были отворены, и при свете луны было видно, как летают по комнате майские жуки, которые роились в листве лип, росших во дворе. В печи всё же тлели головни, и слуга подогревал на огне мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами.

Песенник, вернее, служка ксёндза Калёба, затянул как раз новую песню «О счастливой битве»:

Едет Юранд, едет, конь под ним игрений...

- когда в светлицу вошла Ягенка и поздоровалась:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, – ответил ксёндз Калёб.

Юранд, седой как лунь, сидел на скамье, опершись на подлокотники, и услышав голос Ягенки, тотчас повернулся к ней и приветливо закивал головой.

– Из Щитно приехал оруженосец Збышка, – сказала девушка, – и привез вести от ксёндза. Мацько уже не воротится, он поехал к князю Витовту.

– Как не воротится? – спросил отец Калёб.

Ягенка стала рассказывать обо всём, что узнала от чеха: и о том, как Зигфрид отомстил за смерть Ротгера, и о том, как старый комтур хотел отнести Дануську Ротгеру, чтобы тот упился её невинной кровью, и о том, как неожиданно спас её палач. Не утаила она и того, что Мацько надеется теперь вдвоем со Збышком найти Данусю, отбить её и привезти в Спыхов, потому-то и поехал он прямо к Збышку, а им велел остаться здесь.

Голос задрожал у нее под конец, как будто от тоски или горя, а когда она кончила, в светлице стало тихо. Только в липах, росших во дворе, раздавался соловьиный свист и лился через отворенные окна в комнату. Взоры всех устремились на Юранда, который сидел, закрыв глаза, откинув назад голову, и не подавал признаков жизни.

– Вы слышите? – спросил наконец ксёндз Калёб.

Он ещё больше откинул голову, поднял левую руку и показал перстом на небо.

Свет луны падал прямо на его лицо, на седые волосы, на выжженные глаза, и было в этом лице столько муки и бесконечной покорности судьбе, что всем показалось, будто они видят только душу, освобожденную от плоти, которая навсегда отрешилась от земной жизни, ничего уж не ждет от нее и ни на что не надеется.

И снова воцарилось молчание, и снова только соловьи разливались, наполняя свистом двор и светлицу.

Сердце Ягенки исполнилось вдруг неизъяснимой жалостью и любовью к этому несчастному старику, и, повинувшись порыву, она бросилась к нему и, схватив его руку, стала целовать её, обливая слезами.

– И я сирота! – вырвалось из глубины её переполненного сердца. – Никакой я не оруженосец, Ягенка я из Згожелиц. Мацько взял меня, чтобы охранить от злых людей, и теперь я останусь с вами, пока Бог не вернет вам Данусю.

Юранд не удивился, будто давно уже знал, что это девушка; он прижал Ягенку к груди, а она, продолжая осыпать поцелуями его руку, говорила прерывающимся от слез голосом:

– Останусь я с вами, а потом Дануська воротится... И поеду я тогда в Згожелицы... Бог сирот хранит! Немцы и моего батюшку убили, но ваша милая дочка жива и воротится... Дай, господи милостивый, и ты, Пресвятая Дева, всех скорбящих утешение...

А ксёндз Калёб опустился вдруг на колени и торжественно возгласил:

– Kyrie elejson![14]

– Chryste elejson![15] – хором ответили чех и Толима.

Все стали на колени, поняв, что это литания, которую читают не только в час смерти, но и для избавления близких и любимых от смертельной опасности. Преклонила колена Ягенка, сполз со скамьи и опустился на колени Юранд, и все хором возгласили:

– Kyrie elejson! Chryste elejson!..

– Отче с небеси, помилуй нас!..

– Сыне Божий, искупителю, помилуй нас!..

Человеческие голоса и моления сливались с соловьиной песней.

Ручная волчица поднялась вдруг с медвежьей шкуры, лежавшей у скамьи Юранда, и, подойдя к отворенному окну, положила лапы на подоконник, подняла на луну свою треугольную морду и завывала тихо и жалобно.

Как ни преклонялся чех перед Ягенкой, сердце его всё сильнее влеклось к прекрасной Ануле; но, молодой и отважный, он прежде всего рвался в бой. Правда, будучи послушным оруженосцем, он по приказу Мацька вернулся в Спыхов и даже находил некоторое утешение в том, что будет стражем и хранителем обеих девушек; но когда Ягенка сама сказала ему, что в Спыхове им ничто не угрожает, – а так оно на самом деле и было, – и что его долг быть при Збышке, чех с радостью с этим согласился. Мацько не был его прямым господином, и он мог легко оправдаться перед старым рыцарем, сказав, что не остался в Спыхове по приказанию своей госпожи, которая велела ему ехать к Збышку.

Ягенка поступила так, зная, что такой сильный и ловкий оруженосец всегда может

пригодиться Збышку и вызволить его из всякой беды. Глава уже доказал это на княжеской охоте, когда Збышко едва не погиб в схватке с туром. На войне он тем более мог быть полезен, особенно на такой, какая кипела на жмудской границе. Глава так рвался в бой, что, вернувшись с Ягенкой от Юранда, тут же упал к её ногам и сказал:

– Лучше мне, ваша милость, сейчас вам поклониться и попросить напутствовать меня добрым словом...

– Как? – спросила Ягенка, – Ты хочешь ехать ещё сегодня?

– Завтра на рассвете, чтобы за ночь кони отдохнули. Уж очень отсюда до Жмуди далеко!

– Тогда поезжай, скорее догонишь рыцаря Мацька.

– Догнать его трудно. Старый пан закален в боях и на несколько дней опередил меня. К тому же он поедет напрямик через Пруссию, а я должен ехать окольным путем через дремучие леса. У него есть письма Лихтенштейна, которые он может показывать по дороге, а мне вот что пришлось бы показывать, вот чем прокладывать себе путь.

И чех при этих словах положил руку на рукоять меча, висевшего на боку.

– Будь осторожен! – воскликнула Ягенка. – Раз уж ты едешь, так надо доехать, а не угодить к крестоносцам в подземелье. Но и в дремучем лесу будь настороже, там живут теперь всякие злые божки, которых почитал тамошний народ, пока не перешел в христианство. Я помню, как рыцарь Мацько и Збышко рассказывали об этом в Згожелицах.

– Помню и я, но как-то не боюсь их – какие это божки, так, одна мелкота, никакой у них силы нету. Я и с ними справлюсь, и с немцами, коли встречу их, лишь бы только война разгорелась.

– А разве она не разгорелась? Расскажи-ка, что слышали вы у немцев про войну?

Рассудительный оруженосец нахмурил брови и, подумав с минуту, сказал:

– И разгорелась, и не разгорелась. Мы старались все новости выведать, особенно рыцарь Мацько, который так хитер, что любого немца обойдет. Начнет спрашивать как будто совсем про другое, притворится, будто он на их стороне, ничем себя не выдаст и все новости у них выудит. Коли хотите вы послушать меня, ваша милость, я вам всё расскажу. Несколько лет назад князь Витовт замыслил поход против татар и, чтобы немцы его не трогали, уступил им Жмудь. Дружба у них была и полное согласие. Он позволил немцам возводить замки и сам помогал им. Съехались они с магистром на одном острове, пили, ели там и друг друга уверяли в любви. Не возбранял он немцам даже охотиться в тамошней пуще. Когда же бедные жмудины восставали против владычества крестоносцев, князь Витовт помогал немцам и посылал им свои войска, так что вся Литва стала роптать, что восстает он на родную кровь. Всё это нам в Щитно помощник комтура рассказывал. Восхвалял он крестоносцев за то, что они посылали в Жмудь и священников, которые должны были крестить жмудинов, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что великий магистр им повелел, в котором больше, чем у других, страха Божия, но зато забирали у жмудинов детей в Пруссию, женщин бесчестили на глазах у мужей и

братьев, а тех, кто сопротивлялся, вешали. Потому-то и началась война.

– А князь Витовт?

– Князь долго закрывал глаза на обиды, которые крестоносцы чинили жмудинам, и дружил с ними. Недавно княгиня, его жена, ездила в гости в Пруссию, в Мальборк. Принимали её там как самое польскую королеву. Недавно это было, совсем недавно! Крестоносцы осыпали её дарами, а сколько во всех городах было ристалищ, пиров и всяких чудес – и не сочтешь! Люди думали, что теперь между крестоносцами и князем Витовтом будет вечная дружба, и вдруг князь переменялся к ним...

– Мне и покойный батюшка, и Мацько не раз говорили, что сердце у него переменчивое.

– Не к честным людям, а к крестоносцам, по той причине, что и сами они никогда не держат слова. Недавно они потребовали у него выдать им беглецов, а он им ответил, что холопов выдаст, а людей вольных и не подумает, потому что вольные люди имеют право жить, где хотят. И стали они уже друг на друга коситься, жалобы писать и друг другу грозить. Услыхали про то жмудины – и поднялись на немцев! Стражу в городах вырезали, крепостцы разрушили, а теперь даже на Пруссию учиняют набег, и князь Витовт не только не удерживает их, но и насмехается над немцами и втихомолку посылает жмудинам подмогу.

– Понимаю, – сказала Ягенка, – но коли он втихомолку им помогает, так войны ещё нет.

– Со жмудинами уже война, да и с князем Витовтом тоже. Немцы отовсюду идут на оборону пограничных замков, они готовы выступить и в великий поход на Жмудь, да приходится ждать зимы; край это болотистый, и рыцари сейчас не могут там воевать. Где жмудин пройдет, там немец увязнет, а зима – немцу друг. Как ударят морозы, силы крестоносцев двинутся вперед, а великий князь Витовт, с дозволения польского короля, властителя его и всей Литвы, выступит на помощь жмудинам.

– Так, может, и с королем будет война?

– Народ и у нас, и у немцев толкует, что будет. Крестоносцы уже при всех дворах вопят о помощи, – что называется, на воре шапка горит! Королевское могущество – это не шутка, а польские рыцари, если кто только помянет крестоносцев, сразу начинают в кулак поплевывать.

– Парню всегда веселей живется, чем девушке, – со вздохом заметила Ягенка, – ты вот, к примеру, на войну поедешь, как поехали Збышко и Мацько, а мы останемся здесь, в Спыхове.

– А как же, панночка, может быть иначе? Вы останетесь, но в полной безопасности. И по сию пору страшен немцам Юранд, я сам это видел в Щитно; как узнали немцы, что он в Спыхове, сразу переполошились.

– Мы знаем, что они сюда не придут, нас и болота защищают, и старый Толима; но тяжело нам будет сидеть здесь без всяких вестей.

– Случись что, я дам вам знать. Я знаю, что ещё перед нашим отъездом в Щитно собирались отсюда на войну по своей воле два добрых молодца. Толима не может не позволить им уехать, они шляхтичи из Ленкавицы. Теперь они поедут вместе со

мною, и в случае чего я одного из них тотчас пошлю к вам с вестями.

– Да вознаградит тебя Бог. Я всегда знала, что ты никогда не растеряешься, но за твою доброту и сочувствие до гроба буду тебе благодарна.

Чех преклонил колено и сказал:

– Не видел я от вас обид, одни благодеяния. Рыцарь Зых взял меня в плен мальчишкой под Болеславом и без выкупа даровал мне волю; но милее воли была мне служба у вас. Дай Бог пролить мне кровь за вас, моя панночка!

– Храни тебя Бог! – ответила Ягенка, протягивая ему руку.

Но он, желая оказать ей ещё большую честь, склонился и стал целовать её ноги. Не вставая с колен, он поднял голову и проговорил смиренно и робко:

– Парень простой я, но шляхтич и верный слуга ваш... подарите же мне в дорогу что-нибудь на память. Не отказывайте мне в этом! Уже приходит время кровавых сеч, и Георгий Победоносец свидетель, что не в хвосте я буду, а впереди.

– Что же тебе дать на память? – спросила удивленно Ягенка.

– Опоящите меня на дорогу. Коли придет мне погибель, легче будет с вашей перевязью.

И он снова склонился к ногам девушки, а потом с мольбою устремил на нее взор; но глубокая печаль изобразилась на лице Ягенки, и, помедлив, девушка ответила ему с невольною горечью:

– Ах, мой милый! Не проси меня об этом, ни к чему тебе моя перевязь. Пусть тот тебя опояшет, кто сам счастлив, он и тебе принесет счастье. А что у меня? Одна тоска да печаль! А что ждет меня впереди? Одно горе! Эх, не принесу я счастья ни тебе и никому другому, чего нет у меня, того я и дать не могу. Так мне теперь, Глава, плохо жить на свете, что, что...

Тут она смолкла вдруг, чувствуя, что если вымолвит хоть одно ещё слово, то разразится рыданиями, слезы застлали уже ей глаза. Чех очень растрогался, он понял, что тяжело возвращаться Ягенке в Згожелицы и жить рядом со злыми разбойниками Чтаном и Вильком, но так же тяжело ей оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать Збышко с Данусей. Глава прекрасно понимал, что творится в сердце девушки, и, не зная, как утешить её, обнял её ноги, приговаривая:

– Эх, жизнь положил бы я за вас! Жизнь положил бы!

– Встань, – сказала она. – А на войну пусть Ануля тебя опояшет или пусть подарит тебе что-нибудь на память, давно уже она на тебя заглядывается.

И Ягенка кликнула Анульку, которая тотчас вышла из соседней комнаты; она слушала под дверью, но не входила из робости, хотя горела желанием проститься с красивым оруженосцем. Она вышла смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем и глазами, блестящими от слез и бессонницы, и, потупясь, стала перед ним, словно цветик яблони, не в силах слово вымолвить.

Глава не только был горячо привязан к Ягенке, он преклонялся перед нею, боготворил её, но не смел даже мечтать о ней, зато часто мечтал он об Анульке; горячая кровь текла в его жилах, и он не мог устоять перед очарованием девушки. Теперь она ещё больше пленила его сердце своей красотой и особенно смущением и слезами, за которыми любовь была видна, как золотое дно видно в прозрачной воде ручейка.

– Я еду на войну, – обратился к ней Глава, – может, и голову там сложу. Вам не жаль меня?

– Жаль мне тебя! – тоненьким голоском ответила девушка.

И залилась слезами, которые всегда были у нее наготове. Чех окончательно растрогался и стал целовать ей руки, воздерживаясь в присутствии Ягенки от более страстных поцелуев.

– Опояшь его в дорогу или подари что-нибудь на память, чтобы он сражался под твоим знаком, – сказала Ягенка.

Но Анульке нелегко было это сделать, она была в одежде юного оруженосца. Девушка кинулась искать: ни ленты, ни повязки! Все женские уборы ещё со времени отъезда из Згожелиц лежали нетронутые в коробах, и Анулька оказалась в большом затруднении, но Ягенка и тут пришла ей на помощь, посоветовав отдать сеточку, которую та носила на голове.

– Слава Богу! Пусть будет сеточка! – воскликнул повеселевший Глава. – Приколю её к шлему, и несчастной будет мать того немца, который посягнет на нее!

Анулька, подняв обе руки, сняла сетку, и светлые пряди волос рассыпались у нее по плечам и спине. Увидев, как прелестна она с распущенной косой, Глава даже в лице изменился. Он вспыхнул, потом побледнел, взял сеточку, поцеловал её, спрятал за пазуху, ещё раз обнял колени Ягенки, затем крепче, чем следовало, колени Анульки и со словами: «Так пусть и будет!» – вышел из комнаты.

Хотя чех утомился от дороги и не отдыхал, он так и не лег спать. Ночь напролет пил Глава с двумя молодыми шляхтичами из Ленкавицы, которые собирались ехать с ним в Жмудь. Однако он не охмелел и, едва забрезжил свет, был уже во дворе городка, где ждали оседланные кони.

В стене над сараем тотчас приотворилось затянутое пузырем окно, и в щелку выглянули голубые глазки. Заметив это, чех хотел подойти показать Анульке приколотую к шлему сетку и ещё раз проститься с девушкой; но ему помешали ксёндз Калёб и старый Толима, которые вышли дать ему несколько советов на дорогу.

– Поезжай ко двору князя Януша, – сказал ксёндз Калёб, – может, там и рыцарь Мацько. Во всяком случае, при дворе ты всё узнаешь, знакомых у тебя там достаточно. Дороги оттуда в Литву тебе тоже знакомы, да и провожатого там легче найти, который знает тропы в пуще. Коли хочешь наверняка добраться до пана Збышка, так не ездь прямо в Жмудь, там прусская застава, а скачи через Литву. Помни, что и жмудины могут тебя убить, прежде чем ты крикнешь им, кто ты такой; совсем другое дело, ежели ты приедешь к ним из владений князя Витовта. Да благословит Бог тебя и обоих рыцарей, возвращайтесь в добром здоровье и привозите Данусю, а я всякий день после вечерни и до первой звезды, пав ниц, буду за вас Богу молиться.

– Спасибо, отче, за благословение, – ответил Глава. – Нелегко вырвать жертву живой из дьявольских лап крестоносцев, но всё в руках Божьих, и лучше надеяться, чем предаваться унынию.

– Это верно, что лучше, потому я и не теряю надежды. Да... надежда живет, хоть и зреет в сердце тревога... Хуже всего, что сам Юранд, стоит только произнести её имя, поднимает перст к небу, словно видит её уже там.

– Как же он может её видеть, коли нету очей у него?

– Бывает, – сказал ксёндз не то чеху, не то сам себе, – что земные очи погасли, а человек видит то, чего другие не могут увидеть. Бывает так, бывает! Но не может этого быть, чтобы Бог попустил обидеть такого кроткого агнца. Чем провинилась она перед крестоносцами? Ничем! А непорочна была, яко крин сельный, и с людьми-то хороша, и певала, будто пташка в поле! Бог любит детей, сожалеет он о людских муках... И коли убили Дануську, может, он и воскресит её, как Петровина[16], который, восстав из гроба, долгие годы занимался хозяйством... Поезжай с Богом, и да хранит десница господня всех вас и её!

С этими словами ксёндз вернулся в часовню служить раннюю обедню, а чех сел на коня, ещё раз поклонился у притворенного окна – и уехал, потому что уже совсем рассвело.

## XV

Князь Януш и княгиня уехали с частью двора в Черск на весеннюю рыбную ловлю; они очень любили это зрелище и почитали его одной из лучших забав. всё же чеху удалось узнать от Миколая из Длуголяса много важных новостей как о делах частных, так и о войне. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мацько отказался, видно, от намерения ехать в Жмудь прямо через «прусскую заставу», так как за несколько дней до этого он побывал в Варшаве, где застал ещё князя и княгиню. Что до войны, то старый Миколай подтвердил всё те слухи, которые дошли до Главы в Щитно. Вся Жмудь, как один человек, поднялась против немцев, а князь Витовт не только перестал помогать ордену против злополучных жмудинов, но, не объявляя пока немцам войны и ведя с ними переговоры, чтобы обмануть их бдительность, снабжал тем временем Жмудь деньгами, людьми, лошадьми и хлебом. И сам он, и крестоносцы слали в то же время послов к папе, к императору римскому и другим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве, предательстве и измене. От великого князя с письмами поехал мудрый Миколай из Рженева, который умел распутывать нити интриг крестоносцев и убедительно показывать, сколь тяжкие обиды чинят они Литве и Жмуди.

А когда на виленском сейме ещё больше укрепился союз Литвы и Польши, крестоносцы содрогнулись от ужаса, ибо нетрудно было предугадать, что Ягайло как властитель всех земель, которыми правил князь Витовт, в случае войны станет на его сторону. Грудзендский комтур, граф Иоганн Зайн, и гданьский комтур, граф Шварцбург, по повелению магистра отправились к королю с запросом о его намерениях. Король ничего им не ответил, хотя они привезли ему дары: бысролетных кречетов и ценную утварь. Тогда они притворно пригрозили королю войной, хорошо зная, что и магистр, и капитул боятся страшного могущества Ягайла и стремятся отдалить день гнева и поражения.

Как паутина, разрывались все договоры, особенно с Витовтом. Вечером после приезда Главы в варшавский замок пришли свежие вести. Приехал Брониш из Цясноты,

придворный князя Януша, посланный недавно князем в Литву за вестями, а с ним два знатных литовских князя с письмами от Витовта и от жмудинов. Вести были грозные. Орден готовился к войне. Всюду укрепляли замки, терли порох, тесали каменные ядра, стягивали к границе кнехтов и рыцарей, а легкие отряды конников и пехоты учиняли уже набеги на Литву и Жмудь со стороны Рагнеты, Готтесвердера и других пограничных замков. В дремучих лесах, в полях, в деревнях раздавались уже боевые кличи, а по вечерам над темной стеной лесов полыхали зарева пожаров. Витовт взял наконец открыто Жмудь под свое покровительство, послал туда своих правителей, а полководцем вооруженного народа назначил прославившегося своим мужеством Скирвойла, который учинял набеги на Пруссию, жег города и села, уничтожал их, подвергал опустошению. Сам князь продвинул войска к Жмуди, укрепил некоторые замки, другие, как, например, Ковно, разрушил, чтобы они не стали твердыней для крестоносцев. Ни для кого уже не было тайной, что с наступлением зимы, когда мороз скует трясины и болота, а если выдастся погожее лето, то, быть может, и раньше, вспыхнет великая война, которая охватит все литовские, жмудские и прусские земли. Если же на помощь Витовту придет король, то наступит день, когда немецкая волна либо зальет ещё полмира, либо, отбитая, на долгие века вернется в свое старое ложе.

Но всё это было дело будущего. Пока же по всему свету разносились стоны и призывы к справедливости. В Кракове и в Праге, при папском дворе и в других западных королевствах читали послание злополучного народа. Князю Янушу это послание привезли бояре, прибывшие вместе с Бронишем из Цясноты. Не один мазур невольно нащупывал меч на боку, раздумывая, не встать ли по собственному почину под знамена Витовта. Все знали, что великий князь с радостью встретил бы закаленную родовую шляхту, такую же неукротимую в бою, как литовские и жмудские бояре, но лучше обученную и лучше вооруженную. Одних толкала на это ненависть к старым врагам шляхты, других – жалость. «Внемлите, внемлите! – зывали жмудины к королям, князьям и всем народам. – Мы были вольным и благородным народом, а орден хочет обратить нас в рабов! Не наших душ ищет он, но земли и достояния. Так велика уже наша нужда, что впору нам просить подаяния или разбоем заняться! Как смеют они крестить нас святой водой, коли у них самих руки нечисты! Мы хотим, чтобы нас крестили, но не кровью и мечом, мы хотим веры, но той, какой учат достойные монархи – Ягайло и Витовт. Внемлите и подайте нам руку помощи, ибо мы погибаем! Орден хочет крестить нас для того, чтобы нас легче было поработить, не священников, а палачей посылает он к нам. Они уже отняли у нас наши ульи, наши стада, все плоды земли; нам нельзя уже ни ловить рыбу, ни бить зверя в пуще! Внемлите нашим мольбам, ибо нас, издревле вольных людей, они заставляют гнуть выю, возводить по ночам замки для них; они увезли как заложников наших детей, а наших жен и дочерей бесчестят на глазах у мужей и отцов. Не говорить, а стенать должно нам. Они пожгли наши дома, увезли в Пруссию наших владык, убили наших великих людей, Коркуца, Вассыгина, Сволька и Сонгайла, и, как волки, пьют нашу кровь. О, внемлите нам! Ведь мы не звери, а люди, и мы зываем к святейшему отцу, дабы он повелел польским епископам крестить нас, ибо всей душой жаждем мы крещения, но не живой кровью, а водою спасения».

Так жаловались жмудины, и, когда жалобы их дошли до мазовецкого двора, несколько рыцарей и придворных тотчас решили отправиться им на подмогу, уверенные, что и позволения просить у князя Януша нет надобности, хотя бы потому, что княгиня была родной сестрой Витовта. Все распалились гневом, когда от Брониша и бояр стало известно, что многие благородные жмудские юноши, взятые в Пруссию заложниками, не вынесли позора и жестоких мук, которым подвергали их крестоносцы, и покончили с собой.



Глава радовался этому порыву мазовецкого рыцарства. Чем больше людей, думал он, отправится из Польши к князю Витовту, тем сильнее разгорится пламя войны с крестоносцами и тем вернее можно будет выказать свою храбрость. Радовался чех и тому, что увидит Збышка, к которому успел привязаться, и старого рыцаря Мацька, у которого, как он думал, стоило поучиться ратному делу, да и тому, что посмотрит новые дикие края, неведомые города, рыцарей и войско, каких он ещё не видывал, и самого князя Витовта, чья слава в то время гремела по свету.

Поэтому он решил лететь во весь опор, останавливаясь только для того, чтобы дать отдохнуть коням. Бояре, которые прибыли с Бронишем из Цясноты, и другие литвины, находившиеся при дворе княгини, знали все дороги и переходы, они-то и должны были провожать его и мазовецких рыцарей от селения к селению, от городка к городку через дремучие, необъятные леса, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди.

## XVI

В какой-нибудь миле от Ковно, уничтоженного самим Витовтом, стояли в лесах главные силы Скирвойла. В случае необходимости Скирвойло перебрасывал их с молниеносной быстротой с места на место, налетая то на прусские владения, то на замки и городки, оставшиеся ещё в руках крестоносцев, и раздувая во всём крае пожар войны. Там-то верный оруженосец и нашел Збышка с Мацьком, который приехал только за два дня до этого. Поздоровался чех со Збышком и ночь напролет проспал как убитый; только на другой день вечером пошел он поздороваться со старым рыцарем. Мацько, усталый и злой, разгневался и стал спрашивать, почему это он ослушался его и не остался в Спыхове. Смягчился старик только после того, как чех, улучив удобную минуту, когда Збышка не было в шатре, объяснил ему, какой приказ получил он от Ягенки.

Глава прибавил, что приехал не только по приказу Ягенки и что не одна только жажда битвы привлекла его сюда: случись что-нибудь, он хотел немедленно послать в Спыхов гонца с вестями. «Панночка, – говорил он, – с её ангельской душой, молится за дочку Юранда, хоть и не сулит ей это добра. Но всему должен быть конец. Коли нет уже Дануськи в живых, царство ей небесное, непорочна она была, как агнец; но коли отыщется она, нужно немедленно предупредить панночку, чтобы она, не дожидаясь, пока прибудет Дануська, поскорее уезжала из Спыхова, а то отъезд её будет похож на позорное изгнание».

Мацько слушал чеха неохотно, время от времени повторяя, что не его ума это дело. Но Глава решил говорить напрямик и нимало этим не смутился.

– Лучше было панне оставаться в Згожелицах, – сказал он в заключение, – незачем было ей уезжать. Мы все уверяли бедняжку, что дочка Юранда нет в живых, а может выйти совсем по-другому.

– А не ты ли ей говорил, что Дануськи нет в живых? – сердито спросил Мацько. – Надо было держать язык за зубами. А я взял её потому, что она боялась Чтана и Вилька.

– Это был только предлог, – ответил оруженосец. – Она спокойно могла оставаться в Згожелицах, ведь Вильк и Чтан препоны чинят друг дружке. А вы, пан, боялись, как бы в случае смерти Дануськи и панночка не ускользнула от пана Збышка, потому и взяли её с собой.

– Что это ты так занесся! Разве ты не слуга уже, а опоясанный рыцарь?

– Слуга я, но только панны, потому и забочусь о том, чтобы позор не пал на нее.

Мацько нахмурился и задумался, он был недоволен собой. Не раз уже упрекал он себя за то, что взял Ягенку из Згожелиц: старик понимал, что, подсовывая Ягенку Збышку, он умаляет её достоинство, а если Дануся найдется, так может получиться и того хуже. Чувствовал он и то, что дерзкий чех прав: хоть и взял он с собой Ягенку, чтобы отвезти её к аббату, но, узнав о его смерти, мог оставить девушку в Плоцке, а вот же не сделал этого, потащил её в Спыхов только для того, чтобы она была поближе к Збышку.

– Это мне и в голову не пришло, – сказал он, пытаясь обмануть и себя, и чеха, – она сама навязалась.

– Ах, вот как! Навязалась! Да мы же сами уверили её, что дочка Юранда нет в живых и что братьям спокойнее будет без нее, – вот она и поехала.

– Это ты её уверил! – вскричал Мацько.

– Да, и я в этом повинен. Но теперь всё станет ясно. Надо что-то делать, иначе лучше смерть.

– Что же ты поделаешь с таким войском и на такой войне?.. – нетерпеливо сказал Мацько. – Может, оно и станет получше, да только в июле, немцы, они ведь воюют зимой и в сухое лето, а теперь одна слава, что война. Князь Витовт, толкуют, в Краков поехал на переговоры с королем, хочет заручиться его согласием и помощью.

– Но ведь есть же поблизости замки крестоносцев. Взять хоть два замка, так, может, дочку Юранда удастся найти, а нет, так дознаться про её смерть.

– А может, ни то, ни другое.

– Зигфрид-то сюда её увез. Об этом нам и в Щитно говорили, и всюду, да и сами мы так думали.

– А видал ты это войско? Выйди-ка из шатра да погляди. У иных одни только палки, у иных медные прадедовские мечи.

– Да, но я слышал, что жмудины хорошие вояки.

– Не голыми же руками брать замки, да ещё крестоносцев.

Дальнейший разговор был прерван появлением Збышка и Скирвойла, полководца жмудинов. Это был человек невысокого роста, но плечистый и крепкий. Грудь у него была колесом, так что казалось, что спереди у него горб, а руки доходили чуть не до колен. Он похож был на Зындрама из Машковиц, знаменитого рыцаря, с которым Мацько и Збышко в свое время познакомились в Кракове: такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо знает искусство войны. Жизнь его прошла в стычках с татарами, с которыми он долгие годы воевал на Руси, да с немцами, которых он ненавидел лютой ненавистью. Во время этих войн он научился говорить по-русски, а потом, при дворе Витовта, немного и по-польски, знал он и по-немецки, во всяком случае повторял три слова: огонь, кровь и смерть. В огромной его голове зрело множество хитрых военных замыслов, которых крестоносцы не могли ни предугадать, ни предупредить, поэтому в пограничных комтурриях его

боялись.

– Мы толковали про набеги, – с необычным оживлением сказал Мацьку Збышко, – и пришли послушать, что скажете вы с вашим опытом.

Мацько усадил Скирвойла на сосновый пень, покрытый медвежьей шкурой, затем велел слугам принести братину меда, и рыцари стали попивать мед, черпая его из братины жестяными кружками, а когда все подкрепились, Мацько спросил;

– Так вы хотите учинить набег?

– Пустить дымом немецкие замки.

– Какие же?

– Рагнету или Новое Ковно.

– Рагнету, – сказал Збышко. – Четыре дня назад мы были под Новым Ковно, и немцы побили нас.

– То-то и оно, – подтвердил Скирвойло.

– Так как же?

– Да вот так.

– Погодите, – сказал Мацько, – я ведь здешних мест не знаю. Где Новое Ковно и где Рагнета?

– До Старого Ковно отсюда с милю, – ответил Збышко, – а от Старого до Нового тоже миля. Замок на острове. Четыре дня назад мы хотели переправиться; но немцы побили нас у переправы. Полдня гнались они за нами, пока мы не укрылись в лесах, а войско всё рассеялось, так что некоторые воины вернулись только сегодня утром.

– А Рагнета?

Скирвойло показал своей длинной, как ветвь, рукой на север и произнес:

– Далеко, далеко!..

– Потому-то набег надо учинить на Рагнету, что она далеко! – ответил Збышко. – Там кругом спокойно, все, у кого оружие в руках, пришли сюда, к нам. Не ждут немцы там набега, и мы их захватим врасплох.

– Это верно, – сказал Скирвойло.

– Так вы думаете, – спросил Мацько, – и замок можно взять?

Скирвойло отрицательно покачал головой, а Збышко ответил:

– Замок крепкий, так что вряд ли, разве только случайно. Но мы опустошим весь край, пожжем деревни и города, уничтожим припасы, а самое главное – захватим пленников, а среди них могут попасться люди знатные, крестоносцы за таких пленников охотно дают выкуп или обменивают их...

Тут он обратился к Скирвойлу:

– Вы сами, князь, сказали, что я верно говорю, а теперь подумайте и про то, что Новое Ковно на острове. Там мы ни деревень не пожжем, ни стад не отобьем, ни пленников не захватим. Да и разбили нас там совсем недавно. Эх! Пойдемте лучше туда, где нас сейчас не ждут.

– Победитель меньше всего ждет набега, – пробормотал Скирвойло.

Но тут слово взял Мацько и стал поддерживать Збышка, понимая, что под Рагнетой он надеется скорее узнать о жене и там легче захватить знатного пленника, которого можно было бы потом обменять. Он тоже считал, что лучше двинуться дальше и неожиданно вторгнуться в край, который немцы хуже охраняют, чем учинять набег на остров, укрепленный самой природой и защищенный к тому же мощным замком с победоносной стражей.

Как человек, искушенный в военном деле, он говорил ясно и приводил такие неопровержимые доводы, что, казалось, мог бы убедить всякого. Его внимательно слушали. Скирвойло время от времени поднимал брови и поводил ими как бы в знак согласия, а иногда бормотал: «Правильно говорит!» Потом он втянул свою огромную голову в широкие плечи, так что показался всем совершенным горбуном, и погрузился в размышления.

Спустя некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, стал прощаться.

– Ну, так как же, князь? – спросил Мацько. – Куда мы двинемся?

Скирвойло коротко ответил:

– Под Новое Ковно.

И вышел из шатра.

Мацько и чех с минуту в удивлении смотрели на Збышка, а затем старый рыцарь, хлопнув себя по ляжкам, воскликнул:

– Тьфу, ну и пень же!.. Как будто и слушает тебя, а потом всё равно по-своему повернет!.. Нечего с ним и горло надсаживать!..

– Слышал я, что он таков, – ответил Збышко. – Сказать по правде, и весь здешний народ на диво упрям; и выслушает как будто тебя, а потом смотришь, говорил ты как на ветер.

– Так зачем же он спрашивает?

– Потому что мы опоясанные рыцари, да и для того, чтобы со всех сторон обсудить дело. Нет, он вовсе не глуп.

– Под Новым Ковно нас, может, тоже не ждут, – заметил чех, – ведь недавно они нас там разбили. Тут-то он прав.

– Пойдем, поглядишь на людей, над которыми я начальствую, – сказал чеху Збышко, которому было душно в шатре, – нужно их предупредить, чтобы были наготове.

И они вышли. На дворе уже спустилась хмурая и темная ночь, озаряемая только огнями костров, у которых сидели жмудины.

## XVII

На службе у Витовта Мацько и Збышко насмотрелись на литовских и жмудских воинов, и лагерь не представлял для них ничего нового; но чех разглядывал всё с любопытством, думая о том, каковы эти воины в бою, и сравнивая их с польским и немецким рыцарством. Лагерь расположился в низине, окруженной лесом и болотами, и был надежно защищен от нападения: никакое войско не могло бы пробраться сюда через предательские топи. Самая низина, на которой стояли шалаши, тоже была топкой и болотистой; но жмудины нарубили еловых и сосновых ветвей и так густо устлали её, что расположились прямо как на сухой земле. Князю Скирвойлу на скорую руку соорудили некое подобие «нумы», литовской хаты, сложенной из земли и неотесанных бревен, для других военачальников сплели из ветвей несколько десятков шалашей, а простые воины сидели вокруг костров под открытым небом, защищенные от холода и дождей одними только кожухами да шкурами, надетыми на голое тело. В лагере ещё никто не спал; после недавнего поражения делать людям было нечего, и они отсыпались днем. Одни сидели или лежали у ярко пылавших костров, подкидывая в них хворост и ветви можжевельника, другие рылись в кострах уже погасших и подернувшихся пеплом, от которых шел дух печеной репы, обычной пищи литвинов, и горелого мяса. Между кострами виднелись целые горы оружия, сложенного неподалеку, чтобы в случае надобности воин легко мог схватить свою рогатину, кистень или топор. Глава с любопытством рассматривал эти рогатины с длинным и узким острием, выкованным из каленого железа, эти кистени из молодых дубков, усаженные кремнями или гвоздями, эти топоры с короткими рукоятями, как у польских секир, которыми были вооружены всадники, и с длинными рукоятями, как у бердышей, которыми сражались пешие воины. Попадались и медные топоры, сохранившиеся от тех времен, когда железо в этих глухих местах мало ещё употреблялось. Часть мечей тоже была из меди; но большинство из доброй стали, которую привозили из Новгорода. Чех брал в руки рогатины, мечи, топоры, смолистые, обожженные на огне луки и при свете костров испытывал их качество. Коней у костров было немного, табуны паслись поодаль в лесах и на лугах под охраной бдительных конюхов; однако знатные бояре пожелали иметь под рукой своих скакунов, и в лагере было несколько десятков коней, которым боярские невольники засыпали корм в ясли. Глава диву давался, глядя на этих необычайно низкорослых косматых лошадей с могучими шеями, таких странных с виду, что западные рыцари почитали их совершенно особыми лесными зверями, более похожими на единорогов, чем на настоящих коней.

– Тут рослые боевые кони ни к чему, – говорил опытный Мацько, вспоминая давние времена, когда он служил у Витовта, – рослый конь тотчас увязнет в трясине, а здешняя лошадка пройдет всюду, как человек.

– Но на поле боя, – заметил чех, – она не устоит против рослого немецкого коня.

– Это верно, что не устоит. Зато немец и не убежит от жмудина, и не догонит его – жмудские кони такие же резвые, как и татарские, а может быть, ещё резвей.

– Всё-таки удивительно мне это, видал я пленников-татар, которых привел рыцарь Зых в Згожелицы, все они были небольшого росточка, такого любая клячонка поднимет, – а ведь жмудины рослый народ.

Народ это был и впрямь дородный. При свете огня из-под шкур и кожухов виднелись

то могучие плечи, то широкая грудь. Парни были как на подбор, жилистые, костистые и высокие; вообще они были выше жителей других литовских земель, так как обитали в более плодородной местности, где голод, поражавший иногда Литву, реже давал себя знать. Зато они отличались ещё большей дикостью, чем литвины. В Вильно был великокняжеский двор, туда стекались священники с Востока и Запада, прибывали посольства, наезжали иноземные купцы, поэтому жители Вильно и его окрестностей немного освоились с чужеземными обычаями, здесь же иноземец появлялся только в образе крестоносца или меченосца, несущего в глухие лесные селения огонь, рабство и крещение кровью. Поэтому всё в Жмуди было более грубым и суровым, более близким к старым временам, более враждебным новшествам: и обычай старый, и старые способы войны, и закоренелость языческих верований, ибо поклоняться кресту жмудина учил не кроткий глашатай благой вести с любовью апостола, а вооруженный немецкий монах с душой палача.

Скирвойло и знатные князья и бояре последовали примеру Ягайла и Витовта и были уже христианами. Остальные, даже самые простые и дикие воины, смутно чувствовали, что прежней их жизни и прежней их вере приходит смерть, конец. Они готовы были поклониться кресту, лишь бы только этот крест не возносили ненавистные немецкие руки. «Мы просим крестить нас, – взывали они ко всем князьям и народам, – но помните, что мы люди, а не звери, которых можно дарить, покупать и продавать». Пока же угасала прежняя вера, как угасает костер, в который никто не подкидывает дров, а от новой отвращались сердца, потому что немцы силой вынуждали принять её, в душе жмудина росли пустота, тревога, сожаление о прошлом и глубокая печаль. Чех, который с детства привык к веселому говору солдат, к их песням и шумной музыке, впервые в жизни увидел такой тихий и мрачный лагерь. Лишь кое-где, у костров, разложенных подальше от нумы Скирвойла, слышались звуки свирели или пицалки либо тихая песня, которую пел народный певец. Воины слушали певца, опустив головы, устремив на огонь глаза. Некоторые из них сидели у огня на корточках, опершись локтями на колени и закрыв руками лицо, и были похожи в своих шкурах на хищных лесных зверей. Но когда они поднимали головы навстречу проходившим рыцарям, пламя освещало кроткие лица и голубые, вовсе не жестокие и не хищные глаза, а на рыцарей воины смотрели так, как смотрят грустные и обиженные дети. На краю лагеря лежали на мху раненые, которых удалось вынести из последней битвы. Знахари, так называемые «лабдарисы» и «сейтоны», бормотали заклинания или, осмотрев раны, прикладывали к ним целебные травы, а раненые лежали молча, терпеливо перенося боль и страдания. Из лесных недр, с полян и лугов доносился посвист конюхов; по временам поднимался ветер, окутывая лагерь дымом и наполняя шумом темный лес. Уже стояла глухая ночь, костры начали бледнеть и гаснуть, воцарилась ещё большая тишина, усиливая впечатление подавленности и тоски.

Збышко отдал приказ своим людям быть наготове, – юноша легко объяснялся с ними, так как среди них была горсточка полочан, – а затем обратился к своему оруженосцу:

– Ну, нагледелся, пора и в шатер.

– Да, нагледелся, – ответил оруженосец, – но не очень меня всё это радует, сразу видно, что враг побил этих воинов.

– Дважды побил: четыре дня назад под стенами замка и третьего дня у переправы. А теперь Скирвойло хочет идти туда в третий раз, чтобы потерпеть третье поражение.

– Как же он не понимает, что с таким войском ему не справиться с немцами? Мне об

этом уже говорил рыцарь Мацько, а теперь я и сам вижу, что и вояки из этих парней плохие.

– Ошибаешься, храбрее народа на свете не сыщешь. Да вот беда, они сражаются кучей, а немцы в бой идут строем. Вот если удастся им прорвать строй, так не немец уложит жмудина, а скорее жмудин немца. Но немцы это знают и тесно в ряд идут.

– О том, чтобы замки брать, и речи быть не может, – заметил чех.

– Нет у нас для этого никаких орудий, – сказал Збышко. – Орудия у князя Витовта, и, пока он не подойдет, не взять нам ни одного замка, разве только случай поможет или измена.

За разговором они не заметили, как дошли до шатра, перед которым пылал большой костер, поддерживаемый слугами, а на огне коптилось мясо. В шатре было холодно и сыро, поэтому оба рыцаря, а с ними и Глава, расположились на шкурах у костра.

Пожинав, они попытались уснуть, но не могли. Мацько ворочался с боку на бок и, заметив, что Збышко сидит у огня, обхватив руками колени, спросил:

– Послушай, почему ты советовал идти не поближе к Готтесвердеру, а далеко, к Рагнете? Зачем это тебе?

– Что-то говорит мне, что Дануська в Рагнете, да и стерегут этот замок меньше, чем ближние.

– Некогда нам было потолковать с тобой, я притомился, а ты после поражения собирал по лесу людей. А теперь скажи мне прямо: неужто ты всю жизнь думаешь искать эту девушку?

– Это не девушка, а моя жена, – ответил Збышко.

Воцарилось молчание. Мацько прекрасно понимал, что против этого ничего не скажешь. Если бы Дануся и по сию пору оставалась не замужем, старый рыцарь, несомненно, стал бы уговаривать племянника бросить поиски; но святость брака просто обязывала продолжать их, и Мацько не стал бы даже задавать подобный вопрос, если бы не то обстоятельство, что он не был ни на венчании, ни на свадьбе Збышка и невольно почитал Данусю девушкой.

– Так, – сказал он через минуту. – Но сколько я за эти два дня ни спрашивал тебя, улучив минуту, ты отвечал мне, что ничего не знаешь.

– Да, я ничего не знаю, разве только то, что гнев Божий постигнул меня.

Глава быстро приподнялся на медвежьей шкуре, сел и, насторожившись, стал с любопытством слушать.

– Покуда сон тебя не одолел, – сказал Мацько, – расскажи, что ты видел, что делал и чего добился в Мальборке?

Збышко откинул волосы, он давно не подрезал их на лбу, и они падали ему на глаза, посидел с минуту в молчании, а затем повёл свой рассказ:

– Дай Бог, чтобы я столько узнал про мою Дануську, сколько знаю про Мальборк. Вы спрашиваете, что я там видел? Я видел безмерное могущество ордена, который поддерживают все короли и все народы, и не знаю, может ли кто в мире померяться силами с ним. Я видел замок, которого нет, пожалуй, и у римского императора. Я видел неисчислимы сокровища, видел доспехи, видел толпы вооруженных монахов, рыцарей и кнехтов, и святыни, как в Риме у святого Отца, и скажу вам, сердце у меня похолодело. Подумал я, где уж с ними бороться? Кто их одолеет? Кто против них устоит? Кого не сокрушат они?

– Нас! Черт бы их побрал! – не выдержал Глава.

Мацько только диву дался, услышав речи Збышка, и хоть ему очень хотелось узнать обо всём, что приключилось с племянником, однако старик прервал его:

– А ты забыл про Вильно? Мало мы встречались с ними щитом к щиту, лицом к лицу! А ты забыл, как неохотно сражались они с нами, как жаловались на наше упорство, мало, дескать, загнать поляку коня и переломить ему копье, приходится либо ему голову срубить, либо свою сложить. Были ведь гости и там, которые тоже вызывали нас на бой, и все они с позором покинули поле. Что это ты стал так слабодушен?

– Я не стал слабодушен, я и в Мальборке дрался, а там бились и на острых копьях. Но вы не знаете их могущества.

– А ты знаешь польское могущество? – разгневался старик. – Ты видел все польские хоругви? Не видел. Их могущество держится на насилии и вероломстве, у них нет ни пяди собственной земли. Наши князья приняли их, как принимают в дом убогого человека, и осыпали их дарами, а они, укрепившись, искусали дающую руку, как подлые и бешеные псы. Они захватили землю, изменой взяли города – вот оно, их могущество! Но пусть даже все властители мира придут им на помощь, наступит день суда и возмездия.

– Вы велели мне рассказать, что я видел, а теперь гневаетесь, лучше уж мне помолчать, – сказал Збышко.

Мацько некоторое время сердито пыхтел, однако через минуту сказал, уже успокоившись:

– А разве так не бывает? Стоит в лесу сосна, словно башня несокрушимая, можно подумать, века простоит, а стукнешь её хорошенько обухом, и в середине окажется одно дупло. И труха сыплется. Так и с тевтонским могуществом. Но я велел тебе рассказать, что ты делал и чего добился. Ты говоришь, что дрался на острых копьях?

– Дрался. Сперва крестоносцы приняли меня надменно и неприязненно, они уже знали, что я бился с Ротгером. Может, всё бы кончилось худо, да приехал я с письмом от князя, и к тому же от злобы их оберегал меня рыцарь де Лорш, которого они уважают. Затем начались пиры и ристалища, и тут Бог послал мне удачу. Вы, верно, слышали, что меня полюбил брат магистра, Ульрих, и дал мне письменное повеление самого магистра о выдаче Дануськи?

– Говорили нам люди, – ответил Мацько, – будто седельная подпруга лопнула у Ульриха, а ты увидел и не стал нападать на него.

– Да, я поднял вверх копье, и с той поры он меня полюбил. Боже милостивый! Дал



он мне грамоту со строжайшим наказом, с нею я мог ездить от замка к замку и чинить розыски. Я уж думал, что кончились мои беды и мои муки, а теперь сижу вот здесь, в этом диком краю, и в тоске и печали не знаю, что делать, и с каждым днем всё горше мне и всё тоскливей...

Он умолк на минуту, а затем с такой силой швырнул щепки в огонь, что от пылавших головней посыпались искры.

– Коли томится она, моя бедняжка, где-нибудь в замке, – произнес он, – и думает, что позабыл я её, так лучше тогда умереть мне на месте!

И, видно, столько муки накопело у него на сердце, что он, словно в приступе внезапной нестерпимой боли, снова стал швырять щепки в огонь. Мацько и Глава просто потрясены были, они никак не думали, что Збышко так любит Данусю.

– Успокойся! – воскликнул Мацько. – Расскажи лучше, как было с этой грамотой? Неужто комтуры не хотели слушать магистра?

– Успокойтесь, милостивый пан, – проговорил чех. – Бог вас утешит, и, может быть, скоро.

Слезы блеснули на глазах у Збышка, однако он овладел собою.

– Эти предатели, – сказал юноша, – открывали предо мной замки и темницы. Я был везде, искал повсюду! Но тут вспыхнула война, и в Гердавах правитель фон Гайдек сказал мне, что военные законы другие и что грамоты, выданные в мирное время, теряют свою силу. Я его тотчас вызвал на бой, но он не принял вызова и велел изгнать меня из замка.

– А в других замках? – спросил Мацько.

– Везде одно и то же. В Крулевце комтур, которому подчинен гердавский правитель, не пожелал даже читать письмо магистра. «Война – это война», – сказал он мне и посоветовал уносить ноги, покуда цел. Спрашивал я и в других местах – везде одно и то же.

– Теперь всё ясно, – проговорил старый рыцарь. – Ты увидел, что ничего не добьешься, и решил лучше приехать сюда, где хоть может представиться случай отомстить.

– Да, – ответил Збышко. – Я подумал ещё, что мы захватим невольников, возьмем несколько замков; но жмудины не умеют их брать.

– Вот придет князь Витовт, и тогда всё будет по-иному.

– Дай-то Бог.

– Он придет. Я при мазовецком дворе слышал, что придет, а может, и король вместе с ним да со всеми польскими силами.

Дальнейший разговор был прерван приходом Скирвойла, который неожиданно появился из мрака и сказал:

– Выступаем в поход.

Рыцари при этих словах тотчас вскочили на ноги, а Скирвойло, вплотную придвинувшись к ним, сказал приглушенным голосом:

– Есть новости: к Новому Ковно подходит подмога. Два рыцаря ведут кнехтов со скотом и припасами. Мы их перехватим.

– Значит, переправимся через Неман? – спросил Збышко.

– Да. Я знаю брод.

– А в замке знают о том, что идет подмога?

– Знают и выйдут навстречу, на тех ударите вы.

И он стал объяснять, где они должны засечь в засаду, чтобы неожиданно ударить на немцев, которые поспешат выйти из замка навстречу подмоге. Ему хотелось дать одновременно два боя и отомстить за последние поражения; это было тем легче, что враг после недавней победы чувствовал себя в полной безопасности. Скирвойло указал польским рыцарям место, куда они должны прийти, и назначил время прибытия, остальное же предоставил их мужеству и находчивости. Те обрадовались, сразу поняв, что имеют дело с опытным и умным полководцем. Затем Скирвойло велел рыцарям следовать за ним и вернулся к себе в нуму, где его ждали князь и бояре-сотники. Там он повторил свой приказ и отдал новые распоряжения, а потом поднес к губам пищалку, вырезанную из волчьей кости, и заиграл так пронзительно и громко, что свист разнесся по лагерю из конца в конец.

Всё закипело при этом звуке у потухших костров, то там, то тут стали вспыхивать искры, сверкнули огоньки; с каждой минутой они становились всё ярче, и при свете их стали видны дикие фигуры воинов, собиравшихся около сложенного оружия. Лес затрепетал и проснулся. Вскоре из недр его донеслись окрики конюхов, гнавших к лагерю табуны коней.

### XVIII

К утру подошли к Невяже и переправились на другой берег, кто верхом, кто уцепившись за конский хвост, а кто на связке ивовых прутьев. Всё произошло так быстро, что Мацько, Збышко, Глава и охотники-мазуры удивились ловкости воинов и теперь только поняли, почему ни леса, ни болота, ни реки не могли служить преградой для набегов Литвы. Выйдя из воды, никто не снял одежды, не сбросил кожуха или волчьей шкуры, воины сушились, подставляя спины солнцу, так что пар валил от всех, словно дым из смолокурни; после непродолжительного отдыха войско поспешно двинулось на север. Поздним вечером дошли до Немана. Вода в большой реке поднялась, и переправа здесь тоже была нелегкой. Брод, который был известен Скирвойлу, местами стал так глубок, что кони кое-где пускались вплавь. На глазах у Збышка и чеха двух воинов унесло течением; тщетно пытались они спасти утопающих, было так темно и река так кипела, что Збышко с чехом скоро потеряли их из виду, а те не посмели позвать на помощь, памятуя приказ полководца при переправе хранить немое молчание. Все остальные благополучно добрались до противоположного берега, где без огня просидели до рассвета.

Едва забрезжил свет, всё войско разделилось на два отряда. С одним Скирвойло направился навстречу рыцарям, которые вели в Готтесвердер подмогу, другой же отряд Збышко повёл назад, к острову, чтобы перехватить стражу замка, которая должна была выйти навстречу рыцарям. В небе загорался ясный в погожий день, а на

земле лес, топкие луга и кусты окутал густой белый туман, застилавший даль. Збышку и его людям это было на руку, так как немцы, двигавшиеся от замка, не могли их издали заметить и вовремя уклониться от боя. Молодой рыцарь был очень этому рад.

– В таком тумане, – говорил он Мацьку, который ехал рядом с ним, – мы не увидим врага, а просто столкнемся с ним, дай только Бог, чтобы туман не рассеялся хоть до полудня.

С этими словами он поскакал вперед, чтобы отдать приказы сотникам, ехавшим впереди, однако тотчас вернулся и сказал:

– Мы выйдем скоро на дорогу, которая начинается от перевоза, что против острова, и идет в глубь края. Там заляжем в зарослях и будем ждать.

– Откуда ты знаешь про дорогу? – спросил Мацько.

– От здешних мужиков, их у меня в отряде больше десятка. Они-то и ведут нас...

– А далеко ли от замка и острова нам придется залечь?

– За милю.

– Это хорошо: если ближе, из замка могут послать кнехтов на подмогу, а так не только послать не успеют, и криков не услышат.

– Я об этом подумал.

– Подумал об одном, так подумай и о другом: коли мужики у тебя народ надежный, вышли двоих-троих вперед, чтобы первый, кто увидит немцев, тотчас дал бы нам знать.

– Ба! И это уж сделано!

– Ну, тогда я тебе ещё вот что скажу: прикажи одной-двум сотням не вступать в бой, когда мы с немцами сшибемся, а скакать в обход и отрезать дорогу от острова.

– Это первое дело! – ответил Збышко. – Но и такой приказ уже отдан. Немцы как в ловушку попадут или в западню.

Мацько при этих словах бросил на племянника одобрительный взгляд, он был доволен, что Збышко, невзирая на молодые годы, так хорошо знает военное дело.

– Наша кровь! – пробормотал он с улыбкой.

Оруженосец Глава радовался в душе ещё больше Мацька: не было для него большего упоения, как в бою.

– Не знаю, – сказал он, – как будут наши люди сражаться, но идут они без шума, в порядке и, видно, рвутся в бой. Коли Скирвойло всё хорошо обдумал, ни одному немцу не уйти живым.

– Даст Бог, мало кто из них вырвется, – ответил Збышко. – Но я отдал приказ

брать побольше пленников, а ежели попадется рыцарь или монах, ни в коем случае не убивать их.

– Почему, милостивый пан? – спросил чех.

– Вы тоже смотрите, – сказал Збышко, – пленников берите побольше. Коли рыцарь – гость, он разъезжает по городам, по замкам, видит множество людей, слышит всякие новости, а коли он монах, так и подавно. По чистой совести скажу, я затем сюда и приехал, чтобы захватить кого-нибудь познатней и обменять его на Дануську. Только этот путь у меня и остался... если только остался.

С этими словами он пришпорил коня и снова ускакал вперед, к голове отряда, чтобы отдать последние приказы и уйти от печальных мыслей, для которых и времени уже не оставалось; отряд приближался к месту, выбранному для засады.

– Почему это молодой пан так уверен, что его жена ещё жива и что она в этих местах? – спросил чех.

– Коли Зигфрид её сразу под горячую руку не убил в Щитно, – ответил ему Мацько, – то и впрямь можно надеяться, что она ещё жива. А когда бы он убил её, так не стал бы щитненский ксёндз рассказывать нам всё то, что слышал и Збышко. И самому свирепому человеку не так-то легко поднять руку на беззащитную женщину, а тем более на невинное дитя.

– Не так-то легко, да только не крестоносцу. А дети князя Витовта?

– Это верно, что сердце у крестоносца волчье, но верно и то, что Зигфрид не убил её в Щитно, он уехал сюда и, может, укрыл её в каком-нибудь замке.

– Эх, кабы взять этот остров и замок!

– Ты только погляди на этих людей, – сказал Мацько.

– Так-то оно так! Но только есть у меня одна мысль, я скажу об этом молодому пану.

– Да будь у тебя их целый десяток, всё едино стен копьями не сокруишь.

Мацько показал при этих словах на лес копий, которыми была вооружена большая часть воинов, и спросил:

– Видал ли ты когда такое войско?

Чех и впрямь отродясь ничего подобного не видывал. Перед ними, продираясь сквозь лесную чащобу, где трудно было держать равнение, подвигалась нестройная толпа воинов. Пешие в этой толпе перемешались со всадниками и, чтобы не отстать от них, держались за седла, за конские хвосты и гривы. На плечи у воинов были наброшены волчьи, рысьи и медвежьи шкуры, на головах торчали то кабаньи клыки, то оленьи рога, то косматые уши, и если бы не лес копий и не осмоленные луки да полные стрел колчаны за спинами – сзади, особенно в тумане, могло показаться, что это целые косяки диких зверей двинулись из лесных дебрей и уходят, гонимые жаждой крови или голодом. Было в этом нечто страшное и в то же время такое необычайное, словно взору открылось вдруг поразительное зрелище, когда, по поверью, срываются и уходят из лесу куда глаза глядят не только дикие звери, но

даже кусты и камни.

Увидев эту картину, один из ленкавицких шляхтичей, прибывших с чехом, подъехал к нему и сказал:

– Во имя Отца и Сына! Ведь мы не с людьми идем, а со стаей настоящих волков.

Хоть Главе самому это было в диковину, однако он ответил как человек бывалый, который видал виды и которого ничем не удивишь:

– Волки только зимой стаями ходят, а кровью крестоносцев можно и весной поживиться.

И в самом деле была уже весна – месяц май! Орешник в лесу покрылся яркой зеленью. Из пушистого, мягкого моха, по которому бесшумно ступали воины, пробивались белые и голубые ветреницы, молоденькие кустики ягод и зубчатые листья папоротника. От деревьев, щедро окропленных обильным дождем, пахло сырой корой, а от опавшей хвои и листвы тянуло прелью. Солнце всеми цветами радуги переливалось в каплях росы, повисших на листьях, и птицы радостно щебетали в вышине.

Збышко торопил людей, и отряд всё быстрее подвигался вперед. Вскоре юноша опять вернулся в хвост отряда, где ехали Мацько, чех и мазурские охотники. Окрыленный надеждой на удачу, он заметно оживился; лицо его утратило обычное грустное выражение, и глаза засверкали былым огнем.

– Ну! – крикнул он. – Нам теперь не в хвосте плестись, а впереди надо скакать.

И он повёл их к голове отряда.

– Послушайте, – продолжал он, – может, мы врасплох нападём на немцев, но если только они спохватятся и успеют построиться, так мы ударим первые, у нас и доспехи покрепче, и мечи получше, чем у жмудинов!

– Так и сделаем! – сказал Мацько.

Одни всадники покрепче уселись в седлах, словно им сейчас же надо было ринуться в бой; другие втянули побольше воздуха в грудь и попробовали, легко ли меч ходит в ножнах.

Збышко ещё раз повторил, что, если среди пеших кнехтов окажутся рыцари или монахи в белых плащах поверх доспехов, не убивать их, а брать в плен, затем снова ускакал к провожатым и через минуту остановил отряд.

Они вышли на дорогу, которая от пристани, расположенной напротив острова, бежала в глубь страны. Это не была настоящая большая дорога, а скорее проселок, недавно проложенный в лесу и настолько уезженный, что по нему с трудом, но всё же могли пройти войска и повозки. По обе стороны высился лес и громоздились срубленные при прокладке стволы старых сосен. Заросли орешника местами были так густы, что совсем закрывали лесные недра. Збышко выбрал место на повороте, чтобы немцы, приближаясь, не могли заметить отряд и не успели ни отступить, ни построиться в боевые порядки. Он расположил людей по обе стороны дороги и приказал ждать врага.

Привычные к лесной войне жмудины так ловко притаились за пнями и вывороченными бурей корневищами, за кустами орешника и купах молодых елочек, точно в землю ушли. Не слышно стало ни человеческих голосов, ни фырканья коней. Порою мимо притаившихся людей пробегал то мелкий, то крупный лесной зверь и, только наткнувшись на них, фыркал в испуге и шарахался в сторону. По временам поднимался ветерок, наполняя лес торжественным, великим шумом, и снова стихал; тогда слышно было только, как кукуют кукушки да долбят поблизости дятлы.

С радостью внимали жмудины всем этим звукам, особенно стуку дятлов, которых они почитали предвестниками счастья. А дятлов в лесу было полным-полно, и отовсюду долетал их стук, настойчивый, быстрый, напоминавший труд человека. Казалось, что не дерево они долбят, а бьют по наковаленкам, что у всякого тут своя кузница и все они с раннего утра усердно принялись за работу. А Мацьку и мазурам представлялось, что это плотники приколачивают стропила на новом доме, – и они вспоминали родную свою сторону.

Но часы текли, а кроме лесного шума и птичьего гомона ничего не было слышно. Туман, одевший землю, успел поредеть, солнце заметно поднялось и стало уже припекать, а воины всё лежали. Наконец Глава, которому наскучили ожидание и тишина, нагнул к уху Збышка и прошептал:

– Милостивый пан... Коли, даст Бог, ни один собачий сын не уйдет живым, нельзя ли нам тогда, подкравшись ночью к острову, переправиться на ту сторону, напасть врасплох на немцев и взять замок?

– Ты думаешь, они лодок не охраняют и пропуска у них нет?

– И лодки они охраняют, и пропуск у них есть, – снова зашептал чех, – но пленники под ножом скажут пропуск, а то и сами окликнут своих по-немецки. Лишь бы до острова добраться, а тогда замок...

Он не кончил, Збышко внезапно зажал ему рукой рот, услышав, как закаркал на дороге ворон.

– Тише! – произнес он. – Это знак!

Спустя несколько минут на дороге показался жмудин на маленьком лохматом коньке, копыта которого были обернуты овчиной, чтобы не слышно было топота и на грязи не оставались следы.

Жмудин быстро озирался по сторонам; услышав из чащи ответное карканье, он нырнул внезапно в лес и через минуту был уже около Збышка.

– Идут!.. – сказал он.

## XIX

Збышко стал поспешно расспрашивать, как немцы идут, сколько у них всадников и сколько пеших кнехтов и, самое главное, далеко ли они ещё от засады. От жмудина он узнал, что в отряде не более полутора человека, из них полсотни всадников, и ведет их не крестоносец, а светский рыцарь, что идут они в строю, а за ними следуют повозки с запасными колесами, что впереди отряда на расстоянии двойного полета стрелы идут восемь человек «охранения», которые часто сворачивают с дороги и обшаривают лесную чащобу, и, наконец, что весь отряд находится в четверти мили от засады.

Збышко огорчился, узнав, что крестоносцы идут в строю. Он по опыту знал, как трудно в таких случаях прорвать сомкнутые ряды немцев и как умело обороняется при отступлении такой отряд, отбиваясь от врага, как окруженный собаками вепрь-одиноц. Зато он обрадовался, узнав, что немцы от них не больше чем в четверти мили, заключив из этого, что высланная им в обход часть отряда уже зашла врагу в тыл и в случае его поражения не выпустит живым ни одного человека. Охранение мало смущало Збышка: он уже отдал приказ своим жмудинам спокойно пропустить его вперед, если же кнехты вздумают углубиться в лес, переловить их потихоньку всех до единого.

Последний приказ оказался лишним. Охранение вскоре подошло к отряду. Жмудины, укрывшиеся за корневищами поближе к дороге, ясно видели, как кнехты остановились на повороте и начали о чём-то переговариваться. Начальник, плотный рыжебородый немец, знаком приказал им замолчать и стал прислушиваться. С минуту он явно колебался, не свернуть ли с дороги в лес, но, услышав только, как долбят дятлы, решил, что, если бы в лесу укрылись люди, птицы не трудились бы с такой беспечностью, и, махнув рукой, повёл отряд дальше.

Збышко выждал, пока немцы не скрылись за следующим поворотом, а затем во главе тяжело вооруженных рыцарей подошел к самой дороге. Среди прочих были тут Мацько, чех, двое шляхтичей из Ленкавицы, три молодых рыцаря из Цеханова и человек двадцать лучше вооруженных жмудских бояр. Укрываться не было больше особой надобности, и Збышко решил при появлении немцев тотчас выдвинуться на середину дороги, броситься на врага и прорвать его ряды. Если бы это удалось и вместо общего сражения завязались отдельные бои, он мог бы быть уверен, что жмудины справятся с немцами.

На минуту снова воцарилась тишина, нарушаемая только обычным лесным шумом. Но вскоре с восточной стороны дороги донесся шум голосов. Сначала смутный и отдаленный, он постепенно приближался и становился всё явственней.

В ту же минуту Збышко вывел свой отряд на середину дороги и построил его клином. Сам он стал во главе отряда, а Мацько и чех непосредственно за ним. В третьем ряду стояло три человека, в следующем – четыре. Все были хорошо вооружены; правда, им недоставало ратовищ, то есть длинных рыцарских копий; но в лесу эти копья были бы большой помехой. Зато в руках у рыцарей для первого натиска были жмудские копья покороче и полегче рыцарских, а для жаркой рукопашной схватки – мечи у седел и секиры.

Глава насторожился и, прислушавшись, шепнул Мацьку:

– Поют, черт бы их побрал!

– Странно мне, почему это лес впереди смыкается, да и их что-то всё ещё не видно, – заметил Мацько.

Збышко, полагая, что дальнейшие предосторожности излишни и можно уже громко разговаривать, повернулся и сказал:

– Это потому, что дорога идет вдоль реки и часто делает повороты. Мы встретимся неожиданно, да оно и лучше.

– А песню поют веселую! – заметил чех.

Немцы и в самом деле пели вовсе не благочестивую песню, это было ясно по напеву. Прислушавшись, можно было определить, что поет всего человек двадцать, а остальные только подхватывают припев, который как гром разносится по лесу.

Так, веселые и жизнерадостные, шли немцы навстречу смерти.

– Скоро мы их увидим, – сказал Мацько.

При этом лицо его потемнело и приняло волчье выражение; неумолим и упорен был он, да и до сих пор ещё не разделался с немцами за ту стрелу, что вонзилась ему в грудь, когда он ехал к магистру с письмом от сестры Витовта.

И теперь всё в нём кипело, и жажда мести владела им.

«Несдобровать тому, кто первый сшибется с ним», – подумал Глава, бросив взгляд на старого рыцаря.

Но тут порыв ветерка явственно донес припев, который немцы повторяли хором: «Тантарадай! Тантарадай!» – и вслед за тем чех услышал знакомую песню[17]:

Bi den rosen, er wol mac, Tantaradei!  
Merken wa mir'z houbet lac...

И вдруг немцы оборвали песню, услышав с обеих сторон такое шумное и громкое карканье, точно в этом уголке леса открыл заседание вороний сейм. Крестоносцы диву дались, откуда взялось здесь столько воронья и почему оно каркает не на вершинах деревьев, а на земле. Как раз в эту минуту первая шеренга кнехтов появилась на повороте дороги и, увидев впереди незнакомых всадников, стала как вкопанная.

В то же самое мгновение Збышко пригнулся в седле и дал шпоры коню:

– Вперед на врага!

Остальные помчались за ним. С обеих сторон леса неся оглушительный клич жмудинов. Около двухсот шагов отделяло отряд Збышка от первой шеренги немцев, которые в мгновение ока наставили навстречу всадникам лес копий, тогда как остальные шеренги с такой же быстротой повернулись лицом направо и налево, чтобы защищаться от нападения с флангов. Польские рыцари удивились бы выучке крестоносцев, если бы у них было время и если бы кони не несли их с бешеной быстротой к направленным на них сверкающим копьям.

По счастливой для Збышка случайности немецкая конница находилась позади своего отряда, при повозках. Правда, она тотчас двинулась на помощь своей пехоте, но не могла ни пробиться сквозь шеренги кнехтов, ни обойти их и тем самым прикрыть от первого натиска. Притом её самое окружила целая орда жмудинов, которые вылетели из зарослей, точно рой рассерженных ос, когда гнездо их заденет ногой неосторожный путник. Тем временем Збышко со своим отрядом ударил на пехоту.

Но удар был безуспешен. Немцы, воткнув в землю острые концы древков своих тяжелых копий и бердышей, держали их так ровно и крепко, что легкие жмудские кони не могли проломить эту стену. Конь Мацька, раненный в цевку, взвился на дыбы, а затем ткнулся мордой в землю. На мгновение смертельная опасность нависла над старым рыцарем; но искушенный воитель, побывавший во всяких переделках,



высвободил ноги из стремян, схватился могучей рукой за острие немецкого копья, которое, вместо того чтобы вонзиться рыцарю в грудь, послужило ему опорой, затем вскочил, скользнул между коней и, обнажив меч, стал рубить копья и бердыши, как хищный кречет, когда он яростно когтит стаю долгоносых журавлей.

Конь Збышка перед самой стеной немцев остановился внезапно на всем скаку и присел на задние ноги; молодой рыцарь оперся на копьё; но копьё переломилось, и он тоже схватился за меч. Чех, самым верным оружием почитавший секиру, метнул её в гущу немцев и на какой-то краткий миг остался безоружным. Один из ленкавицких шляхтичей погиб, другого охватил при этом такой гнев, что он взвыл по-волчьи и, вздыбив окровавленного коня, ринулся очертя голову в самую гущу немцев. Жмудские бояре рубили мечами острия и древки копий, из-за которых выглядывали застывшие от изумления, перекошенные от упорства и ярости лица кнехтов. Но прорвать ряды немцев рыцарям не удалось. Жмудины ударили было на врага с флангов, но тотчас отпрянули, как от ежа. Правда, они тут же бросились на немцев с ещё большим ожесточением, но и на этот раз ничего не добились.

Некоторые из них мгновенно взобрались на придорожные сосны и стали стрелять по кнехтам из луков; начальник немцев заметил это и отдал приказ отступить к своей коннице. Немецкие лучники тоже начали отстреливаться из самострелов, и не один жмудин, укрывшийся в ветвях сосны, пал тогда, как зрелая шишка, на землю и, умирая, рвал руками лесной мох или бился, как рыба, выброшенная на берег. Окруженные со всех сторон, немцы не могли рассчитывать на победу, но они успешно оборонялись и надеялись, что хоть горсточке удастся вырваться из кольца и пробиться назад к реке.

Никому из немцев не пришло в голову сдаться; они сами не щадили пленников и знали, что и им нельзя ждать пощады от народа, который в порыве отчаяния с оружием в руках поднялся на своего врага. И они отступали в молчании, тесным строем, плечом к плечу; то заносая, то опуская копья и бердыши, они в общем смятении рубили, кололи, разили врага из самострелов, всё приближаясь к своей коннице, которая не на живот, а на смерть билась с другим отрядом.

Вдруг произошло нечто неожиданное, что решило участь ожесточенной сечи. Шляхтич из Ленкавицы, которого привела в ярость гибель брата, нагнулся, не слезая с лошади, и поднял с земли его тело, желая, видно, уберечь труп от конских копыт и положить его в укромном месте, чтобы после битвы его легче было найти. Но в ту же минуту новая волна ярости захлестнула его, и, совсем потеряв рассудок, он, вместо того чтобы свернуть с дороги, бросился на кнехтов и швырнул тело брата на острия их копий. Вонзившись в грудь, живот и бедра трупа, копьё согнулось под его тяжестью; не успели кнехты выдернуть их, как безумец, опрокидывая людей, ураганом ринулся в разрыв, образовавшийся между рядами.

Мгновенно десятки рук протянулись к нему, десятки копий пронзили бока его коня; но ряды в это время смешались, и прежде чем строй был восстановлен, один из жмудских бояр, который был поближе, тоже бросился в гущу немцев, за ним ринулись Збышко и чех, и ужасное смятение стало возрастать с каждой минутой. Другие бояре, хватая тела убитых, тоже стали кидать их на острия копий, а с флангов опять нажали жмудины. Стройный отряд заколебался, дрогнул, как дом, в котором треснули стены, раскололся, как дерево под клином, и наконец рассыпался.

Битва в мгновение ока обратилась в резню. В закипевшей свалке немецкие копья и бердыши оказались совершенно бесполезными. Зато клинки конницы со скрежетом рубили головы. Кони напирали на толпу, опрокидывая и топча несчастных кнехтов.

Всадникам легко было рубить сверху, и они разили без отдыха, без передышки. С обеих сторон дороги высыпали всё новые и новые толпы диких воинов в волчьих шкурах и с волчьей жадой крови в груди. Их вой заглушал мольбы о пощаде и стоны умирающих. Победённые бросали оружие; одни пытались скрыться в лесу, другие, притворяясь убитыми, падали наземь, третьи, закрыв глаза, просто замерли на месте, и лица их были бледны как полотно; некоторые молились, а один кнехт, помешавшись, видно, от ужаса, играл на пищалке, улыбаясь и поднимая к небу глаза, пока жмудский воин не разможил ему дубиной голову. Лес перестал шуметь, словно ужаснулся смерти.

Наконец горсть крестоносцев растаяла. Только по временам из кустов долетал отголосок короткой схватки или пронзительный отчаянный крик. Збышко и Мацько, а за ними все всадники, бросились теперь на конницу.

Она ещё оборонялась, построившись в круг, как всегда оборонялись немцы, когда неприятелю удавалось окружить их превосходными силами. Под крестоносцами были хорошие кони, доспехи у них были лучше, чем у пехоты, и дрались они храбро, с удивительным упорством. Среди них не было ни одного рыцаря в белом плаще; отряд состоял преимущественно из среднего и мелкого прусского дворянства, которое по призыву ордена обязано было идти на войну. Кони большей частью были тоже в броне, некоторые в пополах и все с железными налобниками, посередине которых торчал стальной рог. Командовал конницей высокий, стройный рыцарь в темно-голубом панцире и таком же шлеме с опущенным забралом.

Из лесных недр на немцев летел град стрел, которые отскакивали от налобников, панцирей и каленых наплечников. Тесной толпой окружали врагов пешие и конные жмудины; но немцы так ожесточенно оборонялись, так рубили и кололи их длинными мечами, что трупы под конскими копытами кругом усеяли землю. Первые ряды нападавших попытались было отойти, но сзади на них напирала новая толпа, отступить было некуда. Началось смятение. Глаза слепил блеск копий и мечей. Кони стали ржать, кусаться и лягать. Но тут подоспели жмудские бояре, подоспели Збышко, чех и мазуры. Под их могучими ударами конница дрогнула и колыхнулась, как лес под напором ветра, а они, подобно лесорубам, которые валят лес, стали медленно, напрягая все силы в тяжком ратном труде, подвигаться вперед.

Мацько приказал собрать на поле боя длинные немецкие бердыши и, вооружив ими человек тридцать диких воинов, начал пробиваться сквозь толпу к немцам. «Руби коней по ногам!» – крикнул он, протиснувшись к всадникам. Это сразу решило участь боя. Немецкие рыцари не могли достать мечами жмудинов, а тем временем бердыши беспощадно рубили ноги коням. Тогда голубой рыцарь понял, что приходит конец сече и что ему остается только либо прорваться сквозь толпу, преградившую дорогу назад, либо погибнуть.

Он выбрал первое, и по его приказу ряды рыцарей мгновенно повернули назад. Жмудины тотчас надели на них; но немцы, закинув за спину щиты и рубя направо и налево, прорвали окружавшее их кольцо и ураганом понеслись на восток. Навстречу им бросился отряд, который только что подскакал к полю боя; но, смятый лучше вооруженным врагом, у которого были к тому же рослые кони, он в минуту полег, как нива под дуновением бури. Путь к замку был свободен; но спасение представлялось далеким и надежды на него было мало, так как жмудские кони против немецких обладали большей резвостью. Голубой рыцарь прекрасно это понял.

«Беда! – сказал он про себя. – Никто не спасется. Только ценой собственной крови могу я спасти их».

И он крикнул ближайшим крестоносцам, приказывая остановить коней, а сам повернул своего коня кругом и, не глядя, внял ли кто-нибудь его призыву, стал лицом к неприятелю.

Впереди преследователей несея Збышко; немец ударил его по нашлемнику, но не разбил шлема и не поранил лица. Тогда Збышко, вместо того чтобы ответить на удар ударом, схватил рыцаря за стан, сшибся с ним и, желая во что бы то ни стало взять врага живым, попытался стащить его с седла. Но от натуги у него лопнуло стремя, и оба рыцаря свалились на землю. Минуту они катались по земле, колотя друг друга руками и ногами; но вскоре необыкновенно сильный Збышко одолел своего противника и, придавив ему коленями живот, подмял под себя, как волк собаку, которая осмелилась напасть на него в чаще леса.

Впрочем, в этом не было надобности, так как немец лишился чувств. Тем временем подбежали Мацько с чехом, и Збышко, увидев их, закричал:

– Сюда! Вяжите его! Это знатный рыцарь, да к тому же опоясанный!

Чех соскочил с коня, но, увидев, что рыцарь лежит без памяти, не стал его связывать, он только обезоружил его, отстегнул наплечники, снял пояс с висевшей на нём мизерикордией, разрезал подбородные ремни и принялся за винтики, которыми было привинчено забрало.

Но, заглянув рыцарю в лицо, он мгновенно вскочил на ноги с криком:

– Пан, пан, поглядите-ка!

– Де Лорш! – воскликнул Збышко.

А де Лорш лежал недвижим, как труп, с бледным, покрытым потом лицом и закрытыми глазами.

XX

Збышко велел положить его на одну из захваченных повозок, нагруженных новыми колесами и осями для отряда, шедшего на подмогу замку. Сам он пересел на другого коня и вместе с Мацьком пустился в погоню за убегающими немцами. Преследовать их было не особенно трудно: немецкие кони не отличались резвостью, а по размытой весенними дождями дороге бежали и вовсе плохо. На легкой и быстроногой кобылке убитого шляхтича из Ленкавицы Мацько, проскакав с полверсты, обогнал почти всех жмудинов и вскоре настиг первого рейтара. По рыцарскому обычаю, он предложил ему сдаться в плен или вступить в единоборство, но тот, притворясь глухим, даже щит бросил, чтобы облегчить коня, и, пригнувшись к луке, вонзил ему шпоры в бока; тогда старый рыцарь широкой секирой нанес немцу страшный удар между лопаток и свалил его с коня.

Так мстил Мацько убегающим врагам за пущенную в него когда-то предательскую стрелу, а те, как стадо оленей, бежали от него в смертельном страхе, не желая ни биться, ни обороняться, а только прочь уйти от страшного рыцаря. Человек десять немцев свернули в лес; но один увяз у ручья, и жмудины скрутили его веревкой, а за остальными в лесную чащу бросились целые толпы преследователей, и вскоре началась дикая охота, и лес огласился криками, воплями и призывами. Долго ещё отдавались они в его недрах, пока не были переловлены все немцы. После этого старый рыцарь из Богданца вернулся со Збышком и чехом на прежнее поле боя, где

лежали зарубленные пешие кнехты. Трупы их были раздеты донага, а некоторые страшно изуродованы мстительными жмудинами. Была одержана крупная победа, и народ ликовал. После последнего поражения Скирвойло под Готтесвердером в душу народа стало закрадываться сомнение, тем более что обещанная Витовтом подмога всё ещё не подходила; теперь же вновь ожила надежда и вновь разгорелись сердца, словно пламя, когда в огонь подбросишь дров.

Убитых жмудинов и немцев было слишком много, чтобы их хоронить, и Збышко велел вырыть копьями могилы только для двух шляхтичей из Ленкавицы, главных виновников победы, и похоронить их под соснами, на стволах которых он вырубил мечом кресты. Затем он приказал чеху приглядывать за господином де Лоршем, который всё ещё не приходил в чувство, а сам поспешно повёл людей тем же путем к Скирвойлу, чтобы в случае необходимости прийти ему на подмогу.

После долгого перехода они вышли на пустое поле сражения, усеянное трупами жмудинов и немцев. Збышко сразу понял, что грозный Скирвойло тоже одержал большую победу; если бы он был разбит, они на пути к замку встретили бы немцев. Но, видно, ценой больших потерь досталась Скирвойлу эта победа: даже за пределами поля боя земля была усеяна трупами. Опытный Мацько заключил из этого, что части немцев удалось спастись бегством.

Трудно было сказать, преследовал ли их Скирвойло, следы были плохо видны и затоптаны. Мацько всё же пришел к выводу, что сражение разыгралось довольно давно, быть может даже раньше, чем у Збышка, так как трупы уже почернели и распухли, а некоторые были изъедены волками, которые при приближении вооруженных людей убегали в лесную чащу.

Збышко решил не ждать Скирвойла и вернуться в старый надежный лагерь. Прибыв поздней ночью, он нашел уже в лагере жмудского полководца, который приехал немного раньше. Обычно угрюмое лицо его сияло теперь злой радостью. Он тотчас же стал расспрашивать про битву и, узнав о победе, сказал голосом, похожим на карканье ворона:

– Я тобой доволен и собой доволен. Подмога придет не скоро, а если великий князь прибудет, он тоже обрадуется, потому что замок будет наш.

– Кого ты захватил из пленников? – спросил Збышко.

– Так, плотва, ни одной щуки. Была одна, нет, две, да обе ушли. Зубастые щуки! Нарубили людей и ушли!

– А мне Бог послал одного пленника. Богатый и славный рыцарь, хоть и светский, гость крестоносцев!

Страшный жмудин охватил руками шею, как петлей, затем правой сделал движение вверх, как бы показывая веревку.

– Вот что ему будет! – проговорил он. – Как и прочим... Да.

Но Збышко нахмурил брови.

– Не будет ему ничего такого, он мой пленник и друг. Князь Януш вместе нас опоясывал, и я его пальцем не дам тронуть.

– Не дашь?

– Не дам.

И они, насупя брови, впились друг в друга глазами. Казалось, оба сейчас взорвутся, но Збышко не хотел ссориться со старым полководцем, которого он ценил и уважал, к тому же молодой рыцарь был одушевлен событиями, происшедшими в этот день; обняв вдруг Скирвойло за шею, он прижал его к груди.

– Неужто, – воскликнул он, – ты хочешь отнять его у меня, а с ним и последнюю надежду? За что ты меня обижаешь?

Скирвойло не вырывался из объятий, он только высвободил голову из рук Збышка, поглядел на него исподлобья и запыхтел.

– Ну, – сказал он, помолчав с минуту времени, – завтра я прикажу повесить моих пленников, но коли кто из них тебе нужен, так я и его подарю тебе.

Затем они снова обнялись и, к великому удовольствию Мацька, разошлись в мире.

– Бранью от этого жмудина, видно, ничего не добьешься, – сказал старый рыцарь, – а лаской из него веревки можно вить.

– Такой уж это народ, – ответил Збышко, – только немцы про то не знают.

И он велел привести к костру господина де Лорша, отдохавшего в шалаше. Вскоре чех привел де Лорша, безоружного, без шлема, в одном кожаном кафтане, на котором отпечатались полосы от панциря, и в мягкой красной шапочке. Де Лорш знал уже от оруженосца, к кому он попал в плен, и потому явился холодный и надменный, на лице его при свете пламени читались упорство и презрение.

– Благодарю Бога, – сказал ему Збышко, – что ты попал в мои руки, у меня тебе не грозит опасность.

И он дружески протянул ему руку, но де Лорш даже не шевельнулся.

– Я не подаю руки рыцарям, которые позорят рыцарскую честь, сражаясь с сарацинами против христиан.

Один из присутствующих Мазуров перевел его слова, смысл которых был ясен Збышку и без этого. В первую минуту молодой рыцарь вскипел.

– Глупец! – крикнул он, безотчетно хватаясь за рукоять мизерикордии.

Де Лорш поднял голову.

– Убей меня, – сказал он, – я знаю, что вы не щадите пленников.

– А вы их щадите? – не выдержал мазур. – Разве это не вы повесили на берегу острова всех, кого прошлый раз захватили в бою? Потому-то Скирвойло и вешает ваших.

– Мы их повесили, – ответил де Лорш, – но это были язычники.

Однако в его ответе чувствовалось смущение, и нетрудно было догадаться, что в душе он не одобряет подобных действий.

Збышко меж тем поостыл и сказал с суровым спокойствием:

– Де Лорш! Из одних рук получили мы пояса и шпоры, ты меня знаешь, и мне не надо говорить тебе, что рыцарская честь дороже для меня жизни и счастья. Так послушай же, что я скажу тебе, поклявшись в том Георгием Победоносцем: многие из этих людей давно уже приняли крещение, а кто не стал ещё христианином, простирает руки ко кресту как к вечному спасению. Но знаешь ли ты, кто ставит язычникам препоны на пути к спасению, кто не дает им креститься?

Мазур тотчас перевел слова Збышка, и де Лорш устремил на молодого рыцаря вопросительный взгляд.

– Немцы! – сказал Збышко.

– Не может быть! – воскликнул гельдернский рыцарь.

– Клянусь копьем и шпорами Георгия Победоносца, немцы! Когда бы здесь восторжествовала вера Христова, у них не было бы предлога для набегов, для захвата этой земли и угнетения этого несчастного народа. Ты ведь постигнул немцев, де Лорш, и лучше других знаешь, справедливо ли они поступают.

– Но я полагал, что, сражаясь с язычниками и склоняя их к святому крещению, они искупают свои грехи.

– Они крестят их мечом и кровью, а не водою спасения. Прочти это послание, и ты сразу поймешь, что это ты служишь этим обидчикам и хищникам, этому порождению ада, против христианской веры и любви.

С этими словами он протянул де Лоршу послание жмудинов к королям и князьям, которое разошлось по всему свету; де Лорш, взяв его, начал при свете костра пробегать глазами текст.

Он быстро прочел послание, ибо ему не чуждо было трудное искусство чтения.

– Неужели всё это правда? – спросил он вне себя от удивления.

– Клянусь Богом, который видит, что я служу здесь не только своему делу, но и справедливости.

Де Лорш умолк на минуту, а затем сказал:

– Я твой пленник.

– Дай руку, – произнес Збышко. – Ты не пленник мой, а брат.

Они протянули друг другу руки и сели за общий ужин, который чех велел приготовить слугам. Во время ужина де Лорш, к ещё большему своему удивлению, узнал, что, невзирая на письма магистра, Збышко не нашел Дануси и что комтуры, ссылаясь на вспыхнувшую войну, признали недействительными его охранные грамоты.

– Теперь я понимаю, почему ты здесь, – сказал Збышку де Лорш, – и благодарю Бога

за то, что он предал меня в твои руки: в обмен на меня рыцари ордена отдадут тебе кого только ты пожелаешь, иначе на Западе поднимется большой шум, а я ведь происхожу из знатного рода..

Тут он хлопнул вдруг себя рукой по шапочке и воскликнул:

– Клянусь всеми реликвиями Аквисграна, что во главе подмоги, которая шла в Готтесвердер, были Арнольд фон Баден и старый Зигфрид де Лёве! Мы знаем это из писем, присланных в замок. Неужели вы не взяли их в плен?

– Нет! – крикнул, вскакивая, Збышко. – Мы не взяли в плен ни одного знатного рыцаря! Но, Боже мой, ты рассказал мне важную новость! Есть ведь другие пленники, от которых я могу узнать, прежде чем их повесят, не было ли при Зигфриде какой-нибудь женщины.

И, кликнув слуг, он велел им захватить горящую лучину и бросился с ними туда, где находились взятые Скирвойлом пленники. Де Лорш, Мацько и чех последовали за ним.

– Послушай! – говорил ему по дороге гельдернец. – Ты отпустишь меня на слово, и я буду искать Данусю по всей Пруссии, а когда найду её, то вернусь к тебе, и тогда ты обменяешь меня на нее.

– Если только она жива, если только жива!.. – ответил Збышко.

Они подбежали к взятым Скирвойлом пленникам. Одни из них лежали навзничь, другие стояли под деревьями, крепко привязанные льком к стволам. Лучина ярко освещала голову Збышка, и все взоры обратились к нему.

Вдруг из глубины раздался чей-то громкий, полный ужаса голос:

– Господин мой и покровитель, спаси меня!

Збышко выхватил из рук слуги несколько пылающих щепок, бросился с ними к дереву, откуда донесся голос, и, подняв их вверх, воскликнул:

– Сандерус!

– Сандерус! – повторил в изумлении чех.

А тот не мог пошевелить связанными руками, только вытянул шею и снова закричал:

– Милосердия!.. Я знаю, где дочка Юранда!.. Спасите!

XXI

Слуги тотчас развязали Сандеруса, но члены его онемели, и он повалился на землю; всякий раз, когда они снова пытались поднять его, он терял сознание, так как был жестоко избит. Хотя Збышко распорядился подвести его к костру, накормить и напоить, натереть салом и хорошенько укрыть шкурами, однако Сандерус никак не мог опомниться, а потом погрузился в такой глубокий сон, что чех с трудом добудился его только к полудню следующего дня.

Сжигаемый нетерпением, Збышко тотчас пришел к Сандерусу. Однако сначала молодой

рыцарь ничего не мог от него добиться. От пережитого ли страха или от чувства облегчения, которое всегда охватывает слабые души, когда минует опасность, Сандерус залился такими слезами, что слова не мог сказать Збышку. Горло его сжималось от рыданий, а из глаз лились такие ручьи слез, как будто вместе с ними должна была уйти из него и сама жизнь.

Овладев наконец собою и подкрепившись кумысом, пить который литвины научились у татар, Сандерус стал жаловаться на «сынов Велиала», которые так избили его копьями, что живого места не осталось, отняли у него лошадь, на которой он вез свои бесценные чудодейственные святыни, а потом привязали к дереву, и муравьи так искусили ему ноги и всё тело; что не сегодня-завтра его ждет конец.

Но Збышко, выйдя из себя, вскочил и сказал:

– Отвечай, бродяга, а то смотри, как бы хуже не было!

– Тут недалеко муравейник красных муравьев, – вмешался чех. – Прикажете, пан, положить его туда, небось язык у него сразу развяжется.

Глава сказал это в шутку и даже улыбнулся при этом, он в душе был расположен к Сандерусу, но тот в ужасе завопил:

– Смилуйтесь! Смилуйтесь! Дайте мне ещё этого языческого напитка, и я расскажу вам всё, что видел и чего не видел!

– Попробуй только соврать, я тебе клин в зубы вобью! – посулил ему чех.

Тем не менее он снова поднес ко рту Сандеруса бурдюк с кумысом; тот схватил бурдюк и, жадно припав к нему губами, как младенец к материнской груди, стал сосать кумыс, то открывая, то закрывая при этом глаза. Высосав таким образом около двух кварт, а то и побольше, он встряхнулся, опустил бурдюк на колени и, как бы подчиняясь необходимости, сказал:

– Мерзость!..

И тотчас же обратился к Збышку:

– А теперь спрашивай, спаситель!

– Была ли моя жена в отряде, с которым ты шел?

На лице Сандеруса изобразилось удивление. Правда, он слышал, что Дануся – жена Збышка, но обвенчалась она со Збышком тайно и её тотчас похитили, поэтому Сандерус всегда представлял её себе только как дочь Юранда.

Однако он торопливо ответил:

– Да, воевода, была! Но Зигфрид де Лёве и Арнольд фон Баден пробились сквозь неприятельские ряды.

– Ты её видел? – с бьющимся сердцем спросил Збышко.

– Лица её я, господин, не видел; видел только крытые ивовые носилки, притороченные к седлам между двумя конями, на носилках кого-то везли, а стерегла



их та самая змея, та самая послушница, которая приезжала от Данфельда в лесной дом. Я слышал жалобную песню, долетавшую из носилок...

Збышко побледнел от волнения; он присел на пень и с минуту не знал, о чём же ещё спрашивать. Услышав эту важную весть, Мацько и чех тоже ужасно взволновались. Чех, может, вспомнил при этом о своей дорогой госпоже, оставшейся в Спыхове, для которой эта весть была приговором судьбы.

На минуту воцарилось молчание.

Наконец хитрый Мацько, который не знал Сандеруса и слышал о нём только мельком, подозрительно взглянул на него и спросил:

– Кто ты такой и что ты делал у крестonosцев?

– Кто я такой, вельможный рыцарь, – ответил бродяга, – пусть скажут вам этот доблестный князь, – он указал при этом на Збышка, – и этот мужественный чешский граф, которые давно меня знают.

Видно, кумыс начал на него действовать – Сандерус оживился и, обратившись к Збышку, заговорил громким голосом, в котором не осталось и следа недавней слабости:

– Господин, вы дважды спасли мне жизнь. Без вас меня съели бы волки либо постигла кара, ибо враги мои ввели в заблуждение епископов (о, как низок этот мир!), и те повелели преследовать меня за продажу святынь, в подлинности которых они усомнились. Но ты, господин, приютил меня, благодаря тебе и волки меня не сожрали, и карающая рука не настигла, ибо меня принимали за твоего слугу. У тебя я не знал недостатка ни в пище, ни в питье, которое было получше этого вот кумыса. Противен он мне, но я выпью его ещё, дабы доказать, что убогого и благочестивого пилигрима не устрашат никакие лишения.

– Говори скорее, скоморох, что знаешь, и не валяй дурака! – воскликнул Мацько.

Но Сандерус снова поднес ко рту бурдюк, осушил его до дна и, сделав вид, что не слышит слов Мацька, снова обратился к Збышку:

– За это я и полюбил тебя, господин. Святые, как гласит писание, девять раз в час согрешали, так что и Сандерусу случается иной раз согрешить, но Сандерус никогда не был и не будет неблагодарным. И вот когда над тобою стряслось несчастье, помнишь, господин, что я тебе сказал: пойду я от замка к замку и, поучая по дороге людей, буду искать ту, которую ты потерял. Кого я только не спрашивал! Где я только не побывал! Долго пришлось бы об этом рассказывать. Одно скажу: я нашел её и с той минуты, как репей к епанче, привязался к старому Зигфриду. Я стал его слугой и неотступно следовал за ним из замка в замок, из комтурии в комтурию, из города в город – и так до самой последней битвы.

Збышко тем временем совладал с собою.

– Спасибо тебе, – сказал он, – ждёт тебя награда. Но теперь ответь мне только: поклянешься ли ты спасением души, что она жива?

– Клянусь спасением души! – серьёзно произнес Сандерус.

– Почему Зигфрид уехал из Щитно?

– Не знаю, господин, только догадываюсь: он никогда не был в Щитно комтуром и уехал, опасаясь, должно быть, магистра, который, как говорили, писал ему, чтобы он отдал невольницу княгине мазовецкой. Может, он бежал из-за этого письма, ведь душа его ожесточилась от горя и желания отомстить за Ротгера. Толкуют, будто это был его сын. Не знаю, как оно было, знаю только, что от злобы Зигфрид повредился в уме и, пока жив, не выпустит из рук дочки Юранда, простите, я хотел сказать: молодой госпожи.

– Удивительно мне всё это, – вдруг прервал его Мацько. – Коли этот старый пёс так ожесточился против Юранда и его кровных, так он убил бы Дануську.

– Он и хотел это сделать, – ответил Сандерус, – да с ним стряслось что-то неладное, он от этого потом тяжело хворал, чуть Богу душу не отдал. Его люди все об этом шепчутся. Одни говорят, будто он шел ночью к башне, чтобы убить молодую госпожу, и встретил злого духа, а другие болтают, будто ангела. Как бы то ни было, но его нашли на снегу около башни без памяти. Даже теперь, когда он вспомнит об этом, волосы у него встают дыбом, потому-то он и сам не смеет поднять на нее руку, и другим боится приказать. Он возит с собой немого старого щитненского палача, кто его знает зачем, тот ведь тоже боится, как и все.

Слова эти произвели на присутствующих большое впечатление. Збышко, Мацько и чех приблизились к Сандерусу, а тот, осенив себя крестом, продолжал:

– Неладно у них. Не раз слышал и видал я такое, что мурашки бегали у меня по спине. Я уже говорил вам, что старый комтур повредился в уме. Да и как же ему было не повредиться, коли к нему духи являются с того света? Стоит ему только остаться одному, как около него кто-то начинает тяжело дышать, точно воздуха ему не хватает. Это Данфельд, которого убил грозный рыцарь из Спыхова. Тогда Зигфрид говорит ему: «Чего тебе? Обедни тебе ни к чему, зачем же ты приходишь?» А тот только зубами заскрежещет и опять задыхается. Но ещё чаще приходит Ротгер, после которого в комнате тоже пахнет серой; с ним комтур ещё дольше разговаривает: «Не могу, говорит, не могу! Вот когда сам приду, а сейчас не могу!» Слышал я, как он спрашивал: «Неужели тебе станет легче от этого, сынок?» И так всё время. А бывает и так, что за два-три дня он слова не обронит, и на лице у него страшное горе написано. И он сам, и послушница зорко стерегут эти носилки, так что молодую госпожу никто не может увидеть.

– Они её не мучат? – глухо спросил Збышко.

– Положа руку на сердце, скажу вам, ваша милость, что ни ударов, ни криков я не слышал, но песню жалобную слышал, а порой будто стон пташки...

– Горе мне! – стиснув зубы, произнес Збышко.

Но Мацько прервал дальнейшие расспросы.

– Довольно говорить об этом, – сказал он. – Рассказывай теперь про битву. Ты видал? Как же они убежали и что с ними случилось?

– Видал, – ответил Сандерус, – и всё расскажу, как было. Сперва они упорно бились, но как смекнули, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы вырваться. И рыцарь Арнольд – он сущий великан – первым прорвал кольцо и так

расчистил путь, что с ним пробился и старый комтур со слугами и носилками, которые были приторочены к седлам между двумя конями.

– Да разве за ними не было погони? Как же их не догнали?

– Была погоня, да ничего не могла поделаться: только подъедут воины поближе, а рыцарь Арнольд повернется и давай рубить. Не приведи Бог драться с ним, это человек такой страшной силы, что ему ничего не стоит принять бой хоть с сотней врагов. Трижды он так повертывался и трижды останавливал погоню. Люди его погибли все до единого. Он и сам, сдается мне, был ранен, и коня его ранили, а всё-таки спасся; с ним успел бежать и старый комтур.

Слушая этот рассказ, Мацько подумал, что Сандерус говорит правду, особенно когда вспомнил, что, начиная с того места, где Скирвойло бился с немцами, дорога на большом протяжении была усеяна трупами жмудинов, изрубленных так страшно, точно разила их рука великана.

– Как же ты, однако, мог всё это видеть? – спросил Мацько Сандеруса.

– А вот как я всё это видел, – ответил бродяга, – ухватился я за хвост одного из коней, что везли носилки, и бежал вместе с ними, покуда не дал мне конь копытом в брюхо. Тут я обеспамятел и потому попал в ваши руки.

– Пожалуй, так оно и было, – сказал Глава, – но ты смотри мне не ври, а то как бы худо не было.

– И след ещё виден, – ответил Сандерус, – кто хочет, может поглядеть, но лучше поверить на слово, чем быть осужденным за маловерие.

– Да коли ты иной раз и скажешь нечаянно правду, всё равно быть тебе в аду за то, что торгуешь святынями.

И по старой привычке чех с Сандерусом начали в шутку препираться, однако Збышко прервал их.

– Ты проходил по тем местам, стало быть, знаешь их. Какие там поблизости замки и где, по-твоему, могли укрыться Зигфрид и Арнольд?

– Замков там поблизости нет никаких, одна пуца кругом, через которую недавно прорубили дорогу. Деревень и селений тоже нету, что было, немцы сами пожгли, потому как началась война, так и тамошний люд, – а живет там то же племя, что и здесь, – поднялся против владычества крестоносцев. Думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд скитаются теперь по лесу, они попытаются воротиться назад либо пробраться тайком в ту крепость, куда шли мы перед этой злосчастной битвой.

– Так оно, верно, и есть! – сказал Збышко.

И глубоко задумался. По нахмуренным бровям и сосредоточенному лицу видно было, как напряженно он что-то обдумывает, однако длилось это недолго. Через минуту он поднял голову и приказал:

– Глава! Готовь коней и слуг, мы сейчас же трогаемся в путь.

Оруженосец, который не привык спрашивать, почему отдается приказ, поднялся с

места и, не говоря ни слова, побежал к коням, зато Мацько вытаращил на племянника глаза и спросил в изумлении:

– Куда же это ты, Збышко? А?.. Как же так?..

Но Збышко на вопрос ответил вопросом:

– А вы как думаете? Разве это не долг мой?

Старый рыцарь умолк. Лицо его постепенно приняло прежнее выражение. Он покачал головой, глубоко вздохнул и сказал, как бы отвечая самому себе:

– Оно конечно... ничего не поделаешь!

И тоже пошел к коням. Збышко обратился к господину де Лоршу и через мазура, изъяснявшегося по-немецки, сказал ему:

– Не могу я просить тебя помочь мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем, ты свободен и можешь ехать, куда тебе вздумается.

– Не годится мне идти против рыцарской чести и помогать тебе сейчас мечом, – ответил де Лорш, – но и вольным почесть себя я не могу. Я остаюсь твоим пленником на слово и явлюсь по твоему зову, куда ты велишь. Если что случится, помни, что орден отдаст за меня любого невольника, ибо род мой не только знатен, но и имеет заслуги перед крестоносцами.

Они простились, положив, по обычаю, друг другу руки на плечи и поцеловав друг друга в щеки.

– Я поеду в Мальборк либо к мазовецкому двору, – сказал при этом де Лорш, – так что ты найдешь меня если не в Мальборке, то у князя Януша. Пусть твой посланец скажет только два слова: Лотарингия – Гельдерн!

– Ладно, – ответил Збышко. – Я зайду ещё к Скирвойлу, чтобы он дал тебе знак, который чтят жмудины.

И он отправился к Скирвойлу. Старый полководец дал знак и не стал чинить препятствий к отъезду де Лорша, он знал обо всём, любил Збышка, был ему благодарен за последнюю битву и к тому же не имел никакого права задерживать иноземного рыцаря, который прибыл сюда по доброй воле. Поблагодарив Збышка за большую услугу, которую он ему оказал, Скирвойло снабдил его припасами, которые могли пригодиться в опустошенной стране, и простился с молодым рыцарем, выразив надежду, что они ещё раз встретятся в большой и решительной схватке с крестоносцами.

Збышко торопился, он был как в лихорадке. Вернувшись к себе, он застал всех в боевой готовности и дядю Мацьку уже на коне, в кольчуге и шлеме.

– Так и вы со мной? – спросил он, подойдя к дяде.

– А что же мне остается делать? – проворчал Мацько.

Збышко ничего не ответил, только поцеловал железную перчатку Мацьку, затем вскочил на коня, и все тронулись.

Сандерус ехал с ними. До поля битвы все хорошо знали дорогу, а дальше провожатым должен был служить продавец реликвий. Збышко надеялся, кроме того, что местные крестьяне, если только удастся их встретить, из ненависти к крестоносцам, своим владыкам, помогут им выследить старого комтура и Арнольда фон Бадена, о нечеловеческой силе которого столько рассказывал Сандерус.

## XXII

До поля битвы, где Скирвойло порубил немцев, дорога была знакомая и потому нетрудная. Быстро добравшись туда, путники торопливо миновали поле, где от непогребенных тел шел невыносимый смрад. Спугнув по дороге не только волков, но и тучи воронья и галок, они принялись искать на земле следы. Хотя перед этим тут прошел целый отряд, опытный Мацько легко различил на затоптанной земле отпечатки огромных копыт, идущие в обратном направлении.

– Счастье, что после боя не было дождя, – стал объяснять он молодежи, менее знакомой с военным делом. – Посмотрите-ка: конь Арнольда нес рыцаря-великана и сам должен был быть рослым. Когда он, убегая от погони, мчался вскачь, то, ясное дело, сильнее бил копытами об землю, чем едучи шагом на поле боя, потому и следы в земле остались поглубже. Гляди глазами, вишь, как на сырых местах видны следы подков! Даст Бог, мы выследим этих собак, только бы они не нашли приюта в стенах какого-нибудь замка.

– Сандерус говорил, – сказал Збышко, – что тут нет поблизости замков, – так оно, верно, и есть, ведь крестоносцы недавно захватили этот край и не успели ещё настроить тут замков. Куда же им спрятаться? Мужики, которые жили тут, теперь в лагере у Скирвойла, они того же племени, что и жмудины. Деревни, как говорил Сандерус, сами же немцы пожгли, а бабы с детьми укрылись в лесных делянках. Коли не жалеть коней, так мы их догоним.

– Коней надо жалеть: коли счастливо всё обойдется, так потом всё равно только в них наше спасение, – сказал Мацько.

– Рыцаря Арнольда, – вмешался в разговор Сандерус, – кто-то в битве ударил кистенем по спине. Он не поглядел на это и по-прежнему бился и разил жмудинов; но потом его должно было разобрать, так всегда бывает: сначала ничего, а потом болит. Не могут они поэтому скакать во весь дух, может, им и на отдых придется останавливаться.

– Ты говорил, что людей с ними нет? – спросил Мацько.

– Двое везут носилки, притороченные к седлам, а кроме них, только Арнольд да старый комтур. Было ещё много, да жмудины догнали тех и поубивали.

– Мы вот как сделаем, – сказал Збышко, – людей при носилках свяжут наши слуги, вы, дядя, схватите старого Зигфрида, а я Арнольда.

– Ну, с Зигфридом я как-нибудь справлюсь, – ответил Мацько, – есть ещё, слава Богу, сила в костях. Но ты на себя не очень-то надейся: Арнольд, верно, сущий великан.

– Эка невидаль! Поглядим! – сказал Збышко.

– Силен-то ты силен, не спорю, но есть и покрепче тебя. Или ты забыл наших

рыцарей, которых мы видали в Кракове? Да разве тебе справиться с Повалой из Тачева? А с паном Пашком Злодзеем из Бискупиц? О Завише Чарном я и не говорю. Ты не очень-то нос дери, хвались, да назад оглянись.

– Ротгер тоже был силач, – пробормотал Збышко.

– А для меня найдется работа? – спросил чех.

Ответа не последовало, Мацько был занят другими мыслями.

– Коли Бог благословит, – сказал он, – так нам бы потом только до мазовецких лесов добраться! Там мы будем в безопасности, и всё кончится раз навсегда.

Но через минуту он вздохнул, подумав, наверно, что и тогда не всё ещё кончится, надо ведь будет что-то делать с бедной Ягенкой.

– Эх! – пробормотал он. – Пути господни неисповедимы. Часто думаю я о том, почему не судил тебе Бог спокойно жениться, а мне спокойно жить при вас... Так ведь оно чаще всего бывает, и из всей шляхты нашего королевства одни мы бродим по чужим сторонам, по дремучим борам, вместо того чтоб хозяйничать, как Бог велит, дома.

– Это верно, но на всё воля Божья! – ответил Збышко.

Некоторое время они ехали в молчании, затем старый рыцарь снова обратился к племяннику:

– Ты веришь этому бродяге? Кто он такой?

– Пустой, а может, и дрянной человечиска, но ко мне очень привязан, не боюсь я, не предаст он меня.

– Коли так, пускай едет вперед; догонит крестоносцев, они его не испугаются. Скажет, из неволи бежал, они ему легко поверят. Так будет лучше, а то как завидят они нас издали, либо затаиться успеют, либо подготовятся к обороне.

– Он трус и ночью один вперед не поедет, – ответил Збышко, – но днем, наверно, не побоится, так и впрямь будет лучше. Я ему велю три раза на дню останавливаться и поджидать нас, а коли мы не найдем его на стоянке, так это будет знак, что он уже с ними, тогда мы поедем по его следам и неожиданно нападем на них.

– А он не упредит их?

– Нет. Я ему больше по душе, чем они. Надо Сандерусу сказать, что мы и его свяжем, как нападем на немцев, чтоб ему потом не опасаться их мести. Пускай притворится, будто вовсе нас и не знает...

– Так ты думаешь захватить их живыми?

– А как же быть-то? – озабоченно сказал Збышко. – Будь это в Мазовии или у нас где-нибудь, так мы бы вызвали их на бой, как я вызвал Ротгера, и дрались бы с ними насмерть; но тут, на их земле, это дело немыслимое... Нам Данусю надо спасать, и медлить нельзя. С ними мигом надо справиться да втихомолку, чтоб беды

не нажать, а потом, как вы говорили, скакать во весь опор в мазовецкие леса. Коли мы нападём на них врасплох, так они, может, будут без доспехов, а то и без мечей! Как же их тогда убивать? Страхуюсь я позора! Оба мы теперь опоясанные рыцари, да и они...

– Это верно! – сказал Мацько. – Но, может, всё-таки придется драться.

Збышко нахмурил брови, и лицо его приняло выражение той суровой непреклонности, которая была, видно, присуща всем мужам из Богданца, потому что в эту минуту он стал так похож на Мацька, особенно выражением глаз, точно был родным его сыном.

– Чего бы я хотел, – глухо сказал он, – так это бросить этого кровавого пса Зигфрида к ногам Юранда! Дай-то Бог!

– Дай Бог, дай Бог! – тотчас повторил Мацько.

Они долго ехали, беседуя таким образом; ночь уже спустилась безлунная, но ясная. Надо было сделать привал, дать отдохнуть коням, подкрепиться самим и поспать. Перед отходом ко сну Збышко предупредил Сандеруса, что завтра ему придется ехать вперед одному, на что тот охотно согласился, выговорив себе только право в случае нападения зверей или местных жителей бежать назад к отряду. Кроме того, он попросил позволения останавливаться не три, а четыре раза, так как в одиночестве ему всегда жутко даже в христианских странах, что же говорить о таком дремучем и страшном лесе, как этот.

Расположившись на ночлег и подкрепившись, все улеглись на шкурах у небольшого костра, разложенного за вывороченным корневищем в полусотне шагов от дороги. Покормив коней, которые повалились по траве и дремали теперь, положив друг другу головы на шеи, слуги по очереди стерегли их. Не успели, однако, первые лучи дня посеребрить деревья, как Збышко поднялся и разбудил всех; с рассветом снова тронулись в путь. Отряду опять легко удалось обнаружить следы огромных копыт коня Арнольда; хотя места были низкие, болотистые, но стояла засуха, и следы ясно отпечатались в подсохшем грунте. Сандерус поехал вперед и скрылся из глаз; однако, когда солнце поднялось на полпути между восходом и полуднем, отряд нашел его на стоянке. Сандерус рассказал, что не встретил ни живой души, кроме огромного тура, от которого, однако, не стал убегать, потому что зверь первый уступил ему дорогу. Зато в полдень, когда все сели в первый раз подкрепиться, Сандерус сказал, что видел бортника с лазевом, но не задержал его, опасаясь, что в глубине леса могут быть ещё другие мужики. Он попытался расспросить бортника, но они так и не поняли друг друга.

Когда отряд двинулся дальше, Збышком начала овладевать тревога. Что, если они окажутся в местах повыше и посуше и на дороге исчезнут следы, по которым они сейчас идут? А вдруг придется долго преследовать крестоносцев и отряд попадет в места более населенные, где жители издавна привыкли повиноваться ордену? Тогда напасть на немцев и освободить Данусю будет просто невыносимо – если Зигфрид и Арнольд даже не укроются в стенах какого-нибудь замка или городка, местные жители, несомненно, возьмут их под защиту.

К счастью, опасения оказались напрасными: на следующей стоянке отряд в условленное время не нашел Сандеруса на месте, зато на придорожной сосне обнаружил большую зарубку в форме креста, совсем, видно, свежую. Все переглянулись, лица воинов посуровели, чаще забились сердца. Мацько и Збышко тотчас соскочили с коней, чтобы проверить следы на земле; искать пришлось

недолго, оба сразу напали на них.

Сандерус, видно, свернул с дороги в бор, следуя за отпечатками огромных копыт, не такими глубокими, как на дороге, но тоже довольно явственными; грунт здесь был торфянистый, и тяжелый конь за каждым шагом вдавливал в землю хвою подковными шипами, от которых оставались черные по краям ямки.

От острого глаза Збышка не укрылись и другие следы; он сел на коня, Мацько последовал его примеру, и они стали совещаться с чехом, понизив голоса до шепота, точно враг был уже рядом.

Чех советовал идти пешком, но рыцари, не зная, далеко ли придется пробираться лесом, не согласились. Пешком должны были пойти вперед только слуги, чтобы, обнаружив врага, дать знать об этом своим.

Вскоре отряд свернул в лес. Обнаружив зарубку на другой сосне, все убедились, что след Сандеруса не потерян. А спустя немного времени отряд выехал на дорожку, вернее, на лесную тропинку, протоптанную людьми. Теперь все были уверены, что выедут к какой-нибудь лесной деревушке и найдут там крестоносцев.

Солнце уже стало клониться к закату и золотом сияло в просветах между деревьями. Вечер обещал быть ясным. В лесу стояла тишина, звери и птицы собирались уже на покой. Лишь местами в залитых солнцем ветвях мелькали белки, огненные в зареве заката. Збышко и Мацько с чехом и слугами ехали гуськом друг за другом. Зная, что пешие слуги ушли далеко вперед и вовремя предупредят их, старый рыцарь говорил с племянником, почти не понижая голоса.

– Поглядим по солнцу, – сказал он. – От последней стоянки до места, на котором была зарубка, мы вон уж сколько проехали. На краковских часах было бы около трех... Выходит, Сандерус уже давно догнал крестоносцев и успел рассказать им свои приключения. Только бы он не предал нас.

– Не предаст, – ответил Збышко.

– И только бы они ему поверили, – закончил Мацько, – не поверят – парню тогда несдобровать.

– Отчего же им не поверить? Разве они слышали про нас? А его всё-таки знают. Пленники часто бегут из неволи.

– Я чего боюсь: скажет он им, что из неволи бежал, а они, испугавшись погони, возьмут да сразу и снимутся.

– Нет. Он сумеет заговорить им зубы. Да и они подумают, что никто не станет так далеко гнаться за ними.

Некоторое время они молчали; вдруг Мацьку показалось, что Збышко что-то шепчет ему, он повернулся и спросил:

– Что ты говоришь?

Но глаза Збышка были устремлены к небу, и не к дяде он обращался, а к Богу, поручая ему Данусю и молясь за свое смелое дело.



Мацько тоже хотел перекреститься, но не успел он сотворить крест, как из зарослей орешника вынырнул один из посланных вперед слуг.

– Смолокурня! – произнес он. – Здесь они!

– Стой! – шепнул Збышко и мгновенно соскочил с коня.

Вслед за ним соскочили с коней Мацько, чех и слуги. Трое из них получили приказ оставаться с конями и держать их наготове, следя за тем, чтобы какой-нибудь скакун, упаси Бог, не заржал. Остальным пяти слугам Мацько сказал:

– Там будут два конюха и Сандерус, вы должны в один миг связать их, ну, а если кто окажется при оружии и станет сопротивляться, бей его!

И они тотчас двинулись вперед. По дороге Збышко ещё раз шепнул дяде:

– Вы берите на себя старого Зигфрида, а я Арнольда.

– Смотри берегись! – ответил старик.

И моргнул чеху, давая понять, что в любую минуту он должен прийти на помощь молодому господину.

Тот кивнул головой, втянул в грудь воздух и попробовал, легко ли ходит меч в ножнах.

Заметив это, Збышко сказал:

– Нет! Тебе я приказываю тотчас бежать к носилкам и во время схватки не отходить от них ни на шаг.

Они быстро и бесшумно пробирались в зарослях орешника; однако далеко идти им не пришлось – через какую-нибудь сотню шагов заросли внезапно кончились и открылась небольшая поляна с потухшими смолокурными кучами и двумя избышками, или нумами, где, вероятно, жили смолокуры, пока их не выгнала оттуда война. Заходящее солнце ярким светом озаряло луг, смолокурные кучи и избышки, довольно далеко отстоявшие друг от дружки. У одной из них сидели на колоде два рыцаря, у другой – плечистый рыжий слуга вдвоем с Сандерусом протирал тряпками панцири; у ног Сандеруса лежали два меча, которые он тоже, видно, собирался чистить.

– Глянь, – сказал Мацько, изо всей силы сжимая плечо Збышка, чтобы удержать его ещё на минуту. – Он нарочно взял у них мечи и панцири. Очень хорошо! Этот с седой головой, должно быть, и есть...

– Вперед! – крикнул вдруг Збышко.

И они вихрем вылетели на поляну. Немцы тоже повскакали с мест, но не успели добежать до Сандеруса; грозный Мацько схватил старого Зигфрида за грудь, перегнул его назад и в мгновение ока подмял под себя. Збышко и Арнольд сшиблись, как два ястреба, и, охватив друг друга руками, стали яростно бороться. Плечистый немец, сидевший рядом с Сандерусом, схватился было за меч, но не успел он взмахнуть им, как слуга Мацька, Вит, хватил его обухом по рыжей голове и уложил на месте. По приказу старого рыцаря слуги кинулись вязать Сандеруса, который знал, что это делается только для видимости, и всё же заревел от страха, точно

теленка, когда его режут.

Збышко был так силен, что мог выжать сок из ветви дерева; однако он почувствовал, что попал не в человеческие руки, а прямо в медвежьи лапы. В голове у него мелькнула мысль, что не будь панциря, который он надел на случай, если придется сразиться на копьях, этот великан сокрушил бы ему не только ребра, но и хребет. Всё же Збышку удалось приподнять Арнольда, но тот поднял его ещё выше и, собрав все силы, хотел бросить наземь так, чтобы он больше уже не встал.

Но Збышко сжал немца с такой силой, что у того глаза налились кровью, и, просунув ему между коленями ногу, ударил под колени и повалил рыцаря наземь.

Вернее, они оба упали на землю, причем Збышко оказался под Арнольдом; в ту же минуту всевидящий Мацько бросил полузадушенного Зигфрида на руки слугам, подбежал к Збышку и Арнольду, в мгновение ока скрутил немцу поясом ноги и, вскочив на него, как на убитого кабана, приставил ему к затылку острие мизерикордии. Арнольд пронзительно вскрикнул, руки его бессильно соскользнули с боков Збышка, и он застонал не столько от укола, сколько от внезапного приступа нестерпимо острой боли в спине, по которой ему нанесли кистенем удар ещё во время сражения со Скирвойлом.

Мацько схватил немца обеими руками за шиворот и стащил его со Збышка; юноша приподнялся с земли, присел и попытался встать, но не смог; несколько минут он оставался недвижим. Лицо у него побледнело и покрылось потом, глаза налились кровью, губы посинели, в полубеспамятстве уставился он в пространство.

– Что с тобой? – спросил Мацько в тревоге.

– Ничего, только я очень устал. Помогите мне подняться.

Мацько подхватил Збышка под мышки и помог ему встать.

– Можешь стоять?

– Могу.

– Что-нибудь болит у тебя?

– Нет. Только дышать нечем.

Тем временем чех, увидев, что на поляне всё кончено, появился перед избушкой, держа за шиворот послушницу. При виде её Збышко забыл об усталости, силы сразу вернулись к нему, и он ринулся в избушку так, точно за минуту до этого и не боролся с грозным Арнольдом.

– Дануська! Дануська!

Никто не ответил на его зов.

– Дануська! Дануська! – повторил Збышко.

И умолк. В избушке было темно, и в первую минуту юноша ничего не мог разглядеть. Но вдруг из-за камней, на которых был сложен очаг, донеслось прерывистое громкое дыхание, как будто там притаился какой-то зверек.

– Дануська! Боже мой! Это я, Збышко!

Внезапно он увидел во мраке широко открытые, остановившиеся от ужаса глаза Дануси. Збышко подбежал к ней, схватил её в объятия, но она совершенно не узнала мужа и стала вырываться из его рук, всё шепча захлебывающимся голосом:

– Боюсь, боюсь, боюсь!..

### XXIII

Не помогали ни слова любви, ни ласки, ни моления – Дануся никого не узнавала и не приходила в себя. Единственным чувством, которое владело всем её существом, был страх, подобный страху, какой испытывают пойманные пугливые птички. Когда ей принесли еду, она не стала есть на людях, но по жадным взглядам, какие она бросала на пищу, было видно, что её мучит голод, и, быть может, уже давно. Оставшись одна, она набросилась на еду с жадностью дикого звереныша, но, когда Збышко вошел в избушку, тотчас кинулась в угол и спряталась за вязанку сухого хмеля. Тщетно Збышко раскрывал объятия, тщетно простирал к ней руки, тщетно молил её, еле сдерживая слезы. Она не вышла из угла даже тогда, когда в избушке зажгли огонь и она могла хорошо разглядеть лицо Збышка. Казалось, вместе с сознанием она потеряла и память. Збышко глядел на нее, на её исхудалое лицо, на котором застыло выражение ужаса, на ввалившиеся глаза, на отрепья, которые прикрывали её тело, и сердце его надрывалось от муки, и всё в нём кипело, когда он думал о том, в каких руках она побывала и как с нею обошлись. Им наконец овладела такая дикая ярость, что, схватив меч, он бросился к Зигфриду и, наверное, убил бы его на месте, если бы Мацько не удержал его руку.

Они, как враги, схватились друг с другом, но Збышко так обессилел после боя с Арнольдом, что старый Мацько одолел его и, скрутив ему руку, воскликнул:

– Ты что, в своем уме?

– Пустите! – скрежеща зубами, ответил Збышко. – У меня душа разрывается.

– Пускай разрывается! Не пушу! Лучше голову разбей себе о дерево, только не позорь себя и весь наш род.

И, сжимая, как в клещах, руку Збышка, Мацько сурово заговорил:

– Опомнись! Месть от тебя не уйдет, а ты опоясанный рыцарь. На что это похоже! Зарубить связанного пленника? Дануське ты этим не поможешь, а что тебе от этого? Один срам. Ты скажешь, что королям и князьям не раз доводилось убивать пленников? Да, но только не у нас! И то, что прощают им, тебе не простят. У них королевства, города, замки, а у тебя что? Рыцарская честь. Тот, кто им за это ничего не скажет в укор, тебе плюнет в глаза. Опомнись, ради Бога!

– Пустите! – мрачно сказал Збышко. – Я не зарублю его.

– Пойдем к костру, посоветоваться надо.

И он взял Збышка за руку и повёл его к костру, который слуги разожгли около смолокурных куч. Усевшись, Мацько помолчал с минуту времени, а затем сказал:

– Помни, ты этого старого пса Юранду обещал. Уж он-то ему отомстит и за себя, и

за Данусю! Уж он-то ему оплатит, не бойся! Должен ты Юранда потешить. Это его право. Чего тебе нельзя делать, Юранду можно, не захватил он пленника, а получил его в дар от тебя. Он из его спины ремней может накроить, и никто не станет его за это срамить и позорить, – понял?

– Понял, – ответил Збышко. – Это вы верно говорите.

– Ну, я вижу, ты образумился. А коли станет дьявол ещё смущать тебя, помни, что ты обещал отомстить и Лихтенштейну, и другим крестоносцам, а зарежешь беззащитного пленника и слуги разгласят это, так ни один рыцарь не примет твоего вызова и будет прав. Упаси тебя Бог! И без того горя много, так пусть же хоть сраму не будет. Потолкуем лучше о том, что делать теперь и как быть.

– А что вы советуете? – спросил молодой рыцарь.

– Я вот что советую: эту змею, что была при Данусе, можно бы и кончить, да не пристало рыцарям мараить себя, проливать бабью кровь; отдадим мы её князю Янушу. Она и тогда уже, в лесном доме, при князе и княгине строила козни, пусть же судит её мазовецкий суд, и если не колесуют её, то, выходит, перед Богом согрешат. Покуда не найдем другой бабы, которая прислуживала бы Данусе, она нам нужна, а потом мы её привяжем к конскому хвосту. А сейчас надо спешить в мазовецкие леса.

– Ну не сейчас, ведь уж ночь. Может, Бог даст, и Дануська завтра придет в себя.

– Да и кони отдохнут. На рассвете отправимся в путь.

Их разговор был прерван Арнольдом фон Баденом, который, лежа поодаль на спине, привязанный, как к колоде, к собственному мечу, стал кричать что-то по-немецки. Старый Мацько поднялся и подошел к нему, однако не мог разобрать, что тот кричит, и стал искать глазами чеха.

Но Глава был занят другим делом и не мог прийти. Пока Мацько и Збышко вели у костра разговор, он подошел к послушнице, схватил её за шиворот и, трясая, как грушу, сказал:

– Послушай ты, сука! Пойдешь в хату и постелешь пани постель из шкур, но сперва переоденешь её в свое хорошее платье, а сама напялишь те отрепья, в которых вы велели ей ходить... черт бы вас подрал!

И, не в силах сдержать охватившего его гнева, он так потряс послушницу, что у той глаза вышли из орбит. Он, пожалуй, свернул бы ей шею, да знал, что она ещё понадобится, поэтому отпустил её со словами:

– А потом мы выберем для тебя сук.

Послушница в ужасе обняла его колени, а когда чех в ответ толкнул её ногой, бросилась в хату и, упав к ногам Дануси, завопила:

– Заступись! Не дай в обиду!

Но Дануся только закрыла глаза, и из уст её вырвался обычный прерывистый шепот:

– Боюсь, боюсь, боюсь!

Затем она впала в оцепенение, как всегда, когда к ней подходила послушница. Она дала снять с себя отрепья и переделалась в новое платье. Приготовив постель, послушница уложила Данусю, как деревянную или восковую куклу, а сама села у очага, боясь выйти из хаты.

Но чех через минуту вошел сам. Обратившись сперва к Данусе, он сказал:

– Вы среди друзей, пани, спите спокойно, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

И он осенил Данусю крестом, а затем, не повышая голоса, чтобы не испугать её, сказал послушнице:

– Я свяжу тебя, и ты лежишь у порога, а если только попробуешь поднять крик и напугаешь мне пани, так я тут же сверну тебе шею. Вставай, пойдём!

Он вывел послушницу из хаты, связал её крепко, как посулил, а сам направился к Збышку.

– Я велел переодеть пани в то платье, что было на этой змее, – сказал он. – Постель постлана, и пани спит. Вы уж лучше туда не ходите, чтобы не испугать её. Даст Бог, завтра, отдохнувши, она придет в чувство, а теперь и вам надо подумать про еду да про отдых.

– Я лягу на пороге хаты, – проговорил Збышко.

– Тогда я эту суку оттащу к сторонке, к тому трупу с рыжими космами. Но сейчас вам надо поесть, впереди у вас трудный путь.

С этими словами Глава пошел достать из переметных сум копчёного мяса и репы, которыми путники запаслись, уезжая из жмудского лагеря, но не успел он выложить перед Збышком все эти запасы, как Мацько позвал его к Арнольду.

– Послушай-ка хорошенько, чего надобно этой орясине, – сказал он, – хоть я кое-что понимаю, а всё-таки никак не разберу чего это он хочет.

– Я, пан, подтащу его к костру, там вы с ним как-нибудь договоритесь, – ответил чех.

Он снял пояс и, просунув его Арнольду под мышки, взвалил немца на спину. Глава здорово согнулся под тяжестью великана, но парень он был крепкий и донес его до костра, где и бросил, как мешок с горохом, наземь около Збышка.

– Развяжите меня, – сказал крестносец.

– Это можно, – ответил через чеха старый Мацько, – коли только ты поклянешься рыцарской честью, что признаешь себя нашим пленником. Впрочем, я и так велю вытащить у тебя меч из-под колен и развязать тебе руки, чтобы ты мог сесть рядом с нами, ну, а веревки на ногах оставляю, покуда мы не поговорим с тобой.

По знаку Мацька чех перерезал веревки на руках немца и помог ему сесть. Арнольд надменно поглядел на Мацька и Збышка и спросил:

– Кто вы такие?

– Как смеешь ты спрашивать нас об этом? Тебе какое дело? Сперва скажи нам, кто ты.

– Какое мне дело? Да ведь рыцарское слово я могу дать только рыцарям.

– Тогда смотри!

И, отвернув плащ, Мацько показал рыцарский пояс на бедрах.

Крестоносец был поражён.

– Как? – спросил он, помолчав с минуту времени. – Вы разбойничаете по лесам ради добычи? И помогаете язычникам против христиан?

– Ты лжешь! – воскликнул Мацько.

Так начался у них разговор, неприязненный, заносчивый, вот-вот готовый перейти в ссору. Но когда Мацько крикнул в запальчивости, что это орден не дает Литве креститься, и привел веские доводы, поражённый Арнольд умолк, – правда была столь очевидна, что нельзя было ни закрывать на нее глаза, ни оспаривать её. Немец просто потрясен был, когда Мацько, сотворив крестное знамение, сказал: «Кто вас знает, кому вы на самом деле служите, коли не все, так кое-кто из вас!» – потрясен потому, что даже в ордене некоторых комтуров подозревали в том, что они поклоняются сатане. Их не обвиняли в этом открыто и не предавали суду, чтобы не навлечь позора на весь орден; но Арнольд хорошо знал, что братья шепчутся об этом и что слухи такие ходят об ордене. Мацько, который от Сандеруса знал о странном поведении Зигфрида, совсем растревожил добродушного великана.

– А Зигфрид, – сказал он, – с которым ты пошел на войну, разве служит Богу и Христу? Разве ты никогда не слышал, как он говорит со злыми духами, как шепчется с ними, смеется и скрежещет зубами?

– Это верно! – пробормотал Арнольд.

Но Збышко, которого захлестнула новая волна горя и гнева, воскликнул вдруг:

– И ты толкуешь тут о рыцарской чести? Позор тебе, ибо ты помогал извергу, исчадию ада! Позор тебе, ибо ты спокойно взирал на муки беззащитной женщины, дочери рыцаря, а может, и сам терзал её! Позор тебе!

Арнольд вытаращил глаза и, перекрестившись, проговорил в изумлении:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!.. Как... Эта одержимая, в которую вселилось двадцать семь дьяволов?.. Я?..

– Горе мне! Горе! – хриплым голосом перебил его Збышко.

И, схватившись за рукоять мизерикордии, он снова устремил дикий взор в сторону Зигфрида, который лежал поодаль в темноте.

Мацько спокойно положил племяннику руку на плечо и сжал изо всей силы, чтобы заставить его опомниться. Сам же обратился к Арнольду:

– Эта женщина – дочь Юранда из Спыхова, жена этого молодого рыцаря. Теперь ты понимаешь, почему мы преследовали вас и почему ты попал к нам в плен?

– Клянусь Богом! – проговорил Арнольд. – Откуда? Как? Она ведь помешанная...

– Крестоносцы похитили её, агнца невинного, и до тех пор терзали, пока не довели до этого.

При словах «агнца невинного» Збышко поднес к губам руку и закусил большой палец, а из глаз его покатались одна за другой крупные слезы безутешного горя. Арнольд сидел, погружившись в задумчивость. Чех коротко рассказал ему о предательстве Данфельда, о похищении Дануси, о муках Юранда и поединке с Ротгером. Когда он кончил, воцарилась тишина, которую нарушал только шум леса да треск пылающего костра.

Так просидели они некоторое время, наконец Арнольд поднял голову и сказал:

– Не только рыцарской честью, но и крестом спасителя клянусь вам, что я почти не видел этой женщины, не знал, кто она, и неповинен в её муках.

– Тогда поклянись ещё, что по доброй воле последуешь за нами и не будешь пытаться бежать, и я прикажу развязать тебя совсем, – произнес Мацько.

– Пусть будет по-твоему, – клянусь! Куда вы меня поведете?

– В Мазовию, к Юранду из Спыхова.

С этими словами Мацько сам разрезал веревку на ногах Арнольда, а затем показал ему на мясо и репу. Через некоторое время Збышко поднялся и пошел отдохнуть на пороге избушки; он не застал уже там послушницы ордена, которую слуги перетасили к коням. Молодой рыцарь лег на шкуру, которую ему принес Глава, и решил бодрствовать всю ночь в ожидании, не принесет ли рассвет счастливой перемены в здоровье Дануси.

Чех вернулся к костру; он хотел поговорить со старым рыцарем из Богданца о том, что терзало теперь его душу. Мацько он застал погруженным в раздумье, старик словно и не слышал, как храпит Арнольд, который, поглотив за ужином невероятное количество копчёного мяса и репы, заснул от усталости как убитый.

– А вы, пан, не хотите отдохнуть? – спросил оруженосец.

– Сон бежит моих глаз, – ответил Мацько. – Дал бы Бог завтра день счастливый.

С этими словами он поднял глаза к звездам.

– Вон уже Воз в небе виден, а я всё думаю, что-то будет.

– И мне не до сна, панночка из Згожелиц нейдет у меня из головы.

– Это верно, новая беда. Она ведь в Спыхове.

– То-то и есть, что в Спыхове. Бог весть, зачем увезли мы её из Згожелиц.

– Она сама хотела к аббату, а когда аббата не стало, что же мне было делать? –

нетерпеливо возразил Мацько, он не любил говорить об этом, чувствуя в душе свою вину.

– Да, но как быть теперь?

– Как? Отвезу её домой, и твори Бог волю свою!..

Однако через минуту он прибавил:

– Да, твори Бог волю свою, но хоть бы Дануська-то была здорова, на человека похожа, знал бы по крайности, что делать. А так кто его знает! А вдруг она не выздоровеет... и не умрёт. Хоть бы уж что-нибудь одно послал Господь!

Но чех в эту минуту думал только о Ягенке.

– Видите, ваша милость, – сказал он, – как уезжал я из Спыхова и прощался с панночкой, сказала она мне так: «В случае чего приезжайте сюда прежде Збышка и Мацька, ведь им, говорит, надо будет послать гонца с вестями, так вот пусть вас пошлют, вы и отвезете меня в Згожелицы».

– Эх! – воскликнул Мацько. – Что и говорить, не годится ей оставаться в Спыхове, когда приедет Дануська. Что и говорить, надо ей ехать в Згожелицы. Жаль мне её, сиротинку, от души жаль, да коли не судил Бог, ничего не поделаешь! Только как всё это уладить? Погоди-ка... Ты говоришь, она наказывала тебе воротиться прежде нас с вестями и потом отвезти её в Згожелицы?

– Я всё вам сказал, что она наказывала.

– Что ж! Так, может, тебе прежде нас и поехать. Да и старого Юранда надо загодя известить, что дочка нашлась, а то как бы не кончился он от нечаянной радости. Ей-ей, лучше ничего не придумаешь. Возвращайся! Скажи, что мы отбили Дануську и скоро с нею приедем, а сам бери бедняжку и вези домой.

Вздыхнул тут старый рыцарь, страх как жаль ему было и Ягенки, и тех замыслов, которые он лелеял в душе.

Через минуту он снова спросил:

– Я знаю, ты малый ловкий и сильный, да сумеешь ли ты уберечь её от обиды или какой нечаянности? В дороге всё может случиться.

– Сумею, хоть бы голову довелось сложить! Возьму с собой добрых слуг, их для меня спыховский пан не пожалеет, и доставлю панночку благополучно хоть на край света.

– Ну, ты не очень-то заносись. Да помни, что и на месте, в самих Згожелицах, тоже нужно стеречься Вильков из Бжозовой да Чтана из Рогова... Впрочем, что это я говорю! Их тогда надо было стеречься, когда мы другое замыслили. А теперь всё уж кончено, будь что будет.

– От этих рыцарей я панночку тоже буду стеречь, ведь Дануся у пана Збышка на ладан дышит, бедняжка... а ну, как помрет!

– Истинную правду говоришь: на ладан дышит, бедняжка, а ну, как помрет...



– Все мы под Богом ходим, а теперь давайте думать про згожелицкую панночку...

– Сказать по правде, мне бы самому следовало отвезти её в родной дом, – сказал Мацько. – Да, вишь, трудное это дело. Не могу я сейчас Збышка оставить, и причина важная. Видал ты, как он зубами заскрежетал и бросился к старому комтуру, чтоб прирезать его, как кабана. Ты вот говоришь, что Дануська в дороге может кончиться; не знаю, удастся ли мне тогда укротить его. А уж если меня не будет, так его никому не удержать. Вечный позор пал бы тогда на него и на весь род, избави Бог от такой беды, аминь!

– Да ведь есть простой способ, – ответил чех. – Дайте мне этого изверга, а уж я-то его не выпущу, только в Спыхове вытряхну из мешка пану Юранду.

– Дай Бог тебе здоровья! Вот умница! – радостно воскликнул Мацько. – Простое дело! Простое дело! Забирай его и только живым доведи до Спыхова, а так делай с ним, что хочешь.

– Тогда дайте мне и эту щитненскую суку! Не будет она мне в дороге мешать, доведу, а нет – так на сук её!

– Да и у Дануськи, может, скорее страх пройдет, когда она не будет видеть их, скорее, может, опомнится. Но как она обойдется без женской помощи, коли ты заберешь послушницу?

– В лесу вы встретите кого-нибудь из местных жителей или из беглых мужиков с бабами. Возьмите первую попавшуюся, небось любая будет лучше этой. А пока не найдете, пан Збышко за нею присмотрит.

– Ты сегодня рассудителен, как никогда. И это верно сказал. Коли будет Дануська видеть при себе Збышка, может, скорее придет в чувство. А уж он и отца и мать ей заменит. Ну, ладно. А когда же ты поедешь?

– Не стану я ждать рассвета, только пойду немного прилягу. Пожалуй, ещё и полночи нет.

– Я уж говорил тебе, Воз светит, а Утиное Гнездо ещё не взошло.

– Слава Богу, порешили мы с этим дедом, а то уж очень тяжело у меня было на душе.

И чех улегся около угасающего костра, укрылся лохматой шкурой и мгновенно уснул. Однако небо ещё не начинало светлеть, стояла глубокая ночь, когда он проснулся, вылез из-под шкуры, поглядел на звезды и, расправив онемевшие члены, разбудил Мацька.

– Мне пора собираться! – сказал он.

– Куда это? – спросил Мацько, протирая спросонья глаза.

– В Спыхов.

– Ах да! Кто это тут так храпит? Мёртвого и то разбудил бы.

– Рыцарь Арнольд. Подкину я сучьев в костер и пойду к слугам.

Он ушел, однако через минуту вернулся торопливым шагом и ещё издали тихо сказал:

– Худые вести, пан!

– Что случилось? – крикнул Мацько, срываясь с места.

– Послушница сбежала. Притащили её слуги к коням и развязали ей ноги, чтоб им ни дна ни покрышки! А как уснули они, она ужом проползла между ними и убежала. Подите поглядите.

Обеспокоенный Мацько поспешно направился с Главой к коням; они нашли там одного только слугу. Остальные побежали на поиски беглянки. Пустое это было дело искать её ночью в потемках, и все они вскоре вернулись, повесив головы. Мацько молча надавал им тумачков и вернулся к костру, делать-то было нечего.

Через некоторое время пришел Збышко; он не спал, сторожил избушку, и, услышав шаги, решил узнать, что случилось. Мацько рассказал ему сперва о том, что они с чехом порешили сделать, а затем и о том, что сбежала послушница.

– Невелика беда, – сказал старый рыцарь, – она либо с голодудохнет в лесу, либо мужики найдут её и отдают, коли раньше волки не съедят. Жаль только, что ушла она от кары в Спыхове.

Збышко тоже пожалел, что ушла она от кары, но к вести отнесся спокойно. Не стал он противиться и отъезду чеха с Зигфридом; всё, что прямо не касалось Дануси, было ему сейчас безразлично.

– Завтра, – заговорил он тут же о ней, – я посажу её к себе на коня, и мы поедем.

– Как она там? Спит? – спросил Мацько.

– Порой постанывает, не знаю, сквозь сон или наяву, а входить не хочу, боюсь, как бы не испугалась.

Разговор был прерван чехом, который, увидев Збышка, воскликнул:

– О, и вы, ваша милость, на ногах? Ну, мне пора! Кони готовы, и старый черт привязан к седлу. Скоро рассвет, нынче ночи коротки. Оставайтесь с Богом, пан Мацько и пан Збышко!

– С Богом! Будь здоров!

Но Глава отвел ещё Мацька в сторону и сказал ему:

– Очень хочу я попросить ещё вас, коли что случится... ну, несчастье, что ли... немедля шлите гонца в Спыхов. А коли мы уже выедем, пусть скачет вдогонку!

– Ладно, – сказал Мацько. – Я тебе тоже забыл сказать, ты Ягенку в Плоцк вези, понимаешь! Сходи к епископу и скажи ему, кто она, скажи, крестница, мол, аббата, духовная, мол, у вас, да попроси епископа взять Ягенку под свое покровительство, об этом тоже сказано в духовной.

- А если епископ велит нам оставаться в Плоцке?
- Слушайся его во всём и сделай так, как он посоветует.
- Ладно, ваша милость. С Богом!
- С Богом!

#### XXIV

Узнав на другой день о бегстве послушницы, рыцарь Арнольд улыбнулся в усы, но сказал, как и Мацько, что её либо волки съедят, либо убьют литвины. Это было весьма вероятно, так как местные жители, литвины по происхождению, ненавидели орден и всё, что было связано с ним. Часть мужиков бежала к Скирвойлу, остальные взбунтовались и, перебив немцев, скрылись с семьями и пожитками в недоступных лесных дебрях. Послушницу искали и на другой день, правда не очень усердно; Мацько и Збышко, озабоченные другими делами, не отдали приказа обшарить кругом лес, и поиски оказались безуспешными. Оба рыцаря торопились в Мазовию, рассчитывая отправиться в путь с восходом солнца; однако уехать им не удалось, так как Дануська под утро уснула глубоким сном, и Збышко не позволил будить её. Он слышал, как ночью Дануська стонала, понял, что она не спит, и теперь возлагал на этот сон большие надежды. Дважды прокрадывался он в избушку и при свете, проникавшем сквозь щели между бревнами, дважды видел её закрытые глаза, полуоткрытые губы и яркий румянец на щеках, какой пылает обычно у крепко спящих детей. Сердце его таяло от нежности, и, обращаясь к возлюбленной, он говорил ей: «Дай тебе Бог отдохнуть и поправиться, цветик ты мой милый!» А потом он ещё говорил ей: «Конец теперь твоим бедам конец слезам, даст Бог, жизнь твоя потечет теперь счастливо, как река полноводная!» Человек с открытой и доброй душой, он вознесся в мыслях к Богу, вопрошая себя, чем отблагодарить его, чем ему отплатить, что какому костёлу пожертвовать – зерном ли, скотом ли, воском ли или иными дарами, угодными Богу. Он бы тут же дал обет и подробно перечислил бы всё, что пожертвует, но решил подождать, – не зная, в каком состоянии проснется Дануся и вернется ли к ней память, он ещё не был уверен, будет ли за что благодарить Бога.

Хоть Мацько и понимал, что они будут в полной безопасности только во владениях князя Януша, однако тоже думал, что не следует будить Данусю, так как сон может стать для нее спасением: он держал наготове слуг и вьючных лошадей и ждал.

Однако миновал полдень, а Дануся всё ещё не просыпалась; дядя и племянник стали тогда беспокоиться. Збышко всё время заглядывал в щели и в дверь избушки, а после полудня в третий раз вошел к Данусе и присел на пенек, который послушница накануне вечером притащила к постели, чтобы переодеть на нём Данусю.

Присел он и вперил в Данусю взор, но она не открыла глаз. Только спустя некоторое время губы её дрогнули, и она прошептала так, словно видела сквозь сомкнутые веки:

– Збышко...

В одно мгновение он упал перед ней на колени, схватил её исхудалые руки и, в восторге целуя их, заговорил прерывистым голосом:

– Слава Богу! Дануська! Ты узнала меня!

Его голос разбудил её совсем, она открыла глаза, села на постели и повторила:

– Збышко...

И заморгала глазами, удивленно озираясь кругом.

– Ты уже не в неволе! – говорил Збышко. – Я вырвал тебя у них, и мы едем в Спыхов!

Она высвободила из его рук свои ручки и сказала:

– Это всё потому, что батюшка не благословил нас. Где княгиня?

– Проснись же, ягодка моя! Княгиня далеко, а мы отбили тебя у немцев.

Словно не слыша его и как будто что-то припоминая, она проговорила:

– Лютню они отняли у меня, об стенку разбили!

– Господи милостивый! – воскликнул Збышко.

Только теперь он заметил, что глаза у нее блуждают и горят, а щеки пылают. В ту же минуту у него мелькнула мысль, что она, может, тяжело больна и дважды назвала его имя только потому, что он примерещился ей в бреду.

Он содрогнулся от ужаса, и на лбу у него выступил холодный пот.

– Дануська! – воскликнул он. – Ты видишь меня, понимаешь?

А она попросила покорно:

– Пить!.. Воды!..

– Боже милостивый!

И он выбежал из избушки. В дверях он столкнулся со старым Мацьком, который решил посмотреть, что с Данусей, и, бросив дяде на ходу одно слово: «Воды!» – помчался к ручью, протекавшему поблизости среди лесных зарослей и мхов.

Через минуту он вернулся с полным кувшином и подал его Данусе, которая стала жадно пить воду. Мацько ещё раньше вошел в хату и, взглянув на больную, помрачнел.

– У нее горячка? – спросил он.

– Да! – простонал Збышко.

– Она понимает, что ты говоришь?

– Нет.

Старый рыцарь нахмурил брови и почесал в затылке.

– Что же делать?

– Не знаю.

– Остается одно... – начал Мацько.

Но Дануся прервала его. Она кончила пить и, устремив на него свои широко открытые от жара глаза, сказала:

– И перед вами я ни в чем не провинилась. Сжальтесь надо мной!

– Я жалею тебя, дитя мое, и хочу тебе только добра, – с волнением ответил старый рыцарь.

Затем он обратился к Збышку:

– Послушай! Оставлять её тут ни к чему. Обдует её ветерком, солнышком пригреет, так, может, ей станет лучше. Не теряй, парень, головы, клади её на те самые носилки, на которых её везли, либо сажай в седло, и в путь! Понял?

С этими словами он вышел из избышки, чтобы отдать последние распоряжения, поднял глаза и стал вдруг как вкопанный.

Сильный пеший отряд, вооруженный копьями и бердышами, с четырех сторон стеной окружал избышку, смолокурные кучи и поляну.

«Немцы!» – подумал Мацько.

Ужас охватил его, однако он мгновенно схватился за рукоять меча, стиснул зубы и замер, подобный дикому зверю, когда тот, окруженный внезапно собаками, готовится к отчаянной защите.

Меж тем от смолокурной кучи к нему направился великан Арнольд с каким-то другим рыцарем.

– Быстро вертится колесо фортуны, – сказал Арнольд, подойдя к нему. – Я был вашим пленником, а теперь вы стали моими пленниками.

И он свысока поглядел на старого рыцаря, как на существо низшее. Арнольд вовсе не был злым или жестоким человеком, у него просто был недостаток, свойственный всем крестоносцам, которые, попав в беду, становились кроткими и даже покладистыми, но когда чувствовали, что сила на их стороне, никогда не умели скрыть ни своего презрения к побеждённым, ни безграничного своего высокомерия.

– Вы пленники! – надменно повторил он.

Старый рыцарь мрачно огляделся по сторонам. В груди его билось вовсе не робкое, напротив, отчаянно смелое сердце. Если бы он был в доспехах и на боевом коне, если бы рядом с ним был Збышко и в руках у них мечи и секиры или те страшные тяжелые копья, которыми так ловко владела тогдашняя польская шляхта, Мацько, может, попытался бы прорваться сквозь этот лес копий и бердышей. Но он стоял перед Арнольдом пеший, один, без панциря; увидев, что люди его побросали оружие, и вспомнив, что Збышко в избышке у Дануси совсем безоружен, Мацько, как человек опытный, искушенный в военном искусстве, понял, что сопротивляться бесполезно.

Он медленно вынул меч из ножен и бросил его к ногам рыцаря, стоявшего рядом с Арнольдом. Незнакомый рыцарь так же надменно, как и Арнольд, но всё же учтиво заговорил на хорошем польском языке:

– Ваше имя? Я поверю вам на слово и не дам приказа вас связывать, ибо вижу, что вы опоясанный рыцарь и по-человечески обошлись с моим братом.

– Слово! – ответил Мацько.

Он назвал себя, спросил, можно ли ему пройти в избушку предупредить племянника, «чтобы тот не совершил какого-нибудь безрассудства», и, получив разрешение, исчез в дверях.

– У моего племянника даже меча не было при себе, – сказал он, вернувшись через некоторое время с мизерикордией в руках. – Он просит позволить ему, пока вы не тронетесь в путь, остаться при жене.

– Пусть остается, – сказал брат Арнольда, – я пошлю ему еды и питья. В дорогу мы не сразу отправимся, люди устали, да и нам надо подкрепиться и отдохнуть. Просим и вас разделить с нами компанию.

И оба немца направились к тому самому костру, у которого Мацько провел ночь, но то ли из спеси, то ли по свойственной крестоносцам неучтивости они прошли вперед, предоставив Мацьку следовать за ними. Старый рыцарь, человек бывалый, знавший до тонкостей правила обхождения во всех случаях жизни, спросил:

– Вы просите меня как гостя или как пленника?

Брат Арнольда смутился и, давая ему дорогу, сказал:

– Проходите, пожалуйста.

Старый рыцарь прошел вперед, но, не желая задевать самолюбие человека, от которого многое зависело, промолвил:

– Вы, видно, не только разные языки знаете, но и весьма обходительны.

Арнольд, который понимал лишь отдельные слова, спросил:

– В чем дело, Вольфганг, что это он говорит?

– Дело говорит! – ответил Вольфганг, явно польщенный словами Мацька.

Они сели у костра, слуги принесли еду и напитки. Урок, преподанный Мацьком, не пропал даром. Вольфганг все блюда предлагал ему первому. Из разговора старый рыцарь узнал, как они попали в ловушку. Вольфганг, младший брат Арнольда, вел члуховскую пехоту в Готтесвердер для усмирения взбунтовавшихся жмудинов; немцы шли из отдаленной комтурии и не могли нагнать свою конницу. Арнольд, зная, что по дороге он встретит другие пешие отряды из городов и замков, расположенных вблизи литовской границы, не стал ждать младшего брата. Тот отстал на несколько дневных переходов и по дороге, неподалеку от смолокурни, узнал от бежавшей ночью послушницы ордена об участии, постигшей старшего брата. Арнольд, слушая этот рассказ, повторенный ему по-немецки, заметил с самодовольной улыбкой, что он на

это рассчитывал.

Хитрый Мацько умел найтись при всяких обстоятельствах он решил, что не худо было бы расположить к себе немцев.

– Всегда тяжело попасть в неволю, – сказал он, помолчав с минуту времени, – но, благодарение Создателю, он предал меня в ваши руки, вы настоящие рыцари и блюдете рыцарскую честь.

Вольфганг опустил глаза и кивнул головой, правда довольно надменно, но с видимым удовлетворением.

А старый рыцарь продолжал:

– И как хорошо вы знаете наш язык! Видно, Бог щедро наделил вас талантами!

– Я знаю ваш язык, потому что в Члуховой народ говорит по-польски, а мы с братом уже семь лет служим под начальством тамошнего комтура.

– Придет пора, наступит время, и вы займете его место! Это уж как пить дать... Вот брат ваш не говорит так по-нашему.

– Арнольд немного понимает, но не говорит. Он посильнее меня, хоть и я крепыш, зато он не так сообразителен.

– Что вы, он мне вовсе не кажется глупым! – сказал Мацько.

– Вольфганг, что он говорит? – снова спросил Арнольд.

– Хвалит тебя, – ответил Вольфганг.

– Да, хвалю, – прибавил Мацько, – он настоящий рыцарь, а это первое дело! Скажу вам прямо, сегодня я хотел отпустить его на слово, пускай, думаю, едет, куда ему заблагорассудится, лишь бы явился потом, хоть через год. Так ведь приличествует поступать опоясанным рыцарям.

И он уставился испытующим оком в лицо Вольфганга.

– Может, я и отпустил бы вас на слово, – сказал тот, поморщившись, – когда бы вы не помогали против нас собакам-язычникам.

– Это неправда, – возразил Мацько.

И снова между ними возник такой же горячий спор, как накануне у Мацька с Арнольдом. Хотя старый рыцарь был прав, однако на этот раз ему пришлось круто: Вольфганг и впрямь был умнее своего старшего брата. Но спор оказался полезен, так как и младший брат узнал обо всех щитненских злодеяниях, клятвопреступлениях и предательствах, а вместе с тем и о судьбе несчастной Дануси. Вольфганг ничего не сумел ответить на все обвинения, которые бросал в лицо ему Мацько. Он вынужден был признать, что месть была справедлива и что польские рыцари имели право поступить так, как они поступили.

– Клянусь благословенными костями святого Либерия, – сказал он, – я не стану жалеть Данфельда. Говорили, будто он был чернокнижником; но всемогущество Божие

и правда сильнее чернокнижия! Не знаю, служил ли и Зигфрид сатане, но в погоню за ним я не стану пускаться: и конницы у меня для этого нет, да и пусть горит он в геенне огненной, коли замучил, как вы говорите, эту девушку!

Тут он перекрестился и прибавил:

– Не остави меня, господи, в смертный мой час!

– А что же будет с этой несчастной мученицей? – спросил Мацько. – Неужели вы не позволите отвезти её домой? Неужели ей придется погибать в ваших темницах? вспомните про гнев Божий!..

– Женщина мне не нужна, – жестко ответил Вольфганг. – Пусть один из вас отвезет её отцу, лишь бы потом явился, но обоих вас я не отпущу.

– Ну, а если я поклянусь своей рыцарской честью и копьем Георгия Победоносца?

Вольфганг заколебался, ибо это была страшная клятва, но в это время Арнольд спросил в третий раз:

– Что он говорит?

Узнав, в чем дело, он запальчиво и грубо начал возражать против освобождения обоих рыцарей на слово. У него были на этот счет свои соображения: он потерпел поражение и в битве со Скирвойлом, и в схватке с этими польскими рыцарями. Как солдат, он знал, что брату с его пешими воинами придется вернуться в Мальборк, так как продолжать поход в Готтесвердер после уничтожения передних отрядов значило вести людей просто на гибель. Он знал, что ему придется предстать перед магистром и маршалом, и понимал, что меньше будет сраму, если он приведет хотя бы одного знатного пленника. Живой рыцарь значит больше, чем рассказ о том, что двое рыцарей захвачены в плен.

Слушая хриплые выкрики и проклятия Арнольда, Мацько сразу понял, что большего от них ему не добиться и надо брать, что дают.

– Вот о чём я ещё хочу вас попросить, – сказал он, обращаясь к Вольфгангу, – я уверен, что мой племянник сам поймет, что ему надо ехать с женой, а мне оставаться с вами. Однако на всякий случай позвольте мне сказать ему, что об этом и говорить не приходится, ибо такова ваша воля.

– Ладно, мне всё едино, – ответил Вольфганг. – Давайте только поговорим о выкупе, который ваш племянник должен привезти за себя и за вас, от этого зависит всё.

– О выкупе? – переспросил Мацько, который предпочел бы отложить этот разговор. – Разве у нас мало времени впереди? Когда имеешь дело с опоясанным рыцарем, слово его – это те же деньги, да и насчет цены можно положиться на совесть. Мы вот под Готтесвердером захватили одного знатного вашего рыцаря, некоего господина де Лорша, и мой племянник, – это он взял его в плен, – отпустил его просто на слово, вовсе не договариваясь о цене.

– Вы взяли в плен де Лорша? – быстро спросил Вольфганг. – Я его знаю. Это знатный рыцарь. Но почему же мы не встретились с ним по дороге?



– Верно, он не сюда поехал, а в Готтесвердер или в Рагнету, – ответил Мацько.

– Это рыцарь богатый и знатного рода, – повторил Вольфганг. – Вы за него много получите! Хорошо, что вспомнили об этом, теперь и я за грош вас не отпущу.

Мацько закусил язык, но гордо поднял голову.

– Мы и без того знаем себе цену.

– Тем лучше, – сказал младший фон Баден.

Однако он тут же оговорился:

– Тем лучше, но не для нас, ибо мы смиренные монахи, давшие обет бедности, а для ордена, который употребит ваши деньги во славу Божию.

Мацько ничего не ответил, он только взглянул на Вольфганга так, точно хотел сказать ему: «Рассказывай сказки!» – и через минуту они стали торговаться. Тяжелое и щекотливое это было дело для старого рыцаря: с одной стороны, его очень огорчали всякие убытки, а с другой, он понимал, что не подобает ему слишком дешево ценить себя и Збышка. Он вьюном вертелся, тем более что Вольфганг, на словах как будто мягкий и учтивый, на деле оказался непомерно жадным и твердым, как камень. Единственным утешением была для Мацька мысль, что за всё заплатит де Лорш, и всё-таки он сожалел об утраченной надежде на барыш, тем более что не рассчитывал получить выкуп за Зигфрида, уверенный, что ни Юранд, ни Збышко ни за какие деньги не отпустят старого крестоносца живым.

После долгих переговоров они пришли наконец к соглашению о том, сколько гривен и к какому сроку должен привезти Збышко, и точно определили, сколько людей и лошадей он возьмет с собою. Мацько отправился сообщить об этом племяннику; опасаясь, видно, как бы немцы не передумали, старик посоветовал ему выезжать немедленно.

– Такая она, эта рыцарская жизнь, – говорил он, вздыхая, – вчера ты был сверху, а сегодня подмяли тебя! Что делать! Бог даст, придет опять наш черед! А сейчас не теряй времени. Коли поторопишься, догонишь Главу, вместе вам будет безопаснее, а как выберетесь из пуши и попадете к своим, в Мазовию, так у любого шляхтича, в любой усадьбе найдете приют, любой окажет вам помощь, позаботится о вас. У нас чужим в этом не отказывают, так что же говорить о своих! Для бедняжки Дануси это может быть тоже спасением.

Он поглядывал при этом на Данусю, которая часто и тяжело дышала в полусне. её прозрачные руки, лежавшие на темной медвежьей шкуре, лихорадочно дрожали.

Мацько перекрестил её и сказал:

– Эх, бери её и уезжай! Всё в руках Божьих, только видится мне, что она уж на ладан дышит!

– Не говорите так! – воскликнул Збышко в отчаянии.

– Все мы под Богом ходим! Я велю сюда подать тебе коня, и поезжай с Богом!

И, выйдя, из избушки, он велел приготовить всё к отъезду. Турки, подаренные

Завишей, подвели к избушке коней с носилками, усталыми мохом и шкурами, а слуга Вит – верхового коня Збышко; спустя некоторое время Збышко вышел из избушки с Данусей на руках. Это была такая трогательная картина, что оба брата фон Бадены, подойдя из любопытства к избушке и увидев полудетскую фигурку Дануси, её лицо, живо напомнившее им лик святой на иконе, и заметив, как тяжело и бессильно опустила она ослабевшую голову на плечо молодого рыцаря, переглянулись в изумлении, и сердца их зажглись гневом против виновников её несчастья. «У Зигфрида сердце не рыцаря, а палача, – шепнул Вольфганг брату, – а эту змею, хоть она и помогла тебе вызволиться, я прикажу высечь». Их растрогало и то, что Збышко нес Данусю на руках, словно мать родное дитя, они поняли, как любит он её, ибо в жилах их текла ещё молодая кровь.

Збышко с минуту колебался, посадить ли больную с собой на седло и держать в дороге в объятиях, или положить её на носилки. Он остановился на последнем, решив, что ехать лежа ей будет удобнее. Затем он подошел к дяде и нагнулся, чтобы поцеловать на прощанье ему руку. Мацько, который действительно горячо любил племянника, не хотел проявлять при немцах слабость, но не мог сдержаться и, крепко обняв Збышка, прижался губами к его густым золотистым волосам.

– Храни тебя Бог! – сказал он. – А старика не забывай – неволя, она всегда тяжка.

– Не забуду, – ответил Збышко.

– Дай тебе счастья Пресвятая Дева!

– А вас да вознаградит Бог за всё... за всё.

Через минуту Збышко уже сидел на коне; но Мацько, вспомнив вдруг что-то, подбежал к нему, положил ему на колено руку и сказал:

– Послушай! Догонишь Главу, смотри с Зигфридом не опозорь себя и мои седины. Юранд – это дело другое, но не ты! Поклянись мне в этом честию на своем мече!

– Пока вы не воротитесь, я и Юранда удержу, чтоб они не стали мстить вам за Зигфрида, – ответил Збышко.

– Так я люб тебе?

Молодой рыцарь грустно улыбнулся:

– Сами знаете.

– Ну, в путь! Будь здоров!

Кони тронулись и вскоре скрылись в яркой зелени орешника. Мацьку стало вдруг невыносимо грустно и одиноко, душа его рвалась за дорогим хлопцем, в котором заключалась вся надежда их рода. Но Мацько тут же стряхнул с себя грусть, он был человек стойкий и умел владеть собою.

«Слава Богу, – сказал он себе, – что не он в неволе, а я...»

И обратился к немцам:

– А вы когда тронетесь в путь и куда?

– Когда нам вздумается, – ответил Вольфганг, – а поедем мы в Мальборк, где вам прежде всего придется предстать перед магистром.

«Эх, чего доброго, срубят они мне голову за помощь жмудинам!» – подумал Мацько.

Правда, его успокаивала мысль о господине де Лорше и о том, что сами братья фон Бадены будут хранить его голову, хотя бы ради того, чтобы не лишиться выкупа.

«Впрочем, – сказал он себе, – Збышко не придется тогда ни являться к ним, ни расточать достояние».

И эта мысль принесла ему некоторое облегчение.

## XXV

Збышко не мог догнать своего оруженосца; тот ехал днем и ночью, отдыхая лишь по мере надобности, чтобы кони не пали; захирев на одной траве, они не могли совершать такие большие переходы, как там, где было легче с овсом. Себя Глава не щадил, не обращал он внимания и на годы и слабосилие Зигфрида. Старый крестоносец жестоко страдал, тем более что его порядком-таки помял жилистый Мацько. Но больше всего досаждали Зигфриду комары, роившиеся в сырой пуще, он не мог защититься от них, так как руки у него были связаны, а ноги припутаны к брюху коня. Никаким особенным мукам оруженосец его не подвергал, но и не жалел нимало и развязывал ему только правую руку на привалах во время еды. «Ешь, собака, чтобы мне живым привезти тебя к спыховскому пану!» В таких выражениях приглашал он крестоносца подкрепиться. В начале пути Зигфрид решил было уморить себя голодом; но, когда его предупредили, что ему будут разжимать зубы ножом и кормить насильно, он смирился, не желая допустить оскорбления своего монашеского сана и рыцарского достоинства.

Чтобы избавить от позора свою обожаемую панночку, чех непременно хотел приехать в Спыхов раньше «пана и пани». Он был простой, но толковый и не лишенный благородства шляхтич и прекрасно понимал, что Ягенке унизительно оставаться при Данусе в Спыхове. «В Плоцке, – думал он, – можно будет сказать епископу, что старому пану из Богданца пришлось взять её с собой как опекуну; а там пусть только разгласят, что она на попечении епископа и что, кроме Згожелиц, за нею владения аббата, так и воеводич будет для нее не велика честь». Когда он думал об этом, ему становилось легче переносить тягости пути, и терзался он только мыслью о том, что счастливая весть, которую он везет в Спыхов, для панночки будет приговором судьбы.

Часто ему представлялась и румяная, как яблочко, Ануля. Он вонзал тогда шпоры в бока коню и, торопясь в Спыхов, гнал его вперед, насколько позволяла дорога.

Они ехали наугад, вернее, совсем без дороги, напрямик через лес. Чех знал, что если держать путь всё время на юг, отклоняясь немного на запад, то непременно доберешься до Мазовии, а там всё будет хорошо. Днем он ехал по солнцу, а когда в дороге их застигала ночь, – по звездам. Казалось, пуще конца-краю не будет. Дни и ночи текли в ночном мраке. Глава не раз думал, что молодому рыцарю не провезти живой свою жену через эту жуткую, безлюдную пущу, где неоткуда ждать помощи, негде добыть пищу, где по ночам приходится стеречь коней от волков и медведей, а днем уступать дорогу стадам зубров и туров, где страшные вепри-одинцы точат кривые клыки о корни сосен, где часто по целым дням приходится оставаться

голодным, если не удастся пронзить стрелой или проткнуть копьем пятнистых боков оленя или молодого вепря.

«Как тут ехать, – думал Глава, – с нею, полуживой; она ведь на ладан дышит!»

Нередко им приходилось объезжать большие болота или глубокие овраги, на дне которых шумели потоки, вздувшиеся от весенних дождей. Много было в пуще и озер; на закате солнца путники видели, как в их румяных прозрачных водах купались целые стада лосей и оленей. Порою они замечали дым – вестник близости человека. Несколько раз Глава подъезжал к лесным деревушкам; но навстречу ему высыпали дикари в звериных шкурах, наброшенных на голое тело; вооруженные кистенями и луками, они так враждебно глядели из-под шапки густых волос, свалявшихся от колтуна, что, пользуясь замешательством, которое вызывал в толпе вид рыцарей, чех быстро уезжал прочь.

Дважды вслед Главе свистели стрелы и раздавались возгласы: «Вокили!» («Немцы!»); но он спешил скрыться, не входя в объяснения. Прошло ещё несколько дней, и ему наконец показалось, что они переехали границу; но спросить об этом было не у кого. Только от переселенцев, говоривших по-польски, он узнал, что ступил наконец на мазовецкую землю.

По всей восточной Мазовии тоже шумел дремучий лес; но пробираться здесь было легче. Край по-прежнему был безлюден; но, если встречалось человеческое жилье, обитатель его уже не дышал такой злобой, быть может, потому, что ему не приходилось ненавидеть угнетателей лютой ненавистью, а может, и потому, что чех говорил на понятном ему языке. Досаждало только непомерное любопытство лесных жителей, которые толпами окружали всадников, забрасывая их вопросами, а узнав, что они везут пленника-крестоносца, просили:

– Подарите нам его, пан, уж мы-то с ним разделаемся!

И просили так настойчиво, что чех порой даже сердился или объяснял им, что это княжеский пленник. Тогда они отступали. Позже в местах, где жил уже оседлый народ, трудно было с шляхтой. В сердцах людей кипела ненависть к крестоносцам, все живо помнили об их предательстве и обиде, нанесенной в свое время князю, когда в мирное время они схватили его под Злоторыей и держали как пленника. Правда, здесь уже не хотели «разделаться» с Зигфридом; но какой-нибудь упрямый шляхтич говорил: «Развяжите его, я дам ему оружие и за межой вызову на смертный бой». Всякому такому шляхтичу чех должен был разжевать да в рот положить, что право на месть в первую очередь принадлежит несчастному владельцу Спыхова, что это его неотъемлемое право.

Путешествовать по людному краю было легко, здесь уже были кой-какие дороги, и коней кормили всюду овсом или ячменем. Чех ехал быстро, стараясь нигде не задерживаться, и за десять дней до праздника тела господня явился в Спыхов.

Приехал он вечером, как и тогда, когда Мацько прислал его из Щитно с вестью о своем отъезде в Жмудь, и так же, как тогда, выбежала Ягенка, увидев оруженосца в окно, а он упал к её ногам и сперва слова не мог вымолвить. Она подняла Главу и тотчас потащила вверх, не желая расспрашивать его при людях.

– Что нового? – спросила она, дрожа от нетерпения и едва переводя дух. – Живы, здоровы?

- Живы, здоровы!
- А она нашлась?
- Нашлась. Мы отбили её.
- Слава Иисусу Христу!

Но лицо её словно застыло при этом: все её надежды сразу рухнули.

Однако девушка не потерялась и не лишилась чувств; овладев через минуту собою, она спросила:

- Когда они будут здесь?
- Через несколько дней! Тяжкий это путь – с больною.
- Она больна?
- Ее замучили. От страданий она помешалась.
- Господи милостивый!

На минуту воцарилось молчание, только побледневшие губы Ягенки шевелились, словно девушка шептала молитву.

- Она не опомнилась при Збышке? – снова спросила Ягенка.
- Может, и опомнилась, не знаю, я ведь сразу уехал, чтобы вас, панночка, известить, прежде чем они приедут сюда.
- Да вознаградит тебя Бог. Рассказывай всё, как было.

Чех в коротких словах рассказал, как они отбили Данусю и взяли в плен великана Арнольда и Зигфрида. Он сообщил также, что привез с собой Зигфрида, которого молодой рыцарь прислал в дар Юранду для отмщения.

- Мне надо пойти к Юранду! – сказала Ягенка, когда чех кончил рассказ.

Она ушла; но Глава недолго оставался один, из боковуши к нему выбежала Ануля; то ли оттого, что чех не пришел ещё в себя от усталости после неслыханно трудной дороги, то ли оттого, что очень тосковал он по девушке, но только, увидев её, он вдруг позабылся, схватил Анулю в объятия и, прижав к груди, стал осыпать поцелуями её глаза, щеки и губы так, словно давно уже сказал ей всё то, что принято говорить девушке, прежде чем её целовать.

Быть может, в душе он и впрямь сказал ей всё в пути, потому что целовал и целовал её без конца и прижимал к груди с такой силой, что у девушки дух захватывало. Она не защищалась – сперва от изумления, а потом от такой сладкой истомы, что, верно, упала бы, если бы её не держали такие крепкие руки. К счастью, всё это продолжалось недолго, на лестнице послышались шаги, и через минуту в комнату вбежал ксёндз Калёб.

Они отскочили друг от друга, а ксёндз Калёб засыпал Главу вопросами, на которые

тот, не успев отдышаться, едва мог ответить. Ксендз решил, что это от усталости. Когда чех подтвердил, что Данусю нашли и отбили, а палача её привезли в Спыхов, он упал на колени, чтобы вознести благодарственную молитву Богу. За это время кровь поостыла в жилах Главы, и, когда ксендз поднялся, он уже мог спокойно повторить рассказ о том, как они нашли и отбили Данусю.

– Не для того Бог её спас, – сказал ксендз, выслушав чеха, – чтобы оставить рассудок её омраченным и душу во власти злых сил! Юранд возложит на нее свои святые руки и одной молитвой вернет ей рассудок и здоровье.

– Рыцарь Юранд? – спросил в удивлении чех. – Он имеет такую силу? Может, он при жизни стал святым?

– Пред лицом господа он святой ещё при жизни, а когда скончается, у людей на небесах будет ещё один мученик-покровитель.

– Вы всё-таки, преподобный отче, сказали, что он возложит на главу дочери руки. Неужели у него отросла правая рука? Я помню, вы молили об этом Иисуса Христа.

– Я сказал: «руки», как всегда говорят, – ответил ксендз, – но коли будет на то милость господня, то достаточно и одной.

– Это верно! – согласился Глава.

Но в голосе его слышалось некоторое разочарование, он думал, что увидит настоящее чудо. Дальнейший разговор был прерван приходом Ягенки.

– Я рассказала ему всё осторожно, – сказала она, – чтобы нечаянная радость не убила его, а он тотчас пал ниц и молится.

– Он и без того по целым ночам лежит, простершись ниц, а сегодня тем более не встанет до утра, – заметил ксендз Калев.

Так оно и случилось. Несколько раз заглядывали они к Юранду и всякий раз заставляли его простертым ниц; но старый рыцарь не был погружен в сон, он молился так жарко, что позабылся в молитве. Только на другой день, когда уж кончилась утренняя, Ягенка снова заглянула к Юранду, и он дал знак, что хочет видеть Главу и пленника. Зигфрида с руками, связанными крестом на груди, вывели из подземелья, и все вместе с Толимой направились к старому рыцарю.

В первую минуту Глава не мог хорошо рассмотреть Юранда: затянутые пузырями окна пропускали мало света, да и день был хмурый, тучи обложили всё небо, предвещая страшную грозу. Но когда зоркие глаза чеха привыкли к темноте, он едва узнал Юранда, так похудел тот и осунулся. Огромный человек превратился в огромный скелет. Лицо его было так бледно, что почти не отличалось от серебряных седин, а когда он склонился на подлокотник кресла и закрыл веками свои пустые глазницы, то показался Главе просто мертвецом.

Около кресла стоял стол, а на нём распятие, кувшин с водой и каравай черного хлеба с воткнутой в него мизерикордией, страшным ножом, которым рыцари добивали раненых. Кроме хлеба и воды, Юранд давно уже не принимал никакой другой пищи. Одеждой ему служила грубая власяница, препоясанная соломенным жгутом, которую он носил на голом теле. Так со времени возвращения из щитненской неволи жил богатый и некогда страшный рыцарь из Спыхова.

Заслышав шаги, он отстранил ногой ручную волчицу, которая грела его босые ноги, и откинулся назад. Именно в эту минуту он показался чеху покойником. Все замерли в ожидании, уверенные, что он даст знак, чтобы кто-нибудь начал говорить; но он сидел неподвижно, бледный, спокойный, с полукрытыми губами, словно и впрямь спал вечным сном.

– Глава здесь, – сказала наконец нежным голосом Ягенка, – не хотите ли вы послушать его?

Юранд утвердительно кивнул головой, и чех в третий раз начал свой рассказ. Он коротко упомянул о сражениях с немцами под Готтесвердером, рассказал о схватке с Арнольдом фон Баденом и освобождении Дануси, однако, не желая омрачать радость старого страдальца и будить в нём новую тревогу, утаил, что от долгих дней тяжкой неволи у Дануси помутился рассудок.

Но он питал злобу против крестоносцев и, желая, чтобы Зигфрид был сурово наказан, умышленно не скрыл, что Дануся страшно напугана, измождена и больна, что с нею, видно, обращались со звериной жестокостью, и если бы она осталась ещё в страшных руках крестоносцев, то увяла бы и угасла, как вянут и гибнут растоптанные ногами цветы. Этот страшный рассказ сопровождался таким же страшным громом надвигающейся бури. Медно-черные громады туч всё сильнее клубились над Спыховом.

Юранд не дрогнул и не шевельнулся, слушая этот рассказ, так что присутствующим могло показаться, что он погружен в сон. Но он всё слышал и всё понимал. Когда Глава стал говорить о страданиях Дануси, две крупные слезы показались в пустых глазницах старого рыцаря и скатились по его щекам. Из всех земных чувств у него осталось только одно: любовь к дочери.

Затем его синие губы стали шептать молитву. На дворе раздались первые, ещё отдаленные раскаты грома, молния сверкнула в окнах. Юранд долго молился, и слезы снова капали на его седую бороду. Наконец он кончил молитву, воцарилось молчание, такое долгое, что всем стало тягостно, никто не знал, что же делать.

Тогда старый Толима, правая рука Юранда, его товарищ во всех битвах и главный хранитель Спыхова, сказал:

– Перед вами, пан, стоит этот дьявол, этот кровопийца крестоносец, который истязал вас и вашу дочку. Дайте знак, что мне с ним делать и как его покарать?

При этих словах словно луч света скользнул по лицу Юранда, он кивнул, чтобы к нему подвели пленника.

В то же мгновение двое слуг схватили крестоносца за плечи и подвели его к старику; Юранд протянул руку и сперва провел по лицу Зигфрида, словно желая припомнить или навсегда запечатлеть в памяти его черты, потом нащупал на груди крестоносца скрещенные руки, коснулся веревок и, снова закрыв глаза, откинул голову.

Все решили, что старик погрузился в раздумье. Но это продолжалось недолго, через минуту Юранд очнулся и протянул руку к хлебу, в котором торчала страшная мизерикордия.

Увидев это, Ягенка, чех, даже старый Толима со слугами затаили дух. Стократ была заслужена кара, справедлива месть; но сердца содрогнулись у всех при мысли о том, что этот полуживой старик будет ощупью резать связанного пленника.

Держа нож за середину, Юранд провел указательным пальцем к его острию, чтобы знать, чего он касается, и стал перерезать веревки на руках крестоносца.

Все были потрясены, когда поняли его намерение, никто не хотел верить своим глазам. Это было уж слишком. Первый возроптал Глава, за ним Толима и слуги. Только ксёндз Калев, не в силах удержать слезы, прерывистым голосом спросил:

– Брат Юранд, чего вы хотите? Неужели вы хотите вернуть пленнику свободу?

– Да! – движением головы ответил Юранд.

– Вы хотите отпустить его без отмщения и кары?

– Да.

Громче стал ропот гнева и возмущения; но ксёндз Калев, не желая, чтобы тщетным остался этот неслыханный порыв милосердной души, воскликнул, обращаясь к ропщущим:

– Кто смеет противиться святому? На колени!

И сам, преклонив колена, стал читать молитву:

– Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое...

Он прочел всю молитву. При словах: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», глаза его невольно обратились на Юранда, лицо которого светилось каким-то подлинно неземным светом.

Это зрелище в соединении со словами молитвы сокрушило сердца всех присутствующих, и старый Толима с его закаленной в постоянных битвах душой обнял колени Юранда и сказал:

– Если ваша воля, пан, должна быть исполнена, то пленника надо проводить до границы.

– Да! – кивнул Юранд.

Молния всё чаще озаряла окна, буря надвигалась всё ближе и ближе.

## XXVI

Ветер дул, и порой срывался бурный ливень, когда два всадника – Зигфрид и Толима – приближались к спыховской границе. Толима провожал немца из опасения, как бы по дороге его не убили мужики, стоявшие на страже, или спыховские слуги, которые ненавидели его лютой ненавистью и жаждали мести. Зигфрид ехал без оружия, но и без цепей. Тучи, гонимые вихрем, нависли уже над всадниками. По временам, когда раздавался неожиданный удар грома, кони приседали на задние ноги. Всадники ехали в немом молчании по такой узкой дороге, пролежавшей в овраге, что стремя порою касалось стремени. Толима, который за много лет привык стеречь невольников, и сейчас то и дело поглядывал зорко на Зигфрида, словно опасаясь, как бы тот не



обратился неожиданно в бегство, и всякий раз его пронимала при этом невольная дрожь, всё казалось ему, что глаза крестоносца горят во мраке, как у злого духа или упыря. Толима даже подумывал, не осенить ли его крестом, но при одной только мысли, что от крестного знамения он вззоет вдруг нечеловеческим голосом, оборотится каким-нибудь чудищем и начнет щелкать губами, его охватывал ещё больший страх. Старый воин мог один смело броситься на целую толпу немцев, как ястреб бросается на стаю куропаток, но боялся нечистой силы и не желал иметь с нею дела. Ему хотелось показать просто немцу дорогу и вернуться назад, но стыдно было перед самим собою, и он проводил Зигфрида до самой границы.

Когда они добрались до опушки спыховского леса, дождь утих, и тучи озарились каким-то удивительным желтым светом. Кругом посветлело, и глаза Зигфрида утратили свой зловещий блеск. Но тут Толимой овладело другое искушение. «Мне велели, – говорил он себе, – довести этого бешеного пса целым и невредимым до границы, и я довез его; но неужто он так и уедет, не понеся возмездия и кары, этот палач моего господина и его дочери, и не будет ли делом, угодным и приятным Богу, убить его? А что, если вызвать его на смертный бой? Правда, при нём нет оружия, но за милю отсюда, в усадьбе пана Варцима, ему дадут какой-нибудь меч или секиру, и я смогу биться с ним. Бог даст, свалю его, а там и добыю, как положено, и голову зарю в навоз!» Так говорил себе Толима и, поглядывая алчно на немца, раздувал ноздри, словно почуяв запах свежей крови. Нелегко было ему подавить это желание, нелегко бороться с собой; но когда он подумал, что Юранд даровал невольнику жизнь и свободу не для того, чтобы тот доехал только до границы, и что, если он убьет Зигфрида, доброе дело, совершенное его господином, останется втуне и меньше будет за него награда небесная, он превозмог себя и, остановив коня, сказал:

– Вот наша граница, отсюда недалеко и до вашей. Поезжай свободно, и коли не загрызет тебя совесть и гром небесный не разразит, то от людей тебе ничто не угрожает.

С этими словами он повернул коня, а крестоносец, с дико окаменелым лицом, поехал вперед, не проронив ни слова, будто не слыша, что кто-то с ним говорит.

Он ехал всё дальше и дальше, уже по большой дороге, и, казалось, был погружен в сон.

Недолгим было затишье, и не надолго прояснилось небо. Снова оно потемнело так, будто вечерний сумрак пал на землю, и тучи спустились низко, нависли над самым лесом. В вышине зловеще погромыхивало, словно ангел бури ещё сдерживал нетерпеливый рокот и грохотанье громов. Но молния уже поминутно озаряла ослепительным блеском грозное небо и потрясенную землю, и тогда видна была широкая дорога, бегущая между двумя черными стенами леса, а посреди нее одинокий всадник на коне. Зигфрид ехал в полубеспамятстве, томимый жаром. От отчаяния, снедавшего его душу со времени смерти Ротгера, злодеяний, совершенных из мести, угрызений совести, страшных видений и душевных мук ум его давно мутился, старик был на грани безумия и держался лишь чудовищным усилием воли, порою всё же теряя рассудок. Тяжести пути под жестким надзором чеха, ночь, проведенная в спыховском подземелье, страх перед неизвестностью и этот неслыханный, непостижимый акт всепрощения и милосердия, который просто потряс его, – всё это вконец сокрушило Зигфрида. Порою ум его цепенел, так что старик переставал понимать, что с ним творится; но жар заставлял его очнуться, снова пробуждая в нём смутное чувство отчаяния, подавленности, гибели, чувство, что всё уже миновало, угасло, оборвалось, что пришел конец, что вокруг только ночь да ночь, небытие и ужасная

бездна, полная страхов, к которой он всё же должен идти.

– Иди, иди! – внезапно прошептал у него над ухом чей-то голос.

Он обернулся – и увидел смерть. Белая, в образе скелета, сидела она на скелете коня и, гремя костями, двигалась бок о бок с ним.

– Это ты? – спросил крестоносец.

– Да. Иди, иди!

Но в это мгновение он заметил, что и с другой стороны его сопровождает спутник: стремя в стремя с ним ехало чудище с телом человека, но с головой зверя; длинная, острая, с торчащими ушами, она поросла черной шерстью.

– Кто ты? – воскликнул Зигфрид.

Вместо ответа чудище оскалило зубы и глухо зарычало.

Зигфрид закрыл глаза и в то же мгновение услышал, как загремели кости и голос сказал ему на ухо:

– Пора! Пора! Торопись! Иди!

И он ответил:

– Иду!..

Но собственный голос показался ему чужим.

И, словно движимый непреодолимой силой, побуждаемый толчками извне, он спешился, снял с коня высокое рыцарское седло и узду. Его спутники тоже спешились и, не отходя от Зигфрида ни на мгновение, повели его с середины дороги на опушку леса. Здесь черный упырь наклонил сук и помог крестоносцу привязать к нему ремень узды.

– Торопись! – прошептала смерть.

– Торопись! – зашумели голоса в вершинах деревьев.

Зигфрид как во сне продел в пряжку другой конец повода, сделал петлю и, встав на седло, которое положил под деревом, надел её на шею.

– Оттолкни седло!.. Так! А-а!

Отброшенное ногой седло откатилось на несколько шагов – и тело несчастного крестоносца тяжело повисло в петле.

На один краткий миг ему почудилось, что он слышит хриплый, сдавленный рев, что ужасный упырь, бросившись на него, раскачал его тело и рвет зубами грудь, чтобы впиться в сердце. Потом угасающий его взор увидел, как смерть расплылась в белесое облако; оно медленно надвигалось на него, охватило его, обняло, окружило и наконец всё закрыло жуткой, непроницаемой пеленой.

В эту минуту налетел неистовый порыв бури. Гром грянул в середину дороги с таким ужасающим грохотом, словно сама земля заколебалась в своем основании. Весь лес склонился под дыханием вихря. Шум, свист, вой, скрип стволов и треск ломающихся сучьев наполнили лесные недра. Струи дождя, гонимые ветром, заслонили весь мир, и только при мгновенных огненных вспышках молнии можно было увидеть дико раскачивающийся над дорогой труп Зигфрида.

На другой день по той же дороге подвигался довольно большой отряд. Впереди ехала Ягенка с Анулей и чехом, а за ними следовали повозки под охраной четырех слуг, вооруженных самострелами и мечами. У каждого возницы были под рукой рогатина и секира, не считая окованных вил и другого оружия, которое могло пригодиться в пути. Это было необходимо для защиты и от диких зверей, и от разбойничьих шаек, которые всегда злодействовали на границе ордена, на что в письмах и во время личных встреч в Раценже с горечью жаловался великому магистру Ягайло.

Но с опытными, хорошо вооруженными слугами можно было не опасаться разбойников, и отряд подвигался вперед уверенно и спокойно. После вчерашней бури встал чудный день – свежий, тихий и такой ясный, что там, где не было тени, путники шурились от солнечного блеска. Ни один лист не шевелился на деревьях, и на каждом повисли крупные капли дождя, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. На иглах сосен словно сверкали крупные алмазы. После ливня по дороге с веселым журчаньем сбегали вниз ручейки, образуя в ложбинах маленькие озерца. Всё кругом было окроплено водой, всё было мокрое, но всё улыбалось в сиянье утренних лучей. В такие утра радость овладевает человеческим сердцем, и возницы со слугами мурлыкали песни, дивясь молчанию, которое хранили всадники, ехавшие впереди.

А те молчали потому, что над Ягенкой стряслось большое несчастье. Что-то оборвалось в её жизни, что-то надломилось, и хоть девушка не особенно была склонна к раздумью и не могла дать себе отчет в том, что же с нею творится, что с нею случилось, однако она чувствовала, что всё, чем она до сих пор жила, обмануло её, прахом пошло, что все её надежды пропали, как пропадает утренний туман над полями, что от всего нужно теперь отречься, от всего отказаться, всё предать забвению и как бы начать новую жизнь. Она думала, что, если даже, по воле Божьей, эта новая жизнь и не будет вовсе плоха, она может быть только унылой и никогда не будет такой хорошей, какой могла быть та, которая кончилась.

И сердце её сжималось от безграничной тоски по минувшему, к которому нет возврата, и слезы ручьем готовы были хлынуть из глаз. Но она не хотела плакать; кроме всей тяжести бремени, давившего её душу, она сгорала от стыда. Уж лучше было ей никогда не выезжать из Згожелиц, чем вот так возвращаться теперь из Спыхова. Нет, в душе она не могла отпереться, что приехала сюда не только затем, что не знала после смерти аббата, как быть ей, не только затем, чтобы не дать Чтану и Вильку повода для набега на Згожелицы! Знал об этом и Мацько, который и взял-то её вовсе не по этой причине; неминуемо узнает и Збышко. При этой мысли щеки у девушки запылали, и горько стало у нее на душе. «Мало было у меня гордости, – говорила она в душе, – вот теперь и расплачиваюсь». И к тревоге, к неуверенности в завтрашнем дне, к тоске, терзавшей её, и невыразимым сожалениям о прошлом прибавилось ещё чувство унижения.

Но эти тяжелые мысли были прерваны неизвестным, торопливо шагавшим навстречу отряду. Осторожный чех двинул к нему коня и по самострелу на плече, барсучьей сумке и шапке, украшенной перьями сойки, узнал в неизвестном лесника.

– Эй, кто там, стой! – крикнул он всё же из предосторожности.

Лесник торопливо подошел к ним, лицо у него было взволнованное, как всегда бывает, когда человек хочет сообщить нечто необычайное.

– У дороги висит удавленник! – воскликнул он.

Чех встревожился, не разбойничьих ли это рук дело, и стал живо расспрашивать лесника:

– Далеко ли отсюда?

– Да на выстрел из лука. У самой дороги.

– При нём никого нет?

– Никого. Я только волка спугнул, который его обнюхивал.

Упоминание о волке успокоило Главу, это доказывало, что поблизости не было ни людей, ни засады.

– Посмотри, в чем там дело, – велела Ягенка.

Глава поехал вперед. Через минуту он вернулся уже вскачь.

– Это висит Зигфрид, – крикнул он, осаживая перед Ягенкой коня.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Зигфрид? Крестоносец?

– Крестоносец! Повесился на узде!

– Сам?

– Видно, сам, седло лежит подле. Если бы это были разбойники, они просто убили бы его и седло забрали – оно дорогое.

– Как же нам ехать?

– Не надо туда ехать, не надо! – закричала пугливая Ануля. – Ещё нечисть привяжется!

Ягенка тоже испугалась, она верила, что у трупа самоубийцы собираются тучи злых духов; но смелый Глава, который ничего не боялся, сказал:

– Ну вот! Я был около него, даже рогатиной его тронул, а не слышу, чтоб на шее у меня дьявол сидел.

– Не богохульствуй! – воскликнула Ягенка.

– Я не богохульствую, – возразил чех, – я только верую во всемогущество Божие. Но коли вы боитесь, так можно объехать лесом.

Ануля стала просить объехать лесом; но Ягенка, подумав немного, сказала:

– Нет, нехорошо оставлять умершего без погребения! Это дело христианское,

Христос так велел, а Зигфрид всё-таки человек.

– Да, но крестоносец, висельник и палач! Им воронье займется да волки.

– Не говори глупостей! За грехи его Бог будет судить, а мы должны сделать свое дело. Коли исполним заповедь Божью, никакая нечисть к нам не привяжется.

– Что ж, быть по-вашему! – ответил чех.

И отдал соответствующее приказание слугам, которые послушались его неохотно и с отвращением. Они всё же побаивались Главы и, захватив, за неимением лопат, вилы и топоры, отправились рыть могилу. Желая показать пример, чех тоже пошел с ними и собственноручно перерезал ремень, на котором висел труп.

Лицо Зигфрида уже посинело на воздухе, вид его был страшен, в открытых глазах застыло выражение ужаса, разинутым ртом он словно ловил последний вздох. Могилу вырыли тут же рядом, рукоятями вил сбросили в нее тело вниз лицом, присыпали землей и пошли искать камней, чтобы, по древнему обычаю, завалить ими самоубийцу, который иначе стал бы вставать по ночам и пугать путников.

Камни валялись и на дороге, и среди лесных мхов, и над крестоносцем вскоре поднялась высокая могила. Глава вырубил тогда секирой крест на стволе сосны не для Зигфрида, а для того, чтобы злые духи не собирались в этом месте, и вернулся к отряду.

– Душа его в аду, а тело уже в земле, – сказал он Ягенке. – Теперь можно ехать.

И они тронулись. Проезжая мимо могилы, Ягенка сорвала сосновую ветку и бросила её на камни; её примеру последовали все остальные – так велел обычай.

Долгое время все ехали в задумчивости, вспоминая о зловещем рыцаре-монахе и постигшей его каре.

– Правосудие Божие не знает снисхождения, – сказала наконец Ягенка. – За Зигфрида нельзя даже заупокойную молитву прочесть, нет ему прощения.

– У вас и так душа жалостливая, коли велели вы похоронить его, – ответил чех.

И он заговорил с некоторым колебанием:

– Люди толкуют, а может и не люди, а колдуны да колдуньи, будто веревка или ремень удавленника счастье приносит во всё; но не взял я ремня Зигфрида, не от колдовской силы, от Бога желаю я счастья вам.

Ягенка сперва ничего ему не ответила, потом только сказала со вздохом словно про себя:

– Эх, не впереди, а позади уже мое счастье!

## XXVII

Только через девять дней после отъезда Ягенки Збышко прибыл на границу Спыхова; но Дануся была уже при смерти, и он совсем потерял надежду привезти её к отцу живой. На другой же день после того, как Збышко услышал бессвязный лепет Дануси, он заметил, что у нее не только ум помутился, но что её снедает какой-то недуг,

с которым это дитя, изнуренное неволей, темницей, страданиями и непрерывным страхом, уже не в силах было бороться. Быть может, отголоски ожесточенной битвы, которую Збышко и Мацько вели с немцами, переполнили чашу её страданий, и именно в эту минуту сломил её недуг, во всяком случае, с этой поры горячка не оставляла её всю дорогу. Отчасти это было не так уж плохо, потому что через страшные лесные дебри Збышко, преодолевая невероятные трудности, вез её как мёртвую, в беспамятстве, и она ничего не сознавала. Когда, миновав леса, они вступили в «христианский» край, здесь, среди деревень и шляхетских усадеб, кончились для них опасности и лишения пути. Узнав, что это везут дочь их народа, отбитую у крестоносцев, к тому же родное дитя славного Юранда, о котором гуслеры пели песни по городкам, усадьбам и хатам, люди наперебой предлагали свои услуги. Они доставляли припасы и коней. Все двери были открыты для путников. Теперь Збышко уже не вез Данусю на носилках, притороченных к седлам между конями; сильные юноши несли её на носилках от деревни к деревне, заботливо и осторожно, словно святыню. Женщины окружали её нежными заботами. Мужчины, слушая рассказы о причиненных ей обидах, скрежетали зубами, и не один из них, тут же надев железные доспехи, хватался за меч, секиру или копье и отправлялся вслед за Збышком, чтобы сторицей воздать за эти обиды, ибо для тогдашнего поколения, ожесточившегося в войнах, простая месть показалась бы недостаточной.

Но не о мести думал Збышко в эту минуту, а о Данусе. Он жил между проблесками надежды, когда больной на мгновение становилось лучше, и порывами немощного отчаяния, когда состояние её явно ухудшалось. Он не мог уже больше обманываться.

Не раз в начале пути у него мелькала суеверная мысль, что, быть может, в дебрях, через которые они пробираются, их по пятам преследует смерть, выжидая только удобной минуты, чтобы кинуться на Данусю и высосать из нее остаток жизни. Это видение, вернее, это ощущение, особенно в темные ночи, было так явственно, что его не раз охватывало отчаянное желание повернуться и вызвать костлявую на бой, как вызывают рыцаря, и драться с ней до последнего издыхания. Но ещё хуже стало в конце пути, когда он почувствовал, что смерть уже не позади, а здесь, среди них, невидимая, но такая близкая, что от нее веяло могильным холодом. Он понимал, что против этого врага бессильно мужество, бессильна крепкая рука, бессильно оружие и что самую дорогую для него жизнь ему придется без борьбы отдать ей в добычу.

И это было самое страшное чувство, ибо оно сочеталось со скорбью, сильной, как порыв бури, и глубокой, как море. Как же было Збышку не стонать, как же было не терзаться от муки, когда, глядя на возлюбленную, он говорил ей с невольным укором: «Ужели для того я любил тебя, для того нашел и отбил, чтобы наутро засыпать землей и никогда уж больше не увидеть?» Он глядел при этом на её пылающие от жара щеки, на её помутненные зрачки и невидящий взор и снова вопрошал: «Покинешь меня? И не жаль тебе? Хочешь покинуть, не хочешь оставаться со мною?» Он думал тогда, что сам потеряет рассудок, стон раздирал ему грудь; но, охваченный злобой и гневом на безжалостную силу, слепую и холодную, сокрушившую невинное дитя, он не мог разрешиться слезами. Если бы проклятый крестоносец находился в эту минуту в отряде, Збышко, как дикий зверь, растерзал бы его.

Добравшись до охотничьего княжеского дома, Збышко хотел остановиться; но весною дом был пуст. От сторожей молодой рыцарь узнал, что князь и княгиня отправились в Плоцк к брату князя, Земовиту, и отказался поэтому от намерения ехать в Варшаву, где придворный лекарь мог бы спасти больную. Нужно было продолжать путь в Спыхов, а это было страшно: ему казалось, что конец уже близок и что он

привезет Юранду лишь труп его дочери.

Но в последние часы дороги, уже перед самым Спыховом, в сердце Збышка закрался светлый луч надежды. Щеки у Дануси перестали пылать, глаза уже не были такими мутными, дыхание стало ровней. Збышко сразу заметил это и велел сделать последний привал, чтобы больная могла спокойно подышать. Это было в какой-нибудь миле от Спыхова, вдали от человеческого жилья, на узкой дороге между полем и лугом. Дикая груша росла неподалеку, давая тень от солнца, и отряд остановился под её развесистой вершиной. Спешившись, слуги разнуздали коней, чтобы им легче было щипать траву. Две женщины, нанятые для ухода за Данусей, и юноши, которые её несли, утомленные дорогой и зноем, прилегли в тени и уснули, один Збышко бодрствовал подле носилок и, сидя на корнях груши, не спускал с больной глаз.

А она в послеполуденной тишине спокойно лежала с закрытыми глазами. Збышку, однако, казалось, что она не спит. И действительно, когда на другом конце широкого луга остановился косарь и начал править оселком свою косу, Дануся вздрогнула, на мгновение открыла глаза, но тотчас их снова закрыла; грудь её поднялась от глубокого вздоха, а с уст слетел едва слышный шепот:

– Цветы пахнут...

Это были первые не горячечные, не бредовые слова, которые она вымолвила с начала путешествия; ветерок и впрямь приносил с нагретого солнцем луга сильный смешанный аромат сена, меда и душистых трав. При мысли о том, что к Данусе возвращается память, сердце у Збышка затрепетало от радости. В порыве восторга он хотел броситься к ногам Дануси, но, боясь напугать её, укротил свой порыв и только опустил на носилок на колени и, наклонившись, тихо позвал:

– Дануся, Дануся!

Она снова открыла глаза и некоторое время глядела на него, затем лицо её озарилось улыбкой, и так же, как в избушке смолокуров, но уже более сознательно, она произнесла его имя:

– Збышко!..

И попыталась протянуть к нему руки, но она так уже ослабела, что не смогла этого сделать; он обнял её с сердцем, исполненным радости, словно благодарил за великую милость.

– Ты проснулась! – сказал он. – Слава Богу... Слава Богу...

Голос его пресекся, и некоторое время они в молчании глядели друг на друга. Тишину полей нарушал только благоуханный ветерок с луга, шелестевший листьями груши, стрекотание кузнечиков в траве и далекая, едва слышная песня косаря.

Взгляд Дануси становился всё более осмысленным, она не переставала улыбаться, словно дитя, которое видит во сне ангела. Но вот в её глазах изобразилось удивление.

– Где я?.. – спросила она.

Из уст Збышка посыпался град ответов, голос его прерывался от радости:

– Ты со мной! Под Спыховом! Мы к батюшке едем. Кончились твои беды! О моя Дануська, моя Дануська! Я искал тебя и отбил. Теперь ты уже не во власти немцев. Не бойся! Скоро уж Спыхов. Ты хворала, но Бог над тобой смилосердился. Сколько было мук, сколько слез! Дануська!.. Теперь всё будет хорошо!.. Впереди тебя ждет одно только счастье. Ох, сколько же мне пришлось искать!.. Сколько ездить по свету!.. Господи Боже мой!

И он вздохнул с глубоким стоном, словно сбросил с плеч последнюю тяжесть страданий.

Дануся лежала спокойно, она словно что-то припоминала, о чём-то раздумывала.

– Так ты не забыл меня? – спросила она наконец.

И две слезы медленно покатались по её лицу на изголовье.

– Как же мог я забыть тебя! – воскликнул Збышко.

В этом сдавленном крике было больше силы, чем в самых торжественных клятвах и уверениях, ведь он всей душой любил её всегда, а с той минуты, как нашел, она стала ему дороже всего на свете.

Но вот снова воцарилась тишина; только косарь вдали перестал петь и опять стал править оселком свою косу.

Губы Дануси снова зашевелились, но шептала она так тихо, что Збышко не мог расслышать и, наклонившись, спросил:

– Что ты говоришь, моя ягодка?

– Цветы пахнут... – повторила она.

– Мы подле луга, – ответил он, – скоро поедem дальше... К батюшке, который тоже на воле. Ты будешь моей до гроба. Ты хорошо меня слышишь? Понимаешь меня?

Вдруг его охватила тревога: он заметил, что по лицу Дануси разливается бледность и на нём выступают капельки пота.

– Что с тобой? – спросил Збышко в смертельном страхе. Он почувствовал, что волосы дыбом встанут у него на голове и мороз пробегает по коже.

– Скажи мне, что с тобой? – повторил он.

– Темно! – прошептала она.

– Темно? Солнышко светит, а ты говоришь – темно? – спросил он, задыхаясь. – Ведь только что ты была в памяти! Молю тебя, скажи хоть слово!

Она пошевелила губами, но уже не смогла ничего прошептать. Збышко угадал только, что она произносит его имя, что она зовет его. Затем её исхудалые руки задрожали и стали быстро перебирать покрывало, которым она была укрыта. Это продолжалось с минуту. Обманываться было нельзя – она кончалась!

В ужасе и отчаянии он стал умолять её, словно мольбы могли принести ей спасение:



– Дануська! Боже милосердый!.. Подожди хоть до Спыхова! Подожди! Подожди! О Боже! Боже! Боже!

От этих воплей проснулись женщины и прибежали слуги, которые поблизости стерегли на лугу коней. С первого взгляда они поняли, что происходит, и, опустившись на колени, громко начали читать литанию.

Ветер умолк, перестали шелестеть листья груши, только слова молитвы раздавались в глубокой тишине полей.

Перед самым концом литании Дануся ещё раз открыла глаза, словно желая в последний раз взглянуть на Збышка и на мир, залитый солнцем, и уснула навеки.

Женщины закрыли ей глаза и пошли на луг за цветами. Слуги последовали за женщинами, и все они ходили на солнце, по буйным травам, подобные духам полей, нагибаясь, срывали цветы и плакали, ибо сердца их прониклись жалостью и состраданием. Збышко стоял на коленях в тени подле носилок, припав головой к коленям Дануси, без слов, без движения, как мёртвый, а они все бродили по лугу, то приближаясь, то удаляясь, и рвали золотистые цветки калужницы, и колокольчики, и усеявшую весь луг розовую дрему, и белые, медом пахнущие медуницы. В сырых ложбинках они нашли полевые лилии, а на меже у перелога – дрок. И только тогда, когда они набрали полные охапки цветов, печальным хороводом окружили они носилки и стали их украшать. Они убрали покойницу цветами и травами, оставив открытым только лицо которое тихо белело среди лилий и колокольчиков, погруженное в непробудный сон, светлое, как ангельский лик.

До Спыхова не оставалось и мили, и когда от слез всем стало легче, юноши подняли носилки, и все направились к лесу, где начинались уже владения Юранда.

Слуги, замыкая шествие, вели коней. Сам Збышко нес покойную, он держал носилки в головах; впереди шли женщины с охапками трав и цветов, они пели духовные песнопения; медленно-медленно, как погребальная процессия, подвигались все между зеленым лугом и ровным серым перелогом.

На голубом небе не было ни облачка, и весь мир купался в золотом сиянии солнца.

## XXVIII

Они подошли наконец с телом Дануси к спыховскому лесу, на опушке которого днем и ночью стояли на страже вооруженные слуги Юранда. Один из них поскакал с вестью к старому Толиме и ксёндзу Калебу, другие повели процессию сперва низом, по извиистой, а там по широкой дороге, до самого конца леса, где начинались обширные кочковатые луга и трясины, кишевшие болотными птицами, а за ними на сухой возвышенности стоял спыховский городок. Не успела процессия выйти из лесного мрака на залитый солнцем луг, как до слуха людей долетел погребальный звон, и все поняли, что печальная весть дошла уже до Спыхова. Вскоре навстречу процессии вышла огромная толпа мужчин и женщин. Когда толпа приблизилась на расстояние двух-трех выстрелов из лука, можно было уже различить отдельные лица. Во главе её, нащупывая посохом дорогу, шел Юранд, поддерживаемый Толимой. Его легко было узнать по огромному росту, по красным пустым глазницам и белым, ниспадающим на плечи волосам. Рядом с ним с крестом в руках шел в белом стихаре ксёндз Калёб. За ними несли знамя со знаком Юранда, которое сопровождали вооруженные спыховские «вои», затем шли замужние женщины в покрывалах и девушки с непокрытыми головами. Шествие замыкала колесница, на которую должны были

положить покойницу.

Увидев Юранда, Збышко велел опустить на землю носилки, которые и он всё время нес, поддерживая изголовье, и, подойдя к старому рыцарю, воскликнул неистовым голосом, каким взывает безграничная скорбь и отчаяние:

– Я искал её, пока не нашел, я отбил её, но небо она предпочла Спыхову!

Горе совсем сломило его, и, упав Юранду на грудь, он обнял его за шею и застонал:

– О Иисусе Христе! Иисусе!

Это зрелище так взволновало вооруженных спыховских слуг, что, не зная, как иначе выразить свое горе и жажду мести, они стали ударять копьями о щиты. Женщины заголосили, запричитали, поднеся передники к глазам или совсем закрыв ими головы:

«Ах ты, доля, долюшка! Тебе радость, а нам слезы. Смерть тебя скосила, унесла, костлявая!»

Некоторые, откинув головы и закрыв глаза, вопили:

«Ужель худо тебе было с нами, горлинка, ужель было худо? Оставила ты батюшку в горькой печали, а сама ходишь по Божьим чертогам!»

Иные, наконец, укоряли покойницу за то, что не пожалела она отца и мужа, горькими оставила сиротами. Полунапевен был этот жалостный плач: народ в те времена иначе не умел изливать свою скорбь.

Высвободившись из объятий Збышка, Юранд вытянул посох в знак того, что хочет подойти к Данусе. Тогда Толима и Збышко подхватили его под руки и подвели к носилкам; он опустился перед телом на колени, провел рукой от чела умершей до её рук, сложенных крестом на груди, и закивал головой, словно желая сказать, что это не кто иной, как она, его Дануся, и что он узнает свою дочь. Затем он обнял её одною рукой, а другую, с отрубленной кистью, поднял к небу, и все поняли эту немую жалобу, обращенную к Богу, более красноречивую, чем всякие слова скорби. После короткого взрыва отчаяния лицо Збышка снова застыло; он стоял на коленях по другую сторону носилок, безгласный, подобный каменному изваянию, и такая тишина воцарилась вокруг, что слышно стало, как муха пролетит, как застрекочет кузнечик. Наконец ксёндз Калёб окропил святой водой Данусю, Збышка и Юранда и запел «Requiem aeternam» [18]. Кончив песнопение, он долго молился вслух, и людям казалось, что они слышат пророческий глас, особенно когда ксёндз молился о том, чтобы муки невинного дитяти стали той каплей, которая переполнила бы чашу беззакония, молился о том, чтобы настал день суда и возмездия, гнева и кары господней.

Затем все направились в Спыхов; но Данусю не положили на колесницу, а несли во главе шествия на украшенных цветами носилках. Колокол звонил не переставая и, казалось, звал всех к себе, и все шли с песнопением по широкому лугу, в сиянии золотой вечерней зари, словно умершая и впрямь вела их к вечному сиянию и свету. Когда дошли до Спыхова, вечер спустился, и стада возвращались с пастбищ. Часовня, в которой поставили тело, пылала огнями факелов и свечей. Семь девушек, по приказанию ксёндза Калёба, до рассвета читали попеременно над усопшей

литании. До рассвета не отходил от Дануси и Збышко, и во время утрени сам положил её в гроб, который искусные мастера вытесали за ночь из ствола дуба, вделав в крышку над головой лист золотого янтаря.

Юранда при этом не было, с ним творилось что-то неладное. Сразу же после возвращения домой у него отнялись ноги, а когда его уложили в постель, он остался лежать недвижимо, потерял память и перестал понимать, где он и что с ним творится. Тщетно ксёндз Калёб к нему обращался, тщетно спрашивал, что с ним: Юранд не слышал, не понимал; лежа навзничь, с просветлевшим счастливым лицом, он только поднимал веки над пустыми глазницами и улыбался, шевеля порою губами, словно с кем-то беседуя. Ксёндз и Толима понимали, что это он беседует со своей дочерью в раю и ей улыбается. Понимали они и то, что он уже кончается и что душа его созерцает собственное вечное блаженство; однако ошиблись в этом: бесчувственный, ко всему глухой, Юранд много недель так улыбался, и когда Збышко уехал наконец с выкупом за Мацька, то оставил ещё Юранда живым.

## XXIX

После погребения Дануси Збышко не слег в постель; но жил он в каком-то оцепенении. В первые дни ему не было так худо: он ходил, говорил о покойной жене, навещал Юранда и сживал подле него. Он рассказал ксёндзу о том, что Мацько в неволе, и они решили послать Толиму в Пруссию и в Мальборк разведать, где Мацько, и выкупить его, уплатив сразу и за Збышка столько гривен, сколько Мацько уговорился дать Арнольду фон Бадену с братом. Много было серебра в спыховских подвалах: накопил его Юранд в свое время, хозяйничая в Спыхове и захватывая добычу; ксёндз поэтому полагал, что, получив деньги, крестоносцы и старого рыцаря отпустят и не станут требовать, чтобы молодой сам к ним явился.

– Поезжай в Плоцк, – напутствовал ксёндз Толиму, – да возьми от тамошнего князя охранную грамоту. Иначе тебя первый попавшийся комтур ограбит и посадит в подземелье.

– Да уж я-то их знаю, – ответил старый Толима. – Они умеют грабить и тех, кто приезжает с охранными грамотами.

И старик уехал. Но вскоре ксёндз Калёб пожалел, что не послал самого Збышка. Правда, он боялся, что в первые дни утраты молодому рыцарю это будет не под силу; к тому же, встретясь с крестоносцами, он мог не сдержать своего сердца и не посчитаться с опасностью; понимал ксёндз и то, что рана Збышка свежа и тяжело будет ему, осиротелому, да ещё после ужасного и тягостного пути из далекого Готтесвердера в Спыхов покинуть свежую могилу. Но жалел потом ксёндз, что принял всё это во внимание, так как Збышку день ото дня становилось всё хуже. До смерти Дануси он жил, охваченный страшным порывом, жил в страшном напряжении всех своих сил: ездил на край света, сражался, отбивал жену, продирался с нею сквозь дикие дебри, и вдруг всё оборвалось, всё как отрезало, осталось лишь сознание, что всё пошло прахом, что тщетны были все усилия, и хоть кончилось всё, но ушла и часть жизни, умерла надежда, погибла любовь, ничего не осталось. Всякий живет завтрашним днем, всякий лелеет какие-то замыслы, строит планы на будущее, а для Збышка завтрашний день стал безразличен, и, думая о будущем, он испытывал такое же чувство, как и Ягенка, когда, уезжая из Спыхова, она говорила: «Не впереди, а позади мое счастье». Но в душе Збышка это чувство потерянности, пустоты и сознания своей горькой участи росло на почве безграничной скорби и всё большей тоски по Данусе. Эта тоска овладела им безраздельно, обуяла его, стеснила грудь его так, что не осталось в ней места ни для каких других чувств. Он думал только о своей тоске, ей одной предавался, ею одною жил; безучастный ко всему

остальному, словно погруженный в полусон, он замкнулся в себе и не замечал, что творится вокруг. Все силы его духа и плоти, весь прежний жар его души и пыл пропали. Его взгляд и движения стали медлительны, как у старика. Дни и ночи просиживал он либо в склепе у гробницы Дануси, либо на завалинке, греясь на солнце в полуденные часы. По временам он впадал в забытие и не отвечал на вопросы. Ксендз Калев, который любил Збышка, начал опасаться, что горе точит его, как ржа железо, что иссушит оно хлопца, и с грустью думал, что, может, лучше было отправить его с выкупом к крестоносцам. «Нужно, – говорил он своему слуге, которому, за неимением другого собеседника, поверял свои горести, – чтобы какое-нибудь событие встряхнуло его, как вихрь дерево, не то он совсем пропадет». Служка рассудительно поддакивал и прибавлял для сравнения, что человека, который подавится костью, лучше всего хорошенько стукнуть кулаком по спине.

Никакого события в ту пору не произошло; но спустя несколько недель неожиданно приехал господин де Лорш. Збышко потрясен был, увидев лотарингского рыцаря; ему сразу вспомнился поход на Жмудь, освобождение Дануси. Сам де Лорш не колеблясь касался этих горестных воспоминаний. Узнав о несчастье, он тотчас отправился со Збышком помолиться у гроба Дануси и говорил о ней не умолкая, а затем, будучи отчасти менестрелем, сложил о ней песню, которую ночью под аккомпанемент лютни спел у решётки склепа так трогательно и жалостно, что хоть Збышко и не понимал слов, но от одного напева невольно разрыдался и плакал ночь напролет до рассвета.

А потом, обессилив от горя и слез, он погрузился, усталый, в долгий сон, а когда проснулся, ему стало легче от слез, он стал бодрее, чем раньше, и взгляд его стал живее. Он очень обрадовался господину де Лоршу, поблагодарил его за приезд и начал расспрашивать, откуда он узнал про его несчастье.

Де Лорш через ксендза Калеба ответил, что о смерти Дануси он узнал в Любаве от старого Толимы, которого видел в оковах у тамошнего комтура, но что в Спыхов он ехал для того, чтобы отдаться в руки Збышка.

Весть о том, что Толима в неволе, сильно поразила и Збышка и ксендза. Они поняли, что выкуп пропал; не было ничего труднее на свете, как вырвать у крестоносцев заграбленные деньги. Нужно было, таким образом, ехать к ним с другим выкупом.

– Горе! – воскликнул Збышко. – Бедный дядя ждет меня там, думает, что я его забыл! Теперь мне нужно спешить к нему.

Затем он обратился к господину де Лоршу:

– Знаешь ли ты, как всё случилось? Знаешь ли ты что он в руках крестоносцев?

– Знаю, – ответил де Лорш, – я его видел в Мальборке и потому приехал сюда.

Ксендз Калев стал тут сокрушаться.

– Плохо мы сделали, – говорил он, – но ведь в ту пору все потеряли головы... Да и думал я, что Толима умнее. Почему он не поехал в Плоцк, почему отправился к этим разбойникам безо всякой охранной грамоты?

В ответ на это господин де Лорш только пожал плечами.

– Что им охранные грамоты! Разве мало обид терпит от них сам плоцкий князь? А ваш? На границе вечно битвы и набеги, потому что ваши тоже не остаются в долгу. Любой комтур, – да что там! – любой правитель делает, что хочет, и алчностью они стараются превзойти друг друга...

– Тем более Толима должен был ехать в Плоцк.

– Он так и хотел сделать; но по дороге на границе немцы схватили его на ночлеге. Они бы, наверно, убили старика, если бы он не сказал, что везет деньги любавскому комтуру. Это его спасло, но комтур может выставить теперь свидетелей, что Толима сам сказал об этом.

– А как дядя Мацько, здоров? Не грозит ли ему опасность? – спрашивал Збышко.

– Он здоров, – ответил де Лорш. – Крестоносцы очень озлоблены на «короля» Витовта и на тех, кто помогает жмудицам, и они, наверно, обезглавили бы старого рыцаря, когда бы им не жаль было выкупа. Братья фон Бадены по той же самой причине защищают его, наконец, капитулу важна моя голова, ведь если бы они ею пожертвовали, против них возмутилось бы рыцарство и во Фландрии, и в Гельдерне, и в Бургундии. Вы же знаете, что я графу Гельдернскому сродни.

– А при чем тут твоя голова? – с удивлением перебил его Збышко.

– Да ведь я твой пленник. В Мальборке я вот что сказал: «Коли срубите вы голову старому рыцарю из Богданца, молодой срубит мне...»

– Не срублю, клянусь Богом!

– Я знаю, что не срубишь; но они-то этого боятся, потому и Мацьку ничего не сделают. Говорили мне, будто и ты пленник, будто фон Бадены только отпустили тебя на рыцарское слово и мне не нужно являться к тебе. Но я им ответил, что, когда ты захватил меня, ты был свободен. Вот я и приехал! А покуда я в твоих руках, они ни тебе, ни Мацьку ничего не сделают. Ты фон Баденам уплати выкуп, а за меня потребуй вдвое, а то втрое больше. Придется им заплатить. Я не потому так говорю, что больше вас стою, нет, я хочу наказать их за алчность, которая противна мне. Когда-то я иначе думал про них, а теперь омерзели мне и они, и их гостеприимство. Я отправлюсь искать рыцарских приключений в святую землю, а им не хочу больше служить.

– А то останьтесь у нас, господин, – сказал ксёндз Калёб. – Думаю, что так и придется вам сделать; сомнительно, чтоб они заплатили за вас выкуп.

– Они не заплатят, так я сам заплачу, – ответил де Лорш. – Со мною много слуг и полные повозки добра, хватит...

Ксёндз Калёб повторил Збышку эти слова, к которым Мацько, наверно, не остался бы равнодушным; но Збышко был молод, о богатстве не думал, он ответил де Лоршу:

– Клянусь честью, этому не бывать. Ты был мне братом и другом, и никакого выкупа я от тебя не возьму.

И они обнялись, чувствуя, что связаны отныне новыми узами. Де Лорш сказал с улыбкой:

– Ладно. Пусть только немцы про то не знают, иначе они станут артачиться с Мацьком. Должны они всё-таки заплатить за меня, небось побоятся, что я разглашу при дворах и среди рыцарства, что они охотно зовут в гости и принимают рыцарей, но стоит только гостю попасть в неволю, как они тотчас забывают о нём. А теперь ордену гости очень нужны, боится он Витовта, а ещё больше поляков и их короля.

– Быть по-твоему, – сказал Збышко, – оставайся здесь или в другом каком месте в Мазовии, где пожелаешь, а я поеду в Мальборк за дядей и притворюсь, будто страх как против тебя ожесточился.

– Сделай это, во имя Георгия Победоносца! – воскликнул де Лорш. – Но сперва послушай, что я тебе скажу. Толкуют в Мальборке, будто польский король должен приехать в Плоцк и встретиться с магистром то ли в самом Плоцке, то ли где-то на границе. Крестоносцы очень хотят этой встречи, чтобы выведать у короля, будет ли он помогать Витовту, когда тот открыто объявит им войну за Жмудь. О, они хитры, как змеи, но Витовт похитрее их. Орден боится его, ведь никогда нельзя знать, что он замышляет и что думает делать. «Он отдал нам Жмудь, – говорят в капитуле, – но из-за нее меч его всегда занесен над нашей головой. Одно его слово, – говорят они, – и бунт готов!» Так оно на самом деле и есть. Я должен как-нибудь посетить его двор. Может, подвернется случай принять участие в состязаниях, к тому же я слышал, что дамы там отличаются ангельской красотой.

– Вы, господин, говорили о приезде польского короля в Плоцк? – перебил де Лорша ксёндз Калёб.

– Да. Пусть Збышко присоединится к королевскому двору. Магистр хочет привлечь на свою сторону короля и ни в чем ему не откажет. Вы знаете, если надо, никто не умеет быть покорней крестоносца. Пусть Збышко присоединится к свите короля и требует своего, пусть громче всех кричит о беззакониях ордена. При короле и при краковских прославленных рыцарях, чьи приговоры знает всё рыцарство, его совсем иначе станут слушать.

– Дельный совет, клянусь Богом, дельный! – воскликнул ксёндз.

– Да! – подтвердил де Лорш. – И повод найдется. В Мальборке я слышал, что будут пиры и ристалища, ибо иноземные гости непременно хотят сразиться с рыцарями короля. Боже мой, да ведь должен приехать и сам Хуан из Арагонии, славнейший рыцарь во всём христианском мире. Вы об этом не знаете? Говорят, он вашему Завише прислал из Арагонии перчатку, чтобы при дворах не говорили, будто на свете есть рыцарь, равный ему.

Приезд господина де Лорша, самый вид его и его речи вывели Збышка из того тяжелого оцепенения, в котором он до сих пор находился, и молодой рыцарь с любопытством слушал все новости. Он знал о Хуане из Арагонии; в те времена всякий рыцарь обязан был знать и помнить имена всех прославленных воителей, слава же об арагонском дворянстве, особенно о Хуане, облетела весь мир. Ни один рыцарь не мог устоять в состязании против Хуана, мавры рассеивались при одном виде его доспехов, и все почитали его первым рыцарем в христианском мире.

Вот почему, когда де Лорш упомянул его имя, в Збышке проснулся боевой рыцарский дух, и он стал оживленно расспрашивать:

– Он вызвал на бой Завишу Чарного?

– Похоже, что уж год, как Завиша получил его перчатку и послал ему свою.

– Так Хуан из Арагонии наверно приедет.

– Кто его знает, наверно ли, но слух такой ходит. Крестоносцы давно послали ему приглашение.

– Дай-то Бог увидеть такой бой!

– Дай Бог! – повторил де Лорш. – Пусть даже Хуан победит Завишу, а это легко может случиться, всё равно великая будет слава для польского рыцаря, да и для всего вашего народа, что его вызвал на поединок сам Хуан из Арагонии.

– Поглядим! – сказал Збышко. – Я только говорю: дай-то Бог увидеть!

– Да и я то же говорю.

Однако на этот раз желанию их не суждено было исполниться, ибо в старых хрониках упоминается, что поединок между Завишей и прославленным Хуаном из Арагонии состоялся только лет через пятнадцать в Перпиньяне в присутствии императора Сигизмунда, папы Бенедикта XIII, короля арагонского и множества князей и кардиналов. Завиша Чарный из Гарбова первым же ударом копья свалил с коня своего противника и одержал над ним блестящую победу. А пока и Збышко, и де Лорш радовались при мысли, что, если даже Хуан из Арагонии не сможет явиться в назначенный срок, они и без того увидят славные рыцарские подвиги, ибо в Польше не было недостатка в рыцарях, мало в чем уступавших Завише, а среди гостей ордена всегда можно было найти первостатейных французских, английских, бургундских и итальянских фехтовальщиков, всегда готовых сразиться за первенство.

– Послушай, – сказал Збышко господину де Лоршу, – скучно мне без дяди Мацька, хочется поскорей его выкупить, поэтому завтра на рассвете я выеду в Плоцк. Зачем тебе здесь оставаться? Ты ведь как будто мой пленник, что ж, поедем со мной, увидишь короля и двор.

– Я как раз хотел просить тебя об этом, – ответил де Лорш, – давно уж мне хочется увидеть ваших рыцарей, да и слышал я, что ваши придворные дамы скорей похожи на ангелов, нежели на обитательниц сей земной юдоли.

– Ты то же самое сказал только что о дворе Витовта, – заметил Збышко.

XXX

В душе Збышко укорял себя за то, что, предавшись горю, забыл о дяде, а так как, замыслив дело, он привык тотчас приводить свой замысел в исполнение, то на следующий же день на рассвете выехал с господином де Лоршем в Плоцк. Даже в мирное время пограничные дороги не были безопасными из-за многочисленных разбойничьих шаек; крестоносцы покровительствовали этим шайкам и оказывали им поддержку, за что их жестоко упрекал король Ягайло. Несмотря на жалобы, которые доходили даже до Рима, несмотря на угрозы и строгие меры, соседние комтуры часто разрешали своим наемным кнехтам вступать в разбойничьи шайки; правда, они отрекались от тех, кто имел несчастье попасть в руки поляков, но в то же время укрывали не только в деревнях, но и в своих замках тех, кто возвращался с разбоя с добычей и невольниками.

Нередко в лапы разбойников попадали и путники, и пограничные жители, особенно же часто разбойничьи шайки похищали ради выкупа детей богатых родителей. Но два молодых рыцаря, сопровождаемые, кроме возниц, несколькими десятками вооруженных пеших и конных слуг, не боялись нападения и безо всяких приключений добрались до Плоцка, где их ждала приятная неожиданность.

В корчме они нашли Толиму, который явился в Плоцк накануне их приезда. Оказывается, любавский правитель, узнав, что Толима во время нападения, совершенного на него неподалеку от Бродницы, успел спрятать часть выкупа, отправил старика в бродницкий замок, поручив местному комтуру вынудить пленника сознаться, где спрятаны деньги. Толима воспользовался случаем и бежал. Когда рыцари спросили в удивлении, как ему удалось это сделать, старик объяснил им:

– Всему причиной их алчность. Бродницкий комтур не хотел, чтобы разнесся слух об этих деньгах, и приставил ко мне небольшую стражу. Может, он уговорился с любавским комтуром поделить деньги, и оба они опасались, как бы не раскрылась тайна, а то им пришлось бы тогда отослать львиную долю в Мальборк, а может, и отдать все деньги фон Баденам. Поэтому комтур приставил ко мне только двух человек: своего верного кнехта, который должен был грести со мной, когда мы плыли по Дрвенце, и какого-то писца... Не хотел комтур, чтобы кто-нибудь нас видел, и отправил нас к ночи, а вы знаете, граница там рядом. Дали мне дубовое весло... ну, с Божьей помощью... я вот теперь и в Плоцке.

– Вижу, ну, а те не вернулись? – воскликнул Збышко.

Суровое лицо Толимы озарилось улыбкой.

– Да ведь Дрвенца в Вислу течет, – сказал он. – Как же могли они вернуться против течения? Крестоносцы их найдут разве только в Торуне.

Помолчав с минуту времени, старик прибавил, обращаясь к Збышку:

– Часть денег заgrabил у меня любавский комтур, а те, что я спрятал, когда немцы на меня напали, я нашел и отдал на хранение вашему оруженосцу; он живет в княжеском замке, там безопасней, чем здесь, в корчме.

– Мой оруженосец в Плоцке? Что он здесь делает? – спросил в удивлении Збышко.

– Да ведь он привез Зигфрида в Спыхов, а сам уехал потом с той панной, что была там; она стала теперь придворной здешней княгини. Так он мне вчера рассказывал.

Будучи в Спыхове, Збышко после смерти Дануси был так подавлен горем, что ни о чём не расспрашивал и ничего не знал; только теперь он вспомнил, что он и Мацько услали чеха с Зигфридом вперед; при воспоминании о крестоносце сердце его сжалось от боли и жажды мести.

– Верно! – сказал он. – А где же этот палач? Что с ним?

– Разве ксёндз Калёб вам не говорил? Зигфрид повесился и вы, пан, наверно, проезжали мимо его могилы.

На минуту воцарилось молчание.



– Оруженосец сказал мне, – заговорил наконец Толима, – будто собирается к вам; он давно бы приехал, да пришлось за панной присматривать: она после приезда из Спыхова заболела тут.

Страхнув с себя, как сон, печальные воспоминания, Збышко снова спросил:

– За какой панной?

– Ну, за вашей сестрой не то родичкой, – ответил старик, – той, что, перерядившись оруженосцем, приезжала в Спыхов с рыцарем Мацьком, что пана нашла, когда он ошупью брел по дороге. Кабы не она, так ни рыцарь Мацько, ни ваш оруженосец не признали б его. Очень её потом наш пан полюбил, а уж она за ним как родная дочка ходила, только она одна да ксёндз Калёб его и понимали.

Молодой рыцарь в изумлении раскрыл глаза.

– Ни о какой панне мне ксёндз Калёб не говорил, да и родички у меня нет никакой.

– Не говорил он потому, что вы от горя себя не помнили, ничего не знали, не видели.

– Как же звали эту панну?

– Звали её Ягенка.

Збышку показалось, что всё это сон. Мысль о том, что Ягенка могла приехать из далеких Згожелиц в Спыхов, просто не укладывалась в его голове. Зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что он пришелся по сердцу девушке, что она льнула к нему в Згожелицах; но он ведь признался ей, что женат, и никак не мог предположить, что старый Мацько мог взять её с собой в Спыхов с намерением выдать за него замуж. Впрочем, ни Мацько, ни чех и не заикнулись ему об Ягенке. Всё это показалось Збышку чрезвычайно странным и совершенно непонятным; не веря своим ушам и желая ещё раз услышать невероятную новость, он снова засыпал Толиму вопросами.

Но Толима больше ничего не мог прибавить к своему рассказу; он тотчас отправился в замок искать оруженосца и вскоре вернулся с ним, ещё даже солнце не зашло. Чех, который уже знал обо всём, что произошло в Спыхове, с радостью, но вместе с тем и с некоторой грустью приветствовал молодого господина. Чувствуя в нём верного товарища и друга, Збышко от души ему обрадовался, ибо в беде человек больше всего нуждается в дружеском участии. Он растрогался и расчувствовался, рассказывая чеху о смерти Дануси, и Глава, как брат с братом, разделил с ним его горести и сожаления и поплакал вместе со своим господином. На всё это ушло довольно много времени, тем более что, по просьбе Збышка, господин де Лорш, став у отворенного окна и устремив глаза к звездам, пропел ещё раз под звуки цитры печальную песню, сложенную им в честь покойной.

Только тогда, когда всем стало легче, заговорили они о делах, которые ждали их в Плоцке.

– Я заехал сюда по дороге в Мальборк, – сказал Збышко, – дядя Мацько в неволе, и я еду за ним с выкупом.

– Знаю, – ответил чех. – Вы хорошо сделали, пан. Я сам хотел скакать в Спыхов,

чтобы посоветовать вам ехать через Плоцк; король собирается в Раценже вести переговоры с великим магистром, а при короле легче чего-нибудь добиться: в присутствии его величества крестоносцы не так заносчивы и стараются напустить на себя христианскую добродетель.

– Толима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя задержала болезнь Ягенки. Я слышал, что её сюда привез дядя Мацько и что она была в Спыхове. Я очень удивился! Ну, рассказывай, по какой причине дядя Мацько взял её из Згожелиц?

– Много было причин. Рыцарь Мацько опасался оставить её там безо всякой опеки, а то рыцари Вильк и Чтан стали бы учинять набеги на Згожелицы, и при этом могли бы пострадать младшие дети. А без панны детям было бы спокойнее; вы ведь знаете в Польше случается, что шляхтич, коли иначе у него ничего не выходит, похищает девушку силой, ну, а на малых сирот никто руки не поднимет, ведь за это грозит и меч палача, и, что ещё горше, позор! Но была и другая причина: аббат умер и отказал панне все свои владения, а здешнего епископа назначил её опекуном. Рыцарь Мацько и решил привезти панну в Плоцк.

– Но зачем он взял её с собой в Спыхов?

– Взят на то время, пока не было епископа и князя с княгиней, не на кого ему было оставить её. Счастье, что взял. Не будь панночки, мы со старым паном миновали бы рыцаря Юранда, как незнакомого нищего. Только когда она над ним сжалась, узнали мы, что это за нищий. Это всё Господь устроил, сердце дал ей доброе.

И чех начал рассказывать, как Юранд потом не мог обойтись без Ягенки, как любил он и благословлял её, а Збышко, хоть и знал уже об этом от Толимы, с волнением слушал его рассказ, и сердце его проникалось чувством благодарности к Ягенке.

– Дай ей Бог здоровья! – сказал он наконец. – Удивительно только мне, что вы ничего о ней не сказали.

Чех смутился и, желая выиграть время, спросил:

– Где, господин?

– Да у Скирвойла, там, в Жмуди.

– Разве мы не говорили? В самом деле! А мне кажется что говорили, но вы были заняты другим.

– Вы говорили, что Юранд вернулся, а про Ягенку не сказали ни слова.

– Ой, не забыли ли вы? А впрочем, кто его знает! Может, рыцарь Мацько думал, что я вам рассказал, а я на него понадеялся. Да и рассказывать вам тогда было дело напрасное. И не удивительно! А теперь я вам другое скажу: счастье, что панночка здесь, она может помочь и рыцарю Мацьку.

– А что она может сделать?

– Пусть только замолвит слово княгине, которая очень любит её! А княгине крестоносцы ни в чем не отказывают, она ведь родная сестра королю да к тому же большой друг ордена. Вы, может, слышали, князь Скиргайло[19], – он тоже родной

брат королю, – восстал сейчас против князя Витовта и бежал к крестоносцам, которые хотят помочь ему и посадить его на стол Витовта. Король крепко любит княгиню и, говорят, очень прислушивается к её советам, а крестоносцы хотят, чтобы она склонила его на сторону Скиргайла и восстановила против Витовта. Они понимают, черт бы их побрал, что стоит им только избавиться от Витовта – и ордену не будет больше грозить никакая опасность! Вот послы ордена с утра до ночи только и делают, что челом бьют княгине, стараются угадать всякое её желание.

– Ягенка очень любит дядю Мацька и, наверно, вступится за него, – сказал Збышко.

– Это уж непременно! Идите, пан, в замок и расскажите ей, что и как она должна говорить.

– Мы и так с рыцарем де Лоршем собирались отправиться в замок, – ответил Збышко, – за тем я сюда и приехал. Нам надо только завить волосы и приодеться.

Через минуту он прибавил:

– Хотел я в горе волосы себе обрезать, да позабыл.

– Оно и лучше! – заметил чех.

И вышел, чтобы позвать слуг. Когда чех вернулся с ними, оба молодых рыцаря стали наряжаться, чтобы отправиться в замок на пир, а он продолжал рассказывать о том, что делается при королевском и княжеском дворах.

– Крестоносцы, – рассказывал он, – всё строят козни против князя Витовта, они знают, что, покуда он жив и по милости короля правит могущественной страной, им не знать покоя! Они и в самом деле только его и боятся! Ох, и подкапываются же, ох, и подкапываются, как кроты! Восстановили уже против него здешних князя и княгиню, князь Януш, по их проискам, и то косится уже на Витовта за Визну[20]...

– Так князь Януш и княгиня Анна тоже здесь? – спросил Збышко. – Да, знакомых здесь пропасть найдется, ведь я не в первый раз в Плоцке.

– Как же! – ответил оруженосец. – Оба они здесь. У них много дел с крестоносцами, они в присутствии короля хотят предъявить свои жалобы магистру.

– А как король? На чьей он стороне? Ужель не гневается на крестоносцев, ужель не грозит поднять меч на них?

– Король не любит крестоносцев и, говорят, давно грозит им войной... Что ж до князя Витовта, то король его больше любит, чем родного брата Скиргайла, буяна и пьяницу... Потому-то рыцари его величества толкуют, будто король не пойдет против Витовта и не даст крестоносцам обещания не помогать ему. Так оно, верно, и есть, уж очень здешняя княгиня Александра увивается в последние дни около короля, и что-то очень она приуныла.

– Завиша Чарный здесь?

– Его нет, но и на тех, кто уже приехал, любо-дорого поглядеть, и уж если дело дойдет до драки – только перья полетят от немцев!

– Мне жалеть их не приходится.

Вскоре пышно одетые рыцари направились в замок. Пир в этот вечер должен был состояться не у князя, а у городского старосты Анджея из Ясенца в его обширной усадьбе, расположенной в стенах замка у большой башни. Стояла чудная, необыкновенно теплая ночь, и староста, опасаясь, чтобы гостям в покоях не было душно, велел поставить столы во дворе, где между каменными плитами росли рябины и тисы. Плающие смоляные бочки освещали их ярким желтым пламенем, но ещё ярче их освещала луна; словно серебряный рыцарский щит, сверкала она на безоблачном небе среди мириад звезд. Коронованные гости ещё не прибыли, но во дворе было полным-полно местных рыцарей, духовенства, королевских и княжеских придворных. Збышко знал многих из них, особенно придворных князя Януша, а из старых краковских знакомых он увидел Кшона из Козихглов, Лиса из Тарговиска, Марцина из Вроцимовиц, Домарата из Кобылян, Сташка из Харбимовиц и, наконец, Повалу из Тачева, встрече с которым он особенно обрадовался, вспомнив, как сердечно отнесся к нему в свое время в Кракове этот прославленный рыцарь.

Однако ни к одному из краковских рыцарей Збышко не мог подступиться; местные мазовецкие рыцари окружили каждого из них тесной толпой и расспрашивали про Краков, про двор, про потехи и боевые подвиги; они разглядывали пышные наряды рыцарей, их чудные кудри, смазанные для большей крепости завивки яичным белком, и всё у них представлялось мазурам образцом изысканности и благоприличия.

Но тут Збышка заметил Повала из Тачева и, растолкав мазуров, подошел к нему.

– Я узнал тебя, юноша, – сказал он, пожимая ему руку. – Как живешь-можешь и как ты сюда попал? Боже мой, ты, я вижу, уже носишь рыцарский пояс и шпоры! Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, доблестно служишь Георгию Победоносцу.

– Да пошлет вам Бог счастья, благородный рыцарь, – ответил Збышко. – Если бы я свалил с коня самого славного немца, и то не обрадовался бы так, как сейчас, увидев вас в добром здоровье.

– Я тоже рад. А где твой отец?

– Не отец, а дядя. Он в неволе у крестоносцев, и я еду к ним с выкупом за него.

– А та девочка, которая накрыла тебя покрывалом?

Збышко ничего не ответил, только поднял к небу глаза, полные слез.

– Юдоль плачевная, – сказал, заметив эти слезы, пан из Тачева, – истинно юдоль плачевная! Пойдем-ка присядем на скамью под рябиной, расскажешь мне про свои горести.

И он увлек молодого рыцаря в угол двора. Там они сели рядышком, и Збышко стал рассказывать Повале о горькой участи Юранда, о похищении Дануси, о том, как искал он её и как она умерла после того, как он отбил её у немцев. Повала внимательно слушал, и на лице его отражались то изумление, то гнев, то негодование, то сожаление. Когда Збышко кончил, он сказал:

– Я расскажу об этом королю, нашему государю! Он и так собирается потребовать у магистра выдачи маленького Яська из Креткова и сурового наказания похитителей. А похитили его крестоносцы потому, что он богат, они хотят получить выкуп. Им

ничего не стоит поднять руку даже на ребенка.

Он задумался и, как бы говоря с самим собой, продолжал:

– Ненасытное это племя, хуже турок и татар. В душе они боятся и короля, и нас, а всё-таки не могут удержаться от грабежей и убийств. Учиняют набеги на деревни, режут крестьян, топят рыбаков, как волки хватают детей. А что было бы, когда б они не боялись!.. Магистр шлет иноземным дворам жалобы на короля, а в глаза лебезит перед ним, зная лучше других, как мы сильны. Но есть предел терпению!

И он снова умолк.

– Я расскажу королю, – повторил он, положив Збышку руку на плечо, – в нём давно кипит гнев, и будь уверен, что виновникам твоего несчастья не миновать жестокой кары.

– Их никого уж нет в живых, – сказал Збышко.

Повала поглядел на него с горячей приязнью.

– Так вот ты какой! Видно, никому не прощаешь. Одному только Лихтенштейну ещё не отплатил; но я знаю, что ты не мог этого сделать. Мы в Кракове тоже дали обет биться с ним, да, верно, придется ждать войны, если б только Бог послал её! Ведь Лихтенштейн без дозволения магистра не может драться, а магистр, доверяя его уму, все посылает его с поручениями к разным дворам и вряд ли позволит ему выйти на поединок.

– Сначала я должен выкупить дядю.

– Да... а впрочем, я спрашивал про Лихтенштейна. Здесь его нет, не будет и в Раценже, магистр послал его к английскому королю за лучниками. А о дяде не беспокойся. Стоит королю или здешней княгине слово сказать, и магистр никаких плутней с выкупом не допустит.

– Тем более что у меня в неволе рыцарь де Лорш; он человек богатый и знатный и в почёте у них. Рыцарь де Лорш за честь почтет прийти к вам с поклоном и свести с вами знакомство; никто не преклоняется так перед славными рыцарями, как он.

С этими словами он сделал знак господину де Лоршу, стоявшему неподалеку, и тот, ещё раньше узнав, с кем беседует Збышко, поспешил к нему, горя желанием познакомиться с таким славным рыцарем, как Повала.

Когда Збышко представил его Повале, изысканный гельдернский рыцарь отвесил изящный поклон и сказал:

– Пожать вашу руку – великая честь, но ещё большая – сразиться с вами на ристалище или в битве.

Могучий рыцарь из Тачева, который по сравнению с маленьким и щуплым господином де Лоршем казался просто горой, с улыбкой ответил:

– А я рад, что мы встретимся с вами только за полными чарами, и дай Бог нам никогда иначе не встречаться.

После минутного колебания де Лорш с некоторой робостью сказал:

– Если бы, однако, благородный рыцарь, вы пожелали утверждать, что панна Агнешка из Длуголяса – не самая прекрасная и добродетельная дама на свете... для меня было бы большой честью... не согласиться с вами и...

Он прервал свою речь и бросил на Повалу почтительный, даже восхищенный, но в то же время пристальный и настороженный взгляд.

Но то ли потому, что Повала мог раздавить его, как орех, двумя пальцами, то ли потому, что он был человек необыкновенно добродушный и веселый, только он громко рассмеялся и сказал:

– Ба, в свое время я избрал дамой сердца герцогиню Бургундскую, которая была тогда лет на десять старше меня, и если вы, рыцарь, желаете утверждать, что моя герцогиня не старше вашей панны Агнешки, что ж, нам надо сейчас же садиться на конь...

Де Лорш, услышав эти слова, воззрился в изумлении на пана из Тачева, затем лицо его затряслось от смеха, и он разразился неудержимым хохотом.

А Повала наклонился, обхватил рукой де Лорша, поднял его и стал раскачивать в воздухе с такой легкостью, словно тот был младенцем.

– «Рах! Рах!» – как говорит епископ Кропило... Вы пришли мне по сердцу, рыцарь, и, ради Бога, не надо драться из-за всяких дам.

Затем он сжал его в объятиях и поставил на землю, так как в это время у ворот внезапно загремели трубы и появился князь Земовит плоцкий с супругой.

– Князь и княгиня прибывают раньше короля и князя Януша, – сказал Повала Збышку.  
– Хоть пир и у старосты, но в Плоцке-то они хозяева. Пойдем со мной к княгине, ты знаешь её ещё по Кракову, она ходатайствовала тогда за тебя перед королем.

И, взяв Збышка за руку, он повёл его через двор. За князем и княгиней следовали придворные дамы и кавалеры; все они были так разодеты по случаю присутствия короля, что, казалось, весь двор покрылся цветами. Идя с Повалой, Збышко издали приглядывался, не встретится ли знакомое лицо, и вдруг замер в изумлении.

Позади княгини он и впрямь увидел знакомую фигуру и знакомое, но такое серьезное, такое прекрасное и такое благородное лицо, что молодой рыцарь подумал сперва, не обманывает ли его зрение.

«Ягенка это или, быть может, дочь князя плоцкого?»

Но это была Ягенка из Згожелиц; когда глаза их встретились, она улыбнулась ему дружеской и сочувственной улыбкой и потупилась; побледнев, стояла она с золотой повязкой на темных волосах, в ослепительном сиянии своей красоты – высокая, печальная и прекрасная, словно княжна или подлинная королева.

XXXI

Збышко преклонил колена перед княгиней плоцкой и предложил ей свою верную службу; но княгиня, которая давно его не видела, в первую минуту не признала молодого рыцаря. Только когда Збышко назвался, она сказала ему:

– Ах, вот что! А я думала, это кто-нибудь из свиты короля. Збышко из Богданца! Как же, как же! У нас гостил ваш дядя, старый рыцарь из Богданца; помню, мы с дамами ручьи слез лили, когда он рассказывал нам о вас. Нашли ли вы свою жену? Где она сейчас?

– Она умерла, милостивейшая пани...

– Господи Иисусе! Нет, нет, не говорите, я не могу сдержаться от слез. Одно утешение, что она, наверно, на небесах, а вы ещё так молоды. Всемогущий Боже! Женщина – такое слабое существо. Но на небесах нас ждет за всё награда, и вы её там найдете. А старый рыцарь из Богданца с вами?

– Нет, он в неволе у крестоносцев, и я еду к ним, чтобы выкупить его.

– Так и ему не повезло. А он показался мне человеком ловким и бывалым. Когда выкупите его, заезжайте к нам. Мы примем вас с радостью: сказать по правде, он ума палата, а вы уж очень хороши собою.

– Мы так и сделаем, милостивейшая пани, тем более что я нарочно приехал сюда просить вас замолвить слово за дядю.

– Хорошо. Зайдите завтра перед выездом на охоту, – у меня будет свободное время...

Но тут её прервал гром труб и литавр, возвестивших о прибытии князя Януша мазовецкого с женой. Збышко с княгиней плочкой стояли у самого входа, так что княгиня Анна Данута сразу заметила молодого рыцаря и тотчас к нему подошла, не обращая внимания на поклоны старосты, хозяина дома.

Когда Збышко увидел Анну Дануту, снова стало рваться пополам его сердце; он преклонил колена перед княгиней, обнял её ноги и замер, безгласный, она же наклонилась над ним и, сжав его виски, роняла слезы на его светлую голову, как мать, плачущая по горю сына.

К большому удивлению придворных и гостей, она долго так плакала, всё повторяя: «О Иисусе, Иисусе милостивый!», а затем велела Збышку встать и сказала:

– Я плачу о ней, о моей Дануське, и плачу по твоему горю. Но так уж угодно Богу, что напрасны все твои труды, как напрасны теперь и наши слезы. Расскажи мне про нее и про её кончину, до полуночи могу я слушать и не наслушаться.

И она увлекла его в сторону, как увлек его раньше пан из Тачева. Гости, не знавшие Збышка, стали расспрашивать о его приключениях, и, таким образом, некоторое время все говорили только о нём, о Данусе и Юранде. Расспрашивали про Збышка и послы крестоносцев – торуньский комтур Фридрих фон Венден, присланный для встречи короля, и комтур из Остероде Иоганн фон Шенфельд. Последний хоть и был немцем, но родился в Силезии и хорошо изъяснялся по-польски; он легко дознался, в чем дело, и, выслушав рассказ придворного князя Януша, Яська из Забежа, сказал:

– Сам магистр подозревал, что Данфельд и де Лёве были чернокнижниками.

Но тут же спохватился, что рассказ о подобных вещах может набросить на орден такую же тень, как в свое время на тамплиеров[21], и поспешил прибавить:

– Болтуны переносили такие сплетни; но это неправда, среди нас нет чернокнижников.

Однако пан из Тачева, стоявший неподалеку, возразил:

– Кому не с руки было крестить Литву, тому может быть противен и крест.

– Мы на плащах носим крест, – гордо ответил Шенфельд.

– А его надо носить в сердцах, – отрезал Повала.

Но тут ещё громче заиграли трубы, и появился король в сопровождении гнезненского архиепископа, епископа краковского и епископа плоцкого, краковского каштеляна и множества других сановников и придворных, среди которых был и Зындрам из Машковиц герба Солнце, и приближенный короля, молодой князь Ямонт. Король мало изменился с той поры, как Збышко его видел. На щеках его играл такой же яркий румянец, длинные волосы он, как и тогда, поминутно закладывал за уши, и по-прежнему беспокойно бегали его глаза. Збышку показалось, что король стал более важен и величествен, он как будто почувствовал себя уверенней на троне, от которого после смерти королевы хотел отказаться, но надеясь его удержать, как будто стал сознавать непобедимое свое могущество и силу. Оба мазовецких князя стали по бокам короля, впереди отвешивали поклоны послы-немцы, а вокруг расположились сановники и придворная знать. Стены, которыми был обнесен двор, сотрясались от непрерывных кликов, звуков труб и грома литавр.

Когда наконец воцарилась тишина, посол ордена фон Венден начал что-то говорить о делах ордена; но король, с первых же слов догадавшись, куда он клонит, махнул в нетерпении рукой и сказал своим низким и зычным голосом:

– Помолчи-ка! Мы пришли сюда для забавы и не твои пергаменты хотим видеть, а яства и питья.

Однако король добродушно при этом улыбнулся, чтобы крестоносец не подумал, будто на него гnevаются, и прибавил:

– О делах мы успеем поговорить с магистром в Раценже.

Затем он обратился к князю Земовиту:

– А завтра как, в пушу на охоту?

Этот вопрос означал, что нынче вечером король ни о чём не хочет говорить, кроме охоты; он был страстным охотником и с удовольствием приезжал поохотиться в Мазовию, так как Малая и Великая Польша не были особенно лесисты, а некоторые земли там были уже так густо заселены, что лесов оставалось вовсе немного.

Лица присутствующих оживились, все знали, что за разговором об охоте король бывает и весел, и чрезвычайно милостив. Князь Земовит стал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться, а князь Януш велел одному из придворных привести из города двух своих «хранителей», которые выводили из лесных дебрей зубров за рога и ломали кости медведям; князь желал показать королю своих богатей.



Збышку очень хотелось подойти и поклониться государю, но он не мог к нему подступиться. Только князь Ямонт, забыв, видно, какой резкий отпор дал ему в свое время молодой рыцарь в Кракове, дружески кивнул ему издали головой, знаками приглашая при первой же возможности подойти к нему. Но в эту минуту чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря, и он услышал нежный, печальный голос:

– Збышко...

Молодой рыцарь повернулся и увидел Ягенку. Он всё был занят, то приветствовал княгиню Александру, то беседовал с княгиней Анной Данутой, и не мог подойти к девушке; воспользовавшись замешательством, вызванным прибытием короля, Ягенка сама подошла к нему.

– Збышко, – повторила она, – да будет Бог тебе утешением и Пресвятая Дева.

– Пусть Бог вознаградит вас за ваши слова, – ответил рыцарь.

И с благодарностью заглянул в её голубые глаза, которые в эту минуту словно подернулись влагой. В молчании стояли они друг перед другом; хоть она пришла к нему как добрая и печальная сестра, но так царственна была её осанка и так пышен придворный наряд, что она показалась Збышку совсем непохожей на прежнюю Ягенку, и в первую минуту он не посмел обратиться к ней на «ты», как когда-то в Згожелицах и Богданце. Она же подумала, что нет у неё больше слов, не знает она, о чём говорить с ним.

И на лицах их изобразилось смущение. Но в эту минуту шум поднялся во дворе: это король садился за ужин. Княгиня Анна снова подошла к Збышку и сказала ему:

– Печален будет этот пир для нас обоих, а всё же ты служи мне, как прежде служил.

Молодой рыцарь вынужден был оставить Ягенку и, когда все гости заняли свои места, встал у скамьи позади княгини, чтобы менять ей блюда и наливать воды и вина. Молодой рыцарь при этом невольно поглядывал на Ягенку, которая, как придворная княгини плочкой, сидела рядом с нею, и невольно любовался красотой девушки. За эти годы Ягенка сильно выросла; но не от того она так изменилась, что стала выше ростом, с виду стала она величава, чего раньше у нее не было и следа. Прежде, когда она в кожанке, с листьями в растрепанных волосах скакала на коне по борам и лесам, её можно было принять за хорошенькую поселянку, теперь же по спокойствию, разлитому на её лице, в ней сразу можно было признать девушку знатного рода и благородной крови. Збышко заметил также, что прежняя её веселость пропала, но не очень этому удивился, зная о смерти Зыха. Но больше всего изумило его то достоинство, с каким держалась Ягенка; сначала ему даже показалось, что это наряд придает ей столько достоинства. Он всё поглядывал то на золотую повязку, охватывавшую её белоснежное чело и темные косы, падавшие на плечи, то на голубое узкое платье с пурпурной каймой, плотно облегавшее её стройный стан, её девическую грудь, и думал: «Княжна – да и только!» Но потом он понял, что не один наряд тому причиной, что надень она сейчас даже простой кожанок, всё равно он не сможет уже держаться с нею так свободно и смело, как раньше.

Потом он заметил, что многие рыцари помоложе и даже постарше пожирают Ягенку глазами, а меняя княгине блюдо, перехватил устремленный на девушку восторженный взгляд господина де Лорша и возмущился в душе. От внимания Анны Дануты не

ускользнул этот взгляд, и, узнав вдруг гельдернского рыцаря, она сказала:

– Погляди на де Лорша! Верно, опять в кого-нибудь влюбился, опять его кто-то ослепил.

Она слегка наклонилась при этом над столом и, поглядев в сторону Ягенки, заметила:

– Не диво, что при этом факеле гаснут все свечи!

Збышка влекло к Ягенке, она казалась ему родною душой, любимой и любящей его сестрой; он чувствовал, что ни в чьем сердце не найдет больше сочувствия, что никто полней не разделит с ним его печаль; но в тот вечер ему не пришлось больше поговорить с нею и потому, что он прислуживал княгине, и потому, что на пиру всё время пели песенники или так оглушительно гремели трубы, что даже соседи едва слышали друг друга. Обе княгини со своими дамами вышли из-за стола раньше короля, князей и рыцарей, имевших обыкновение засиживаться за кубками до поздней ночи. Ягенке, которая несла за княгиней подушку для сиденья, неудобно было задержаться, и она тоже ушла, улыбнувшись Збышку и кивнув ему на прощанье головой.

На рассвете молодой рыцарь и господин де Лорш возвращались со своими двумя оруженосцами в корчму. Некоторое время они шли молча, погружившись в свои мысли, и только у самого дома де Лорш сказал что-то своему оруженосцу, поморянину, хорошо знавшему польский язык.

– Мой господин хотел бы кой о чём вас спросить, ваша милость, – обратился тот к Збышку.

– Пожалуйста, – ответил Збышко.

– Мой господин спрашивает: смертна ли плотью та панна, с которой вы, ваша милость, беседовали перед пиром, или это ангел, иль, может, святая?

– Скажи твоему господину, – с некоторым нетерпением ответил Збышко, – что он меня об этом уже раньше спрашивал и что мне странно слышать это. В Спыхове он говорил мне, что собирается ко двору князя Витовта ради красоты литвинок, затем по той же причине хотел съездить в Плоцк, сегодня в Плоцке собирался вызвать на поединок рыцаря из Тачева из-за Агнешки из Длуголяса, а теперь уж ему полюбилась другая. Где же его постоянство и рыцарская верность?

Господин де Лорш выслушал этот ответ из уст своего поморянина, глубоко вздохнул, поглядел с минуту на бледнеющее ночное небо и вот что ответил на упреки Збышка:

– Ты прав. Ни постоянства, ни верности! Грешен я и недостойн носить рыцарские шпоры. Что до Агнешки из Длуголяса – это верно, я поклялся служить ей и, даст Бог, сдержу свою клятву, но ты сам возмутишься, когда я расскажу тебе, как жестоко обошлась она со мною в черском замке.

Он снова вздохнул, снова поглядел на небо, которое на востоке алело уже от яркой полосы зари, и, подождав, пока поморянин переведет его слова, повёл свой рассказ:

– Сказала она мне, будто есть у нее враг чернокнижник, живет он будто в башне

среди лесов и каждый год весной посылает к ней дракона, который, приблизившись к стенам черского замка, высматривает, нельзя ли её похитить. Как услышал я про это, тотчас сказал ей, что сражусь с драконом. Нет, ты только послушай, что было дальше! Пришел я на указанное место и вижу: ждет меня, замерев на месте, свирепое чудовище. Радость залила мою грудь, как подумал я, что либо паду, либо спасу деву от мерзкой драконьей пасти и покрою себя бессмертной славой. Но как ты думаешь, что я увидел, когда ткнул чудовище копьем? Большой мешок соломы на деревянных подпорках с хвостом из соломенного жгута! И не славу снискал я себе, а стал всеобщим посмешищем, так что потом мне пришлось вызвать на поединок двоих мазовецких рыцарей, которые в единоборстве порядком меня помяли. Так поступила со мною та, которую я боготворил и которую одну только хотел любить...

Переведя рассказ рыцаря, поморянин то щеку подпирал языком, то прикусывал его, чтобы не прыснуть со смеху, да и Збышко в другое время тоже, наверно, хохотал бы; но от страданий и горестей он совсем разучился смеяться.

– Может, – серьезно заметил молодой рыцарь, – она это не по злобе сделала, а по легкомыслию.

– Я всё ей простил, – ответил де Лорш, – и лучшее тому доказательство то, что, защищая её красоту и добродетель, я хотел драться с рыцарем из Тачева.

– Не надо с ним драться, – ещё серьезнее сказал Збышко.

– Я знаю, что это идти на верную смерть, но лучше погибнуть, чем жить в вечной тоске и печали...

– Пану Повале всё это уже ни к чему. Давай лучше сходим к нему завтра, и ты сведешь с ним дружбу.

– Так я и сделаю, он ведь и сам прижал меня к сердцу; только завтра он едет с королем на охоту.

– Тогда сходим к нему пораньше. Король страстный охотник, но и отдохнуть не прочь, а сегодня он пировал допоздна.

Так они и сделали, да только не застали Повалу дома; чех пораньше поспешил в замок, чтобы повидать Ягенку, он-то и сказал им, что Повала эту ночь провел не у себя, а в королевских покоях. Хоть Збышко и де Лорш потерпели тут неудачу, зато встретили князя Януша, который предложил им присоединиться к его свите; с князем они попали на охоту. По дороге в пущу Збышко, улучив время, поговорил с князем Ямонтом, от которого узнал добрую весть.

– Стал я раздевать короля перед отходом ко сну, – сказал Ямонт, – и тут же напомнил ему о тебе и твоём краковском деле. А рыцарь Повала, который был при этом, прибавил, что крестоносцы схватили твоего дядю, и стал просить, чтобы король потребовал у ордена отпустить его на волю. Король страх как гневается на крестоносцев за похищение маленького Яська из Креткова и за другие злодейства, а тут ещё больше распалился. «Не с добрым словом к ним надо идти, – воскликнул он, – а с копьем! С копьем! С копьем!» А Повала нарочно стал подливать масла в огонь. Утром король даже не взглянул на послов ордена, которые ждали его у ворот, хоть они ему земно кланялись. Ну, теперь уж им не вырвать у него обещания не помогать князю Витовту, завертятся они теперь. А ты не сомневайся, король за твоего дядю самого магистра к стене прижмет.

Так утешил Збышка княжич Ямонт, но ещё больше утешила его Ягенка; сопровождая в пушу княгиню Александру, она на обратном пути постаралась ехать рядом со Збышком. На охоте все пользовались свободой и назад возвращались обычно парами, а так как ни одной паре не хотелось ехать поблизости от другой, то на свободе можно было и поговорить. О том, что Мацько в неволе, Ягенка ещё раньше узнала от Главы и даром времени не теряла. По её просьбе княгиня написала магистру письмо, мало того – и торуньского комтура фон Вендена заставила упомянуть про Мацька в письме, в котором он давал магистру отчет обо всём, что происходило в Плоцке. Комтур сам хвалился княгине, что сделал к письму такую приписку: «Коли мы желаем смягчить гнев короля, нельзя в этом деле чинить препятствий». А магистру в это время непременно надо было смягчить гнев могущественного владыки, чтобы, не опасаясь удара с его стороны, обрушить все силы на Витовта, с которым орден до сих пор никак не мог справиться.

– Так что я всё сделала, что только было в моих силах, лишь бы не было задержки, – закончила Ягенка. – В важных делах король сестре не уступает, а в таком деле, наверно, постарается угодить ей, и я надеюсь, что всё будет хорошо.

– Не будь немцы такими предателями, – ответил Збышко, – я бы просто отвез выкуп, и дело с концом; но когда имеешь с ними дело, может случиться так, как с Толимой, что и деньги заграбят, и тебя не помилуют, если только сильный за тебя не постоит.

– Я понимаю, – ответила Ягенка.

– Вы все теперь понимаете, – заметил Збышко, – и я до гроба буду вам благодарен.

Она подняла на него печальные добрые глаза и спросила:

– Почему ты не называешь меня на «ты», мы ведь с детства знакомы.

– Не знаю, – чистосердечно признался Збышко. – Как-то неловко... да и вы уже не прежняя девчонка, а... не знаю, как бы это сказать... что-то совсем...

Он не мог найти нужного слова, но Ягенка сама ему помогла:

– Постарше я стала... да и немцы в Силезии батюшку убили.

– Правда! – ответил Збышко. – Царство ему небесное!

Некоторое время они задумчиво ехали рядом в молчании, словно заслушавшись вечернего шума сосен.

– А после выкупа Мацька вы останетесь в здешних краях? – прервала молчание Ягенка.

Збышко поглядел на нее в удивлении: он так был поглощен своим горем, что ему и в голову не приходило подумать о будущем. Он поднял глаза, как бы раздумывая, и через минуту сказал:

– Не знаю! Господи Иисусе! Откуда же мне знать? Одно только я знаю: куда бы я ни пошел, моя горькая доля всюду пойдет за мною. Ох, горька, горька она, моя доля!.. Выкуплю дядю и отправлюсь, наверно, к Витовту бить крестоносцев,

исполнять свои обеты, – там, может, и сгину!

Глаза девушки затуманились от слез, и, слегка наклонившись к молодому рыцарю, она прошептала:

– Не гинь, не гинь!

Они снова умолкли, и только у самой городской стены Збышко стряхнул докучные думы и сказал:

– А вы... а ты останешься здесь при дворе?

– Нет, – ответила она. – Скучно мне без братьев и без Згожелиц. Чтан и Вильк, верно, там поженились, а если и нет, так я их уже не боюсь.

– Бог даст, дядя Мацько отвезет тебя в Згожелицы. Он такой тебе друг, что ты во всём можешь на него положиться. Но и ты его не забывай...

– Клянусь Богом, я буду для него родной дочерью.

И при этих словах Ягенка горько расплакалась, такая злая тоска стеснила ей сердце.

На другой день в корчму к Збышко пришел Повала из Тачева.

– После праздника тела господня, – сказал он, – король тотчас уезжает в Раценж на свидание с великим магистром; ты зачислен в королевские рыцари и поедешь вместе с нами.

Збышко, услышав эти слова, вспыхнул от радости: зачисление в королевские рыцари не только избавляло его от происков и козней крестоносцев, но и являлось высокой честью. К королевским рыцарям принадлежали и Завиша Чарный, и его братья – Фарурей и Кручек, и сам Повала, и Кшон из Козихглов, и Стах из Харбимовиц, и Пашко Злодзей из Бискупиц, и Лис из Тарговиска, и множество других грозных и славных рыцарей, имена которых гремели и в Польше, и за границей. Король Ягайло не всех взял с собою, некоторые остались дома, иные же искали приключений в далеких заморских краях; но король знал, что и с этими рыцарями можно ехать хоть в самый Мальборк, не опасаясь вероломства крестоносцев: в случае чего они стены сокрушат своими могучими руками и мечами прорубят ему дорогу сквозь ряды немцев. При мысли о том, что у него будут такие товарищи, молодой рыцарь ощутил в своем сердце гордость.

В первую минуту он даже забыл о своем горе и, пожимая руки Повале из Тачева, радостно воскликнул:

– Вам, только вам, пан Повала, я этим обязан!

– И мне, – ответил Повала, – и здешней княгине, но больше всего нашему милостивейшему государю, к которому тебе следует сейчас же пойти с поклоном, чтобы он не почел тебя неблагодарным.

– Клянусь Богом, я готов умереть за него! – воскликнул Збышко.

## XXXII

Съезд в Раценже, расположенном на одном из островов Вислы, куда король отправился накануне праздника тела господня, проходил при дурных предзнаменованиях и не привел к такому соглашению, какое было достигнуто спустя два года, когда король на съезде в том же Раценже[22] добился возвращения добжинской земли вместе с Добжином и Бобровниками, вероломно отданной князем опольским в залог крестоносцам. Ягайло прибыл в Раценж, разгневанный клеветой, которую крестоносцы распространяли о нём при западных дворах и в самом Риме, и возмущенный бесчестностью ордена. Магистр преднамеренно не хотел вести переговоры о Добжине; и сам он, и другие сановники ордена каждый день твердили полякам: «Мы не хотим войны ни с вами, ни с Литвой; но Жмудь наша, сам Витовт отдал её нам. Обещайте, что не станете ему помогать, войну мы с ним скоро кончим, тогда и наступит время говорить о Добжине, и мы пойдем на большие уступки». Но королевские советники, обладая проницательным умом и большим опытом и зная, как лживы крестоносцы, не поддавались на обман. «Коли прибавится у вас силы, вы станете ещё дерзче, – отвечали они магистру. – Вы толкуете тут, будто вам нет дела до Литвы, а сами хотите посадить Скиргайла в Вильно на стол. Господь с вами! Это ведь стол Ягайла, он один может посадить князем на Литве кого пожелает, образумьтесь же, дабы не покарал вас наш великий король!» Магистр отвечал на это, что если король подлинный владыка Литвы, то пусть прикажет Витовту прекратить войну и вернуть ордену Жмудь, в противном случае орден вынужден будет ударить на Витовта там, где его легче всего будет достигнуть и поразить. С утра до ночи тянулись эти споры, получался заколдованный круг. Не желая давать ордену никаких обязательств, король всё больше терял терпение; он говорил магистру, что, если бы Жмудь была счастлива под рукой крестоносцев, Витовт пальцем никого бы не тронул, ибо у него не было бы для этого ни повода, ни причины. Магистр, будучи человеком мирным, лучше других рыцарей-монахов отдавал себе отчет в том, как велико могущество Ягайла, он старался смягчить гнев короля и, не обращая внимания на ропот некоторых заносчивых и надменных комтуров, не скупился на льстивые слова, а иногда даже прикидывался смиренным. Но и за этой смиренностью чувствовалась порой скрытая угроза, и все усилия магистра пропадали даром. Переговоры по важным делам кончились ничем, и уже на следующий день съезд занялся второстепенными делами. Король обрушился на орден за поддержку разбойничьих шаек, за набеги и грабежи, чинимые на границе, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткова, за убийство крестьян и рыбаков. Магистр отпирался, изворачивался, клялся, что всё это творилось без его ведома, и в свою очередь делал упреки в том, что не только Витовт, но и польские рыцари помогали язычникам-жмудицам против крестоносцев, в подтверждение чего напомнил о Мацьке из Богданца. К счастью, король знал уже от Повалы, кого разыскивали в Жмуди рыцари из Богданца, и сумел ответить магистру, тем более, что в его свите был Збышко, а в свите магистра – оба фон Бадены, которые приехали сюда в надежде принять участие в состязаниях с польскими рыцарями.

Но состязаться им не пришлось. Крестоносцы хотели, если дело у них пойдет гладко, пригласить великого короля в Торунь и там устроить в его честь пиры и ристалища; но неудачные переговоры породили взаимное недовольство и озлобление, поэтому было не до забав. Только в утренние часы рыцари похвалялись силой и ловкостью, да и то, как говорил веселый князь Ямонт, поляки немцам утерли нос, ибо Повала из Тачева оказался сильнее Арнольда фон Бадена, Добек из Олесницы победил всех в состязании на копьях, а Лис из Тарговиска – в прыжках через коней. Пользуясь случаем, Збышко стал уговариваться с Арнольдом фон Баденом про выкуп. Де Лорш, как граф и знатный рыцарь, смотрел на Арнольда свысока, он возражал против выкупа и говорил, что всё возьмет на себя. Однако Збышко считал, что рыцарская честь обязывает его заплатить столько гривен, сколько было

договорено, и хотя сам Арнольд предлагал сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества господина де Лорша.

Арнольд фон Баден, человек недалекий и простоватый, едва ли не единственное достоинство которого заключалось в непомерной физической силе, хоть и жаден был до денег, но честен. Хитрить, как крестоносцы, он не умел и не скрывал поэтому от Збышка, почему он готов уступить. «Король с магистром не заключит договора, – утверждал он, – а пленниками они обменяются, тогда ты дядю вовсе даром возьмешь. Чем ничего, так лучше хоть что-нибудь, кошелек-то у меня всегда пуст, и случается, что деньжонок еле хватает на три ковша пива в день, а мне без пяти-шести худо». Но Збышко сердился на него за такие речи. «Я потому плачу, что дал рыцарское слово, мне дешевле не надо, знай, что столько мы и стоим». Арнольд обнял молодого рыцаря, а польские рыцари и крестоносцы стали похваливать Збышка: «По заслугам носит он в такие молодые годы рыцарский пояс и шпоры, помнит о своем достоинстве и чести».

Тем временем король и магистр действительно договорились об обмене пленниками; при этом обнаружилось странные вещи, о которых епископы и сановники королевства писали впоследствии папе и иноземным государям: у поляков, правда, было много пленников, но все это были мужчины в цвете сил, захваченные в вооруженной борьбе во время пограничных битв и столкновений. А в подземельях у крестоносцев оказались по большей части женщины и дети, схваченные ради выкупа во время ночных набегов. Сам папа римский [23] обратил на это внимание и, невзирая на всю изворотливость прокуратора крестоносцев в апостольской столице, Иоганна фон Фельде, открыто выражал по этому поводу свой гнев и свое негодование.

С Мацьком встретились препятствия. Магистр чинил их только так, для видимости, чтобы каждой своей уступке придать больше веса. Он утверждал, что рыцарь-христианин, воевавший на стороне жмудинов против ордена, по справедливости должен быть присужден к смертной казни. Напрасно королевские советники снова и снова повторяли всё то, что было им известно об Юранде и Данусе, а также о вопиющих обидах, нанесенных отцу с дочерью и рыцарям из Богданца слугами ордена. По странному совпадению, магистр в своем ответе привел почти те же слова, которые в свое время княгиня Александра сказала старому рыцарю из Богданца:

– Вы себя агнцами почитаете, а наших людей волками. А меж тем из четырех волков, которые принимали участие в похищении дочери Юранда, ни одного не осталось в живых, агнцы же беззаботно разгуливают по свету.

Это была правда, но присутствовавший на советах пан из Тачева на эту правду ответил таким вопросом:

– Да, но разве кто-нибудь из них был убит вероломно? Разве не пали все они с мечом в руке?

Магистру нечего было ответить на это, и, заметив, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он сразу уступил, не желая доводить грозного владыку до вспышки гнева. Затем уговорились, что каждая сторона вышлет представителей для приема пленников. Со стороны поляков были назначены Зындрам из Машковиц, который желал поближе поглядеть на могущество ордена, и рыцарь Повала, а с ними и Збышко из Богданца.

Эту услугу оказал Збышку князь Ямонт. Он ходатайствовал за него перед королем,

полагая, что если молодой рыцарь поедет как королевский посол, то и дядю раньше увидит, да и домой его скорее доставит целым и невредимым. Король не отказал в этой просьбе молодому князьку, который был так весел, добр и пригож, что снискал любовь и самого короля, и всех придворных, и притом никогда ничего не просил для себя. Збышко от всего сердца благодарил Ямонта, уверенный теперь, что вырвет Мацька из рук крестоносцев.

– Многие позавидуют, – сказал Збышко князю, – что ты остаешься при его величестве, но это справедливо, ибо ты пользуешься своей близостью к королю лишь на благо людям, и, пожалуй, ни у кого нет такого доброго сердца, как у тебя.

– При его величестве хорошо, – ответил тот, – но, по мне, лучше было бы выйти на бой с крестоносцами, и завидую я тебе, что ты уже бился с ними.

Помолчав с минуту времени, он прибавил:

– Вчера прибыл торуньский комтур фон Венден, а сегодня вечером вы поедете к нему на ночь с магистром и его свитой.

– А оттуда в Мальборк?

– А оттуда в Мальборк.

Тут князь Ямонт начал смеяться:

– Недалек да уныл будет этот путь, ничего-то немцы у короля не добились, да и Витовт их не порадует. Собрал он, сдается, все литовские силы и идет к жмудицам.

– Коли поможет ему король, так быть великой войне.

– Все наши рыцари молят Бога об этом. Но если король, жалеючи кровь христианскую, и не начнет великой войны, так поможет Витовту деньгами и хлебом, да и из польских рыцарей кое-кто пойдет к Витовту по своей воле.

– Это уж как пить дать, – подтвердил Збышко. – Но за это сам орден может объявить войну королю.

– Ну нет! – возразил князь. – Покуда жив нынешний магистр, этому не бывать.

Он оказался прав. Збышко давно знал магистра; но теперь, по дороге в Мальборк, находясь с Зындромом из Машковиц и Повалой почти всё время при нем, он мог лучше к нему приглядеться и лучше узнать его. Это путешествие утвердило его в убеждении, что великий магистр, Конрад фон Юнгинген, не был злым и безнравственным человеком. Он вынужден был часто чинить беззакония, ибо весь орден держался на беззаконии. Он вынужден был чинить обиды, ибо весь орден покоился на людских обидах. Он вынужден был лгать, ибо ложь унаследовал вместе со знаками своего достоинства и издавна привык почитать её лишь политической хитростью. Но сам он не был извергом, боялся суда Божия и, насколько это было в его силах, сдерживал тех надменных и заносчивых сановников, которые умышленно толкали орден на войну с могущественным Ягайлом. И всё же он был слабым человеком. С незапамятных времен орден так привык посягать на чужое добро, грабить, обманом или силой захватывать соседние земли, что Конрад не только не мог умерить алчность и кровожадность крестоносцев, но и сам невольно поддался соблазну, и сам стал хищен и жаден. Времена Винриха фон Книпроде [24], времена



железной дисциплины, повергавшей в изумление весь мир, давно миновали. Уже при предшественнике магистра Юнгингена, Конраде Валленроде, орден так обуян был гордыней от своего всё возраставшего могущества, которое не смогли поколебать временные поражения, так упился своей славой, успехами и людскою кровью, что стали расшатываться самые устои, на которых зиждились его мощь и единство. Магистр по мере сил соблюдал законность и правосудие, по мере сил облегчал участь стонавших под железной рукою ордена крестьян, горожан, духовенства и дворянства, владевшего землями ордена по ленному праву. Какой-нибудь крестьянин из окрестностей Мальборка, а то и горожанин мог похвалиться не только достатком, но и богатством. Но в более отдаленных землях своевластные, жестокие и разнузданные комтуры попирали закон, угнетали и притесняли народ, отнимали у него последние гроши, облагая самовольно налогами или открыто грабя его, проливали народную кровь, так что в целых обширных землях царила нужда, лилось море слез, стон стоял и ропот. Если даже для блага ордена надо было действовать мягче, например по временам в Жмуди, то при беззаконии и природной жестокости комтуров все указания магистра оставались втуне. Конрад фон Юнгинген чувствовал себя возницей, у которого понесли кони, а сам он выпустил вожжи из рук и бросил свою колесницу на произвол судьбы. Душу его часто томило злое предчувствие, и на память часто приходили пророческие слова: «Я поставил их, яко тружениц пчел, и утвердил на рубеже земли христианской: но они восстали против меня. Ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим и, лишая его святых таинств, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он, коснея в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

Магистр знал, что таинственный глас в откровении святой Бригитты справедливо обвинял крестоносцев. Он понимал, что здание, воздвигнутое на чужой земле и на чужих обидах, основанное на лжи, жестокости и кознях, не может быть долговечным. Он боялся, что это здание, долгие годы подмываемое кровью и слезами, рухнет от одного удара могучей польской руки; предчувствовал, что колесница, которую понесли кони, неминуемо свалится в пропасть, и старался хотя бы оттянуть час суда, гнева, поражения и опустошения. По этой причине, невзирая на свою слабость, он в одном только решительно противодействовал своим надменным и дерзким советникам: не допускал до столкновения с Польшей. Напрасно его упрекали в трусости и беспомощности, напрасно пограничные комтуры рвались на войну. Когда пламя вот-вот готово было разгореться, магистр в последнюю минуту всегда отступал, а потом в Мальборке благодарил Бога за то, что ему удалось удержать меч, занесенный над головою ордена.

Но он знал, что конец неизбежен. И от сознания того, что орден покоится не на законе Божиим, но на беззаконии и лжи, от ожидания близкой гибели он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Крови своей не пожалел бы он, жизнью пожертвовал, только бы всё изменить, только бы направить орден на путь истинный, но сам сознавал, что уже поздно! Направить на путь истинный – это означало вернуть законным владельцам богатые и плодородные земли, Бог весть когда захваченные орденом, а вместе с ними множество таких богатых городов, как Гданьск. Мало того! Это означало отказаться от Жмуди, отказаться от посягательств на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем покинуть эти края, где ордену некого уже было обращать в христианство, и снова осесть в Палестине или на одном из греческих островов, чтобы там защищать крест господень от подлинных сарацин. Но это было делом немислимым, это обрекло бы орден на уничтожение. Кто бы на это согласился? И какой магистр мог бы этого потребовать?

Мрачна была душа Конрада фон Юнгингена, безрадостна его жизнь; но если бы кто-нибудь пришел к нему с подобным советом, он первый велел бы водворить его как безумца в темную келью. Надо было идти всё вперед и вперед, до того самого дня, когда Богом назначен предел. И он шел вперед, но шел, объятый тоскою, в душевном смятении. Волосы в бороде и на висках уже стали у него серебриться, отяжелелые веки прикрыли зоркие когда-то глаза. Збышко ни разу не заметил улыбки на лице магистра. Оно не было ни грозным, ни хмурым, а словно усталым от тайных страданий. В доспехах, с крестом на груди, посередине которого в четырехугольнике был изображен черный орел, в широком белом плаще, тоже украшенном крестом, он оставлял впечатление суровости, величия и печали. Когда-то Конрад был веселым человеком и любил забавы; он и теперь не избегал роскошных пиров, турниров и зрелищ и даже сам их устраивал; но ни в толпе блестящих рыцарей, приехавших в Мальборк в гости, ни в радостном шуме, когда трубы гремели и бряцало оружие, ни за наполненным мальвазией кубком он никогда не был весел. Когда все вокруг него, казалось, дышало мощью, великолепием, неиссякаемым богатством, неодолимой силой, когда послы римского императора и других западных государей кричали в восторге, что орден может противостоять всем царствам и могуществу всего мира, он один не обольщался, он один помнил зловещие слова откровения святой Бригитты: «Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

### XXXIII

Великий магистр со своей свитой и польскими рыцарями ехал по грунтовой дороге через Хелмжу до Грудзендза, где он задержался на сутки, чтобы рассмотреть дело о рыбной ловле, возникшее между правителем замка, крестоносцем, и местной шляхтой, земли которой прилегали к Висле. Оттуда на ладьях крестоносцев все поплыли по реке в Мальборк. Зындрам из Машковиц, Повала из Тачева и Збышко всё время находились при магистре, которому любопытно было, какое впечатление произведет на польских рыцарей, особенно на Зындрама из Машковиц, могущество ордена, когда они все увидят собственными глазами. Это было важно для магистра потому, что Зындрам из Машковиц был не только могучим рыцарем, страшным в поединке, но и весьма искусным воителем. Во всём королевстве не было лучше военачальника, никто не умел лучше его построить войско для битвы, не знал лучше его способов сооружения и разрушения замков, наведения мостов через широкие реки, никто не разбирался лучше его в «бранном оружии», то есть вооружении различных народов, и во всяких военных хитростях. Зная, что в королевском совете многое зависит от этого мужа, магистр полагал, что если удастся поразить Зындрама богатством ордена и численностью войска, то войны ещё долго не будет. Вселить тревогу в сердце всякого поляка мог прежде всего самый вид Мальборка[25], ибо никакая другая крепость в мире не могла сравниться с этой твердыней, заключавшей Высокий и Средний замок и предзамковое укрепление. Плыя по Ногату, рыцари издали увидели рисовавшиеся в небе могучие башни. День стоял светлый, прозрачный, и башни ясно были видны; когда же ладьи подплыли поближе к крепости, ещё ярче засверкали шпили храма в Высоком замке и громоздящиеся один на другой уступы высоченных стен; лишь часть их была кирпичного цвета, остальные были покрыты той знаменитой светло-серой штукатуркой, которую умели готовить только каменщики крестоносцев. Громады стен превосходили всё, что польские рыцари видели когда-либо в жизни. Казалось, дома вырастают над домами, образуя на низменном от природы месте целую гору, вершиной которой был Старый замок, а склонами – Средний и разбросанные предзамковые укрепления. От этого огромного гнезда вооруженных монахов веяло такой несокрушимой силой и могуществом, что даже продолговатое и обычно угрюмое лицо магистра при виде его на минуту прояснилось.

– Ex luto Marienburg – из глины Мариенбург[26], – сказал он, обращаясь к Зындраму, – но этой глины не сокрушить никакой человеческой силе.

Зындрам не ответил; безмолвно озирал он башни и высоченные стены, укрепленные чудовищными эскарпами.

А Конрад фон Юнгинген, помолчав с минуту времени, прибавил:

– Вы, рыцарь, знаете толк в крепостях; что скажете вы нам об этой твердыне?

– Твердыня сдастся мне неприступной, – как бы в задумчивости ответил польский рыцарь, – но...

– Но что? Что можете вы сказать против нее?

– Но всякая твердыня может переменить господина.

Магистр нахмурил брови:

– Что вы хотите этим сказать?

– Что веления и предначертания Бога скрыты от людских очей.

И он по-прежнему задумчиво глядел на стены, а Збышко, которому Повала точно перевел ответ Зындрама, смотрел на него с удивлением и благодарностью. Его поразило в эту минуту сходство между Зындрамом и жмудским вождем Скирвойлом. У обоих одинаково большие головы словно ушли в широкие плечи. У обоих была могучая грудь и одинаково кривые ноги.

Но магистр не желал, чтобы последнее слово осталось за польским рыцарем.

– Говорят, – сказал он, – что наш Мариенбург в шесть раз больше Вавеля.

– Там, на скале, куда меньше места, чем здесь, на равнине, – возразил пан из Машковиц, – но сердце у нас в Вавеле больше.

Конрад в удивлении поднял брови:

– Я вас не понимаю.

– Что же, как не храм, является сердцем всякого замка? А наш кафедральный собор втрое больше вашего.

С этими словами он указал на небольшой замковый храм, на куполе которого сверкало на золотом фоне мозаичное изображение пресвятой девы.

Такой оборот разговора опять не понравился магистру.

– У вас на всё готов ответ, только странны мне ваши речи, – проговорил магистр.

В это время они подъехали к реке. Отборная полиция ордена, видно, предупредила уже город и замок о прибытии великого магистра, и у реки, кроме нескольких братьев, Конрада ждали городские трубачи, которые всегда трубили в трубы при его переправе. На другом берегу ждали кони под седлом, и магистр со свитой проехали

верхом город и через Сапожные ворота, мимо Воробьиной башни, въехали в предзамковое укрепление. У ворот магистра приветствовали: великий комтур Вильгельм фон Гельфенштейн, который только носил этот титул, так как обязанности его уже в течение нескольких месяцев исполнял Куно Лихтенштейн, находившийся в это время в Англии; затем родственник Куно, великий госпитальер Конрад Лихтенштейн, великий ризничий Румпенгейм, великий казначей Буркгард фон Вобеке и, наконец, малый комтур, начальник всех мастерских и правитель замка! Кроме этих сановников, магистра встречало много братьев, которые руководили церковными делами в Пруссии и всячески притесняли прочие монастыри и белое духовенство, принуждая последнее даже прокладывать дороги и колоть лед, а с ними целая толпа светских братьев, то есть рыцарей, не совершавших церковных служб. Рослые и сильные (слабых крестоносцы не принимали), широкоплечие, с курчавыми бородами и свирепым взглядом, они не на монахов были похожи, а скорее на кровожадных немецких рыцарей-разбойников. В глазах их сверкали отвага, кичливость и безмерная спесь. Они не любили Конрада за то, что он боялся войны с могущественным Ягайлом, на советах капитула открыто обвиняли его в трусости, рисовали его на стенах и подговаривали шутов насмехаться над ним. Однако при виде его они с притворным смирением склонили головы, тем более что магистр въезжал в сопровождении иноземных рыцарей, и толпой подбежали к нему, чтобы поддержать за узду и стремя его коня.

Спешившись, магистр тотчас обратился к Гельфенштейну с вопросом:

– Есть ли вести от Вернера фон Теттингена?

Великий маршал, или командующий вооруженными силами крестоносцев, Вернер фон Теттинген, ушел в поход против жмудинов и Витовта.

– Важных вестей нет, – ответил Гельфенштейн, – но есть потери. Дикари сожгли деревни под Рагнетой и городки около других замков.

– Будем уповать на Бога, что одна великая битва сломит их злобу и упорство, – ответил магистр.

С этими словами он поднял очи горе, уста его шептали молитву о ниспослании победы войскам ордена.

Затем он указал на польских рыцарей:

– Это посланцы польского короля: рыцарь из Машковиц, рыцарь из Тачева и рыцарь из Богданца, они прибыли с нами, чтобы обменяться пленниками. Пусть замковый комтур укажет им покои для гостей, примет и попотчует их, как подобает.

Рыцари-монахи, услышав эти слова, с любопытством уставились на послов, особенно на Повалу из Тачева, прославленного рыцаря, чье имя было знакомо некоторым крестоносцам. Кто не слышал о его подвигах при бургундском, чешском и краковском дворах, был поражён, увидев его огромную фигуру и рослого боевого коня, который бывалым воителям, в молодые годы посетившим святую землю и Египет, невольно напомнил верблюдов и слонов.

Некоторые рыцари узнали Збышка, который в свое время выступал на ристалищах в Мальборке, и приветствовали его довольно учтиво, памятуя, что могущественный и влиятельный брат магистра, Ульрих фон Юнгинген, выказывал ему свое искреннее расположение и приязнь. Меньше всего удивил толпу рыцарей и меньше всего обратил

на себя её взоры тот, кому в недалеком будущем суждено было нанести ордену сокрушительный удар, – Зындром из Машковиц; когда рыцарь спешился, он показался всем чуть не горбатым – такая приземистая была у него фигура и такие высокие плечи. Глядя на его непомерно длинные руки и кривые ноги, молодые монахи насмешливо улыбнулись. Один из них, известный шутник, подошел даже к Зындрому с намерением задеть его, но, взглянув в глаза пану из Машковиц, потерял охоту шутить и отошел в молчании.

Тем временем замковый комтур повёл гостей за собою. Они вошли сперва в небольшой двор, где, кроме школы, старого склада и седельной мастерской, находилась часовня святого Николая, затем через Николаевский мост прошли в собственно предзамковое укрепление. Некоторое время комтур вел их вдоль мощных стен, то там, то тут защищенных разной высоты башнями. Зындром из Машковиц внимательно осматривал укрепления, а провожатый, не ожидая вопросов, охотно показывал различные здания, как будто в его планы входило, чтобы гости как можно лучше всё рассмотрели.

– Огромное здание, которое вы видите слева, – говорил он, – это наши конюшни. Мы убогие монахи, но народ толкует, что в иных местах и рыцари так не живут, как у нас кони.

– Народ не почитает вас убогими, – возразил Повала. – Да у вас тут, верно, не одни конюшни, уж очень высокое здание, не водите же вы коней по лестницам.

– Внизу конюшни на четыре сотни коней, а наверху хлебные склады, – ответил замковый комтур. – Хлеба у нас на добрых десять лет хватит. До осады дело никогда не дойдет, а если бы и дошло, так голодом нас не возьмешь.

С этими словами он повернул направо и снова через мост, между башнями святого Лаврентия и Панцирной, провел гостей на другой, огромный двор, расположенный в самом центре предзамкового укрепления.

– Обратите внимание, дорогие гости, – сказал немец, – всё, что вы видите отсюда к северу, Божьей милостью неприступно, но это только «Forburg»;<sup>[27]</sup> эти твердыни и сравнивать нельзя ни со Средним замком, куда я вас веду, ни тем более с Высоким.

Особый ров и особый подъемный мост отделяли Средний замок от двора; в воротах этого замка, расположенных гораздо выше, рыцари повернулись, по совету комтура, и ещё раз окинули взглядом весь огромный квадрат, образующий предзамковое укрепление. Здания там стояли одно подле другого, так что взору Зындром открылся как бы целый город. Здесь были неисчислимы запасы леса, сложенного в штабеля высотой в дом, пирамиды каменных ядер, кладбища, лазареты, склады. Немного поодаль, у пруда, который лежал посредине укрепления, краснели крепкие стены большого здания с трапезной для наемников и слуг. У северного вала виднелись другие конюшни, где стояли кони рыцарей и отборные кони магистра. У мельничной запруды высились казармы для оруженосцев и наемного войска, а по другую сторону прямоугольника – покои всяких правителей и служащих ордена, затем снова склады, амбары, пекарни, цейхгаузы, литейни, огромный арсенал, тюрьмы, старая пушкарня, мастерская, все здания настолько прочные и хорошо защищенные, что в каждом из них можно было обороняться, как в крепости; все они были обнесены стеной с многочисленными грозными башнями, за стеною был виден ров, обнесенный острогом, и только за острогом на западе катил свои желтые воды Ногат, на северо-востоке сверкала гладь огромного пруда, а с юга высились ещё

лучше укрепленные замки – Средний и Высокий.

Страшное гнездо, от которого веяло неумолимой мощью и в котором сосредоточились две наибольшие из известных тогда в мире сил: сила религии и сила меча. Кто сопротивлялся одной силе, того сокрушала другая. Кто поднимал на них руку, тот встречал отпор во всех христианских странах за то, что идет против креста.

Рыцарство всех стран немедленно поднималось тогда на помощь ордену. Гнездо поэтому вечно кишело рабочим людом и солдатами, жужжавшими в нем, как в улье. Перед зданиями, в проходах, у ворот, в мастерских – везде, как на ярмарке, суетился народ. Эхом отдавался стук молотов и долот, которыми тесари тесали каменные ядра, шум мельниц и конных приводов, ржание коней, лязг оружия, звуки труб и пищалок, оклики и команды. Во дворах можно было услышать наречия всего мира и встретить солдат всех племен: метких английских лучников, которые на сто шагов пронизывали стрелой голубя, привязанного к столбу, и панцирь пробивали, как сукно, и страшных швейцарских пеших воинов, сражавшихся двуручными мечами, и храбрых, но невоздержных в пище и питье датчан, и французских рыцарей, одинаково склонных к шуткам и ссоре, и гордых, немногоречивых испанских дворян, и блестящих итальянских рыцарей, самых лучших фехтовальщиков, разряженных в шелк и бархат, а на войне закованных в железную броню, изготовленную в Венеции, Милане и Флоренции, и бургундских рыцарей, и фризов, и, наконец, немцев из всех немецких земель. Среди них мелькали «белые плащи», хозяева и военачальники. «Башня, полная золота», верней, отдельная комната, пристроенная во дворе Высокого замка к покоям магистра и доверху наполненная деньгами и слитками драгоценных металлов, давала ордену возможность достойно принимать «гостей» и держать на жалованье наемных солдат, которых орден посылал отсюда в походы и направлял в замки в распоряжение правителей и комтуров. Так сила меча и сила креста сочетались здесь с несметным богатством и в то же время с железным порядком, который в ту эпоху кичливые, упоенные своим могуществом крестоносцы уже нарушали в провинциях, но по старой традиции ещё поддерживали в самом Мальборке. Монархи приезжали сюда не только сражаться с язычниками или занимать деньги, но и учиться искусству управления, а рыцари – учиться военному искусству. Ибо во всём мире никто не умел так управлять и так воевать, как крестоносцы. В ту эпоху, когда орден появился в этих краях, ему не принадлежало здесь ни пяди земли, кроме того клочка и тех нескольких замков, которые подарил ему неосмотрительный польский князь, а теперь он владел обширной страной, обильной плодородными землями, которая была больше многих государств и насчитывала немало крупных городов и неприступных замков. Он владел этой страной, бодрствуя, как паук над своей паутиной, все нити которой он держит под собой. Отсюда, из этого Высокого замка, почтовые гонцы во все стороны развозили приказы магистра и белых плащей ленному дворянству, городским советам, бургомистрам, правителям и их помощникам и капитанам наемных войск, и всё то, что рождали и утверждали здесь мысль и воля, там тотчас воплощали в жизнь сотни и тысячи железных рук. Сюда текли деньги, хлеб, всевозможные припасы и дань от белого духовенства, стонавшего под тяжелым ярмом, и от других монастырей, на которые косо смотрел орден; отсюда, наконец, хищные щупальца простирались ко всем соседним землям и народам.

Многочисленные прусские племена, говорившие на литовском языке, уже были стерты с лица земли. До недавнего времени Литва изнывала под железной пятою ордена, так страшно теснившей ей грудь, что при каждом вздохе из сердца её струилась кровь; Польша, правда, вышла победительницей из страшной битвы под Пловцами, однако в царствование Локотка потеряла свои владения на левом берегу Вислы вместе с Гданьском, Тчевом, Гневом и Свецем. Ливонский рыцарский орден посягал на русские

земли и оба эти ордена надвигались на славянские земли, словно первый вал немецкого моря, которое всё шире и шире заливало славянский восток.

И вдруг туча заслонила победное сияние крестоносцев. Литва приняла крещение из польских рук, а краковский престол вместе с рукой прекрасной королевы достался Ягайлу. Правда, орден не потерял от этого ни одной своей земли, ни одного замка, но он почувствовал, что силе противостоит теперь сила, он утратил цель ради которой существовал в Пруссии. После крещения Литвы крестоносцам оставалось только, вернуться в Палестину и охранять паломников, направлявшихся к святым местам. Но вернуться туда – это означало отказаться от богатств, власти, могущества, господства, от городов, земель и целых королевств. И вот орден заметался в страхе и ярости, словно чудовищный дракон, которому вонзилось в бок копьё. Магистр Конрад боялся поставить всё на карту и трепетал при мысли о войне с великим королем, властелином польских и литовских земель и обширных русских владений, которые Ольгерд отнял у татар; но большинство крестоносцев стремились к войне, сознавая, что нужно схватиться с врагом не на жизнь, а на смерть, пока силы ещё не растрочены, пока не померкла ещё слава ордена и весь мир спешит ему на помощь, пока папа ещё не мечет громы и молнии на их гнездо, для которого делом жизни и смерти стало теперь не распространение христианства а сохранение язычества.

А тем временем перед народами и государями они обвиняли Ягайла и Литву в ложном, притворном крещении, утверждая, будто за один год нельзя осуществить то, чего меч крестоносца не мог добиться в течение столетий. Они возбуждали королей и рыцарей против Польши и её властелина как против покровителей и защитников язычества, и их голоса, которым не доверял только Рим, разносились по всему свету, привлекая в Мальборк князей графов и рыцарей с Юга и с Запада. Орден обретал уверенность в себе, сознание своей силы. Мариенбург со своими грозными замками и предзамковым укреплением больше чем когда бы то ни было ослеплял людей своей мощью, ослеплял богатством, ослеплял видимостью порядка, и весь орден казался теперь ещё более властительным и несокрушимым. И никто из князей, никто из рыцарей – гостей ордена, даже никто из крестоносцев, кроме магистра, не понимал, что со времени крещения Литвы произошло нечто такое, что, как и волны Ногата, которые как будто защищали страшную твердыню, тихо и неумолимо подмывает её стены. Никто не понимал, что хоть и осталась ещё сила в теле великана, но душа из него улетела; при взгляде на этот воздвигнутый «ex luto Marienburg», на эти стены, башни, на черные кресты на воротах, домах и одеяниях всякому вновь прибывшему прежде всего приходила в голову мысль, что даже силам ада не одолеть этой северной твердыни креста господня.

С такой же мыслью смотрели на нее не только Повала из Тачева и Збышко, который уже бывал здесь раньше, но и более проникательный Зындрам из Машковиц. Когда он глядел на этот муравейник вооруженных солдат, обрамленный башнями и высоченными стенами, лицо его омрачилось, и на память ему невольно пришли дерзкие слова крестоносцев, которые пригрозили когда-то королю Казимиру:

«Мы сильнее тебя, не уступишь – так до самого Кракова будем гнать тебя своими мечами».

Но тут замковый комтур повёл рыцарей дальше, в Средний замок, в восточном крыле которого находились покои для гостей.

XXXIV

Мацько и Збышко долго сжимали друг друга в объятиях; они всегда любили друг

друга, а теперь, после всех злоключений и несчастий, которые им вместе пришлось пережить, любовь их стала ещё крепче. При первом же взгляде на племянника старый рыцарь догадался, что Дануси уже нет в живых, поэтому он не стал ни о чём расспрашивать, а только прижимал к груди молодого рыцаря, желая показать ему, что не круглым сиротой остался он на свете, что есть ещё рядом близкая живая душа, готовая разделить с ним его горькую участь.

И только тогда, когда им стало легче от слез, Мацько после долгого молчания спросил:

– Опять её отняли, или умерла она у тебя на руках?

– Умерла у меня на руках под самым Спыховом, – ответил молодой рыцарь.

И стал подробно обо всём рассказывать, прерывая свой рассказ слезами и вздохами, а Мацько внимательно слушал и тоже вздыхал.

– А Юранд ещё жив? – спросил он, когда Збышко кончил наконец свой рассказ.

– Юранда я живым оставил, но не жилец он на свете, и, верно, больше я его не увижу.

– Так, может, лучше было не уезжать?

– Как же я мог оставить вас здесь?

– Ну, на одну-две недели позже, какая разница!

Збышко пристально на него поглядел и сказал:

– Вы и так, должно быть, хворали здесь? Краше в гроб кладут.

– Хоть и пригревает солнышко землю, а в подземелье всегда холодно и очень сыро, кругом-то замка вода. Думал, совсем захирею. Дышать тоже нечем, и рана от всего этого опять у меня открылась, ну... та самая, знаешь... из которой осколыш вышел в Богданце от бобровой струи.

– Помню, помню, – сказал Збышко, – мы ведь за бобром ходили с Ягенкой. Так эти псы держали вас в подземелье?

Мацько кивнул головой.

– Сказать по правде, – продолжал он, – косо они на меня смотрели, думал я, что добром это дело не кончится. Уж очень злы они на Витовта и на жмудинов, а ещё больше на тех из нас кто помогает им. Напрасно толковал я им, зачем пошли мы к жмудинам. Они бы мне голову отрубили, но жаль было выкупа – деньги-то им, ты знаешь, слаще мести, – да и доказательство надо было иметь в руках, что польский король помогает язычникам. Мы-то были там и знаем, что бедные жмудины просят крестить их, только не хотят принять крещение из рук крестоносцев, а те притворяются, будто не знают об этом, и жалуются на них при всех дворах а с ними и на нашего короля.

Тут у Мацька началось удушье, так что он вынужден был на минуту умолкнуть; оправившись, старик продолжал:



– Может, я бы так и зачах в подземелье. Правда, за меня заступался Арнольд фон Баден, которому тоже важно было получить выкуп. Но он у них не в почёте, они его медведем чествуют. К счастью, от Арнольда обо мне дознался де Лорш и поднял страшный шум. Не знаю, говорил ли он тебе об этом, скрывает он свои добрые дела... Он-то у них в почёте, ведь один из де Лоршей был когда-то в ордене важным сановником, да и этот тоже знатен и богат. Де Лорш сказал крестоносцам, что он сам наш пленник, и коли они мне голову отрубят или я зачухну от голода и сырости, так и ему не сносить головы. Он грозился капитулу, что расскажет при всех западных дворах о том, как крестоносцы обходятся с опоясанными рыцарями. Немцы испугались и перевели меня в лазарет, где и воздух, и пища получше.

– С де Лорша я ни одной гривны не возьму, клянусь Богом!

– С недруга братъ – милое дело, а другу надо прощать, – сказал Мацько, – а раз немцы, как я слышал, уговорились с королем обменяться пленниками, так и тебе не придется платить за меня.

– А наше рыцарское слово? – воскликнул Збышко. – Уговор уговором, но ведь Арнольд вправе будет упрекнуть нас в бесчестности.

Мацько, услышав эти слова, огорчился.

– Можно бы поторговаться, – сказал он, поразмыслив.

– Мы сами себе цену назначили. Ужели мы сейчас меньше стоим?

Мацько ещё больше огорчился; но в умиленном его взоре засветилась как будто ещё большая любовь к Збышку.

– Умеешь ты блюсти свою честь!.. Такой уж ты уродился, – пробормотал он под нос себе.

И завздыхал. Збышко подумал, что это он по гривнам вздыхает, которые придется уплатить фон Бадену, и сказал:

– Эх! Денег у нас и так хватит, а вот участь наша горькая.

– Всё переменится! – с волнением сказал старый рыцарь. – Мне уже недолго осталось жить.

– Не говорите! Вы поправитесь, пусть только вас ветром обвеет.

– Ветром? Ветер молодое дерево к земле пригнет, а старое ломает.

– Эва! Не болят ещё у вас кости, и до старости вам далеко. Не печальтесь!

– Будь тебе весело, так и я бы смеялся. Да и есть у меня причина печалиться, и, сказать по правде, не у одного меня, а у всех нас.

– Что ж за причина такая? – спросил Збышко.

– Помнишь, как в лагере Скирвойла я тебя выбранил за то, что ты славил могущество крестоносцев? Оно конечно, тверд наш народ в бою; но только сейчас я

поближе присмотрелся к здешним собакам.

Как бы из опасения, чтобы его не подслушали, Мацько понизил тут голос:

– И вижу я теперь, что не я, а ты был прав. Господи, спаси и помилуй, что за сила, что за могущество! Руки чешутся у наших рыцарей, рвутся они в бой, а того не ведают, что крестоносцам все народы и все короли помогают, что денег у них больше и обучены они лучше, что замки у них крепче и оружие не чета нашему. Господи, спаси и помилуй!.. И у нас, и здесь толкует народ, что быть великой войне, так оно, верно, и будет, и уж если начнется война, господи, смилуйся тогда над нашим королевством и нашим народом!

Мацько сжал тут руками свою сидящую голову, оперся о колени локтями и примолк.

– Вот видите! – сказал ему Збышко. – Порознь многие из нас покрепче их будут, а как дойдет дело до великой войны, сами понимаете...

– Ох, понимаю, понимаю! Даст Бог, и королевские послы поймут, особенно рыцарь из Машковиц.

– Видел я, как он помрачнел. Искушенный воитель он, никто, говорят, на всём свете лучше его в бранном деле не разбирается.

– Коли так, то, пожалуй, войны не будет.

– Как увидят крестоносцы, что они сильнее, не миновать нам воевать с ними. И, сказать по правде, чем так жить, так уж лучше скорей конец...

Подавленный мыслями о своей горькой доле и народном бедствии, Збышко тоже поник головой.

– Жаль нашего великого королевства, – сказал Мацько, – и боюсь я, как бы не покарал нас Господь за чрезмерную дерзость. Помнишь, как в Вавеле, когда тебе хотели голову срубить и не срубили, наши рыцари перед обедней на паперти кафедрального собора похвалялись сразиться с самим Тимуром Хромым, повелителем сорока царств, который целые горы сложил из человеческих черепов... Мало им крестоносцев! Они со всеми зараз хотели бы драться, а это, может, и грех.

Збышко, вспомнив о том, как ему хотели срубить голову, схватился за свои светлые волосы и вскричал в невыносимой тоске:

– А кто меня спас тогда из рук палача? Она! Она! О Иисусе! Дануська моя!.. Иисусе!..

И он стал рвать на себе волосы и кусать пальцы, чтобы унять слезы, – так заболело у него сердце от внезапного порыва отчаяния.

– Збышко, побойся Бога!.. Перестань! – воскликнул Мацько. – Ну, что поделаешь? Возьми себя в руки! Перестань!..

Но Збышко долго не мог успокоиться, он опомнился только тогда, когда Мацько, который и в самом деле был ещё болен, так ослабел, что покачнулся и без памяти повалился на скамью. Молодой рыцарь уложил его в постель, подал ему вина, которое прислал замковый комтур, и сидел над ним до тех пор, пока старый рыцарь

не уснул.

На другой день они проснулись поздно, бодрые и посвежевшие.

– Ну, – сказал Мацько, – видно, не пришло ещё мое время, думаю, как обвеет меня ветром в поле, так я и верхом доеду.

– Послы задержатся здесь ещё на несколько дней, – ответил Збышко, – к ним всё приходят люди, просят отпустить невольников, которых наши схватили, когда они разбойничали в Мазовии или Великой Польше; ну, а мы можем ехать, когда вам вздумается, станет вам получше – и поедем.

В эту минуту вошел Глава.

– Ты не знаешь, что делают послы? – спросил его старый рыцарь.

– Они осматривают Высокий замок и храм, – ответил чех. – Водит их сам замковый комтур, а потом они пойдут обедать в большую трапезную; магистр и вас собирается позвать на обед.

– А что ты делал с утра?

– Да всё присматривался к наемной немецкой пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал её с нашей, чешской.

– А разве ты помнишь чешскую пехоту?

– Мальчишкой взял меня в плен рыцарь Зых из Згожелиц, ну, а всё-таки я хорошо помню: сызмальства занимало меня это дело.

– Ну, и что же ты думаешь?

– Да ничего! Сильная у крестоносцев пехота и хорошо обучен народ, а всё-таки волю они, а наши чехи – волки. Случись война, так ведь вы знаете, что волю волков не едят, а волки очень до говядины лакомы.

– Это верно, – сказал Мацько, который, видно, кое-что знал об этом, – кто на вас наткнется, как от ежа отскочит.

– В битве конный рыцарь десятка пехотинцев стоит, – сказал Збышко.

– Но Мариенбург может взять только пехота, – возразил оруженосец.

На этом разговор о пехоте кончился, так как Мацько, следуя за ходом своих мыслей, сказал:

– Послушай, Глава, сегодня поем я поплотнее, и, как почувствую, что набрался сил, поедем.

– А куда? – спросил чех.

– Ясное дело, в Мазовию. В Спыхов, – ответил Збышко.

– Там и останемся?..

Мацько вопросительно взглянул на Збышка; до сих пор у них не было разговора о том, что они будут делать дальше. Может, молодой рыцарь и принял уже решение, но, не желая, видно, огорчать дядю, он уклончиво ответил:

– Сперва вам надо поправиться.

– А потом?

– Потом? Вы вернетесь в Богданец. Я ведь знаю, как вы любите Богданец.

– А ты?

– И я люблю.

– Я не хочу сказать: не ездь к Юранду, – медленно проговорил Мацько,

– коли помрет он, надо ведь достойно похоронить его; но ты только послушай, что я тебе скажу: ты ещё молод и умом со мной не можешь равняться. Несчастливое место этот Спыхов. Коли и бывала тебе в чем удача, так только не в Спыхове, ничего ты там не изведаль, кроме тяжкого горя да мук.

– Это всё так, – сказал Збышко, – но ведь там Дануся моя похоронена...

– Перестань! – воскликнул Мацько, опасаясь, как бы Збышко опять не впал в такое отчаяние, как накануне.

Но на лице молодого рыцаря изобразились только печаль и умиление.

– У нас ещё будет время поговорить, – сказал он, помолчав с минуту времени. – В Плоцке вам всё равно придется отдохнуть.

– Уж там, ваша милость, о вас позаботятся, – вмешался Глава.

– Правда! – воскликнул Збышко. – Знаете ли вы, что там Ягенка? Она придворная княгини Александры. Ну, конечно, вы знаете, вы же сами её туда привезли. Она была и в Спыхове. Странно мне только, что вы ничего не сказали мне о ней у Скирвойла.

– Мало того, что она была в Спыхове, без нее Юранд и по сию пору бродил бы ощупью по дорогам, а нет, так помер бы где-нибудь под забором. Я привез её в Плоцк получить наследство аббата, а не говорил тебе потому, что толку в этом было тогда мало, ты, бедняга, ничего в ту пору не видел.

– Она очень вас любит, – сказал Збышко. – Слава Богу, что не понадобились нам никакие письма; но ведь она насчет вас получила письмо от княгини, а через княгиню и от послов ордена.

– Да благословит её Бог, лучше девушки на всём свете не сыщешь! – сказал Мацько.

Дальнейший разговор был прерван появлением Зындрама из Машковиц и Повалы из Тачева, которые услышали о том, что Мацьку накануне было худо, и пришли проведать его.

– Слава Иисусу Христу! – переступив порог, поздоровался Зындрам. – Ну, каково вам нынче?

– Спасибо! Ничего, помаленьку! Збышко вот толкует, что обвеет меня ветерком, и всё будет хорошо.

– Что ж... конечно, всё будет хорошо, – вмешался Повала.

– И отдохнул я славно! – продолжал Мацько. – Не то что вы. Слыхал я, что вам пришлось встать спозаранку.

– Сперва к нам здешние люди приходили просить пленников обменять, – сказал Зындрам, – а потом мы осматривали хозяйство ордена – и предзамковое укрепление, и оба замка.

– Крепкое хозяйство и крепкие замки! – угрюмо проворчал Мацько.

– Да, крепкие. В храме у них арабские украшения, – крестоносцы говорят, что научились такой лепке в Сицилии от сарацин, – а в замках покои со сводами, утвержденными то на одной, то на многих колоннах. Вы сами увидите большую трапезную. А какие везде укрепления, нигде таких не найдешь. Самое большое каменное ядро не пробьет таких стен. Любо-дорого смотреть...

Зындрам говорил так весело, что Мацько воззрился на него в изумлении.

– А вы видели, как они богаты, – спросил старый рыцарь, – какой у них порядок, сколько войска, гостей?

– Они всё нам показывали будто бы из гостеприимства, а на самом деле для того, чтобы у нас упало сердце.

– Ну, и что же?

– Ну, коли, Бог даст, дело дойдет до войны, погоним мы их прочь за моря и горы, туда, откуда они к нам пришли.

Мацько от удивления даже с места вскочил, позабыв о своей болезни.

– Да неужто? – воскликнул он. – Вы, говорят, умный человек... А то ведь я просто сомлел, когда увидал, какие они сильные... Господи Боже мой! А почему же вы так думаете?

Тут он обратился к племяннику:

– Вели-ка, Збышко, вина принести, что нам вчера прислали. Садитесь, гости дорогие, да рассказывайте! Лучшего лекарства против моей болезни ни один лекарь не выдумает.

Збышко, которого тоже взяло любопытство, сам поставил братину вина и кубки, все уселись за стол, и пан из Машковиц начал:

– Укрепления – это дело пустое: что человеческая рука сотворила, то она и разрушить может. Вы знаете, что связывает кирпичи? – Известка. А что связывает людей? – Любовь.

– Раны Божьи! – воскликнул Мацько. – С вами разговориться – что меду напиться!

Зындрам, в душе польщенный похвалой, продолжал:

– У одного из здешних брат у нас в цепях, у другого – сын, у третьего зять или другой родич. Пограничные комтуры велят им ходить к нам на разбой, и не один из них ещё голову сложит, не один попадет в наши руки. Но народ уже прознал про договор между королем и магистром, и с самого утра к нам стали приходить люди, чтобы наш писец записал имена их родных, которые в неволе у нас. Первым пришел здешний бочар, зажиточный горожанин, немец, дом у него свой в Мальборке. И сказал он мне напоследок: «Кабы мог я вашему королю и королевству службу сослужить, не то что богатства, головы не пожалел бы!» Я его отослал, подумал – иуда. Но потом пришел просить за брата ксёндз из Оливы, и вот что он мне сказал: «Правда ли, пан рыцарь, что вы пойдете войной и на наших прусских владык? Скажу я вам, что когда наш народ повторяет слова молитвы: „Да приидет царствие твое!“, то думает про вашего короля». Потом пришли просить за сыновей два дворянина, они держат лен около Штума, пришли купцы из Гданьска, ремесленники, мастер из Квидзыня, что колокола льет, пропасть народу, и всё одно и то же твердили.

Тут пан из Машковиц умолк, поднялся, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, вернулся на место и, понизив голос, закончил:

– Я долго про всё расспрашивал. Во всей Пруссии крестоносцев ненавидят и священники, и дворяне, и горожане, и мужики. И ненавидит их не только народ, который говорит по-нашему или по-прусскому: но даже сами немцы. Кто должен служить – служит, но крестоносцы для них хуже чумы. Вот оно дело какое...

– Да, но при чем тут могущество ордена? – спросил с беспокойством Мацько.

Зындрам провел рукой по своему могучему лбу, подумал, словно подыскивая сравнение, и наконец с улыбкой спросил:

– Вам случалось когда-нибудь драться на поединке?

– Ещё бы! Не раз! – ответил Мацько.

– Ну, а как вы думаете, разве не свалится с коня при первой же сшибке даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруга и стремяна?

– Это уж как пить дать!

– Ну вот видите! Орден и есть такой рыцарь.

– Истинная правда! – воскликнул Збышко. – И в книжке, пожалуй, ничего лучше не вычитаешь.

А Мацько дрожащим от волнения голосом проговорил:

– Спасибо вам на добром слове. Броннику на вашу голову приходится, пожалуй, особый шлем делать, готового для нее нигде не найдешь.

XXXV

Мацько и Збышко собирались тотчас уехать из Мальборка; однако в тот день, когда

их так подбодрил Зындрам из Машковиц, им не удалось выехать, так как в Высоком замке состоялся обед, а потом ужин в честь послов и гостей, на который Збышка пригласили как королевского рыцаря, а с ним позвали и Мацька. Обед состоялся в узком кругу, в великолепной большой трапезной, освещённой десятью окнами, пальчатый свод которой, по способу, редко применявшемуся в зодчестве, поддерживала одна колонна. Кроме королевских рыцарей, из иноземцев были приглашены к столу только швабский граф и граф бургундский, который хоть и был подданным богатых властителей, однако приехал занять от их имени у крестоносцев денег. Из местных сановников рядом с магистром восседали за столом четыре так называемых столпа ордена: великий комтур, милостынник, ризничий и казначей. Пятый столп, то есть маршал, ушел в поход против Витовта.

Невзирая на то, что крестоносцы давали обет бедности, за столом ели на золоте и серебре и запивали мальвазией, ибо магистр хотел ослепить блеском польских послов. Кушаний подавали множество, и хозяева усердно потчевали; но гости скучали, разговор не клеился, все должны были держаться чинно. Зато за ужином в огромной общей трапезной (Convents Remter) было куда веселее; собрались все рыцари-монахи и все те гости, которые не успели отправиться с маршалом в поход против Витовта. Ни один спор, ни одна ссора не омрачили веселья. Правда, иноземные рыцари знали, что не миновать им биться с поляками, и косо смотрели на них; но крестоносцы заранее их предупредили, что надо соблюдать спокойствие, и, опасаясь в лице послов оскорбить короля и всё королевство, убедительно просили гостей держать себя учтиво. Но крестоносцы предостерегли гостей о запальчивости поляков, проявив и в этом случае свое недоброжелательство: «Они как подвыпьют, так за неосторожное слово сразу вырвут вам бороду или пырнут ножом». Поэтому гости удивились добродушию Повалы из Тачева и Зындрама из Машковиц, а более догадливые сообразили, что не у поляков грубые нравы, а у крестоносцев ядовитые и длинные языки.

Кое-кто из гостей, привыкших к изысканным развлечениям при блестящих западных дворах, вынес не особенно благоприятное представление о нравах самих крестоносцев, ибо музыканты за ужином играли чересчур громко, «шпильманы» распевали непристойные песни, шуты отпускали грубые шутки, плясали медведи и босоногие девки. А когда кто-то выразил удивление по поводу присутствия в Высоком замке женщин, оказалось, что орден уже давно забыл о запрете и что сам великий Винрих Книпроде плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлебен. Рыцари-монахи пояснили, что женщинам не разрешается только жить в замке, но они могут присутствовать на пирах в трапезной, и что в прошлом году супруга князя Витовта, которая жила в убранной с царской роскошью старой пушкарне в предзамковом укреплении, всякий день приходила сюда играть в золотые шашки, которые ей тут же каждый вечер дарили.

И в этот вечер играли не только в шашки и шахматы, но и в зернь; многие занялись игрой, так как разговор заглушали песни и слишком шумный оркестр. Однако среди общего шума по временам наступала на минуту тишина, и, воспользовавшись одной из таких минут, Зындрам из Машковиц притворился, будто ничего не знает, и спросил у магистра, очень ли любят орден подданные всех его земель.

– Кто любит крест, – ответил ему Конрад фон Юнгинген, – тот должен любить и орден.

Ответ понравился и крестоносцам, и гостям, и все стали восхвалять за него магистра, а тот, довольный похвалой, продолжал:

– Кто друг нам, тому хорошо живется под нашей рукой, а против врагов есть у нас два средства.

– Какие же? – спросил польский рыцарь.

– Вы, ваша честь, может, не знаете, что из своих покоев я спускаюсь сюда по маленькой лестнице в стене, а рядом с этой лестницей сводчатая комната; если бы я, ваша честь, проводил вас туда, вы узнали бы первое средство.

– Истинно так! – воскликнули рыцари-монахи.

Пан из Машковиц догадался, что магистр говорит о той «башне», полной золота, которой бахвалились крестоносцы; он задумался на минуту, а потом сказал:

– Давно-давно один немецкий государь показал нашему послу, по имени Скарбеку, такую же кладовую и сказал: «Есть у меня чем побить твоего господина!» А Скарбек бросил туда свой драгоценный перстень и проговорил: «Иди, золото, к золоту, мы, поляки, больше железо любим...» И знаете, ваша честь, что было потом? Потом был Хундсфельд[28]...

– Что за Хундсфельд? – раздались голоса рыцарей.

– Это, – спокойно ответил Зындрам, – поле такое, на котором не успевали убирать немцев, и в конце концов псы их убрали.

Услышав такой ответ, рыцари и монахи смешались и не знали, что сказать, а Зындрам из Машковиц прибавил в заключение:

– С золотом против железа ничего не поделаешь.

– Ба! – воскликнул магистр. – Другое наше средство – как раз железо. Вы видели, ваша честь, в предзамковом укреплении наши бронные мастерские? День и ночь там куят молоты, и нигде в мире вы не найдете ни таких панцирей, ни таких мечей.

В ответ на это Повала из Тачева протянул руку, взял лежавший посередине стола тесак для рубки мяса длиной в локоть и шириной больше чем в полпяди и легко, как пергамент, свернув его в трубку, поднял вверх так, чтобы все его видели, а затем подал магистру.

– Коли и мечи ваши из такого железа, – сказал он, – то немного вы с ними добьетесь.

И, довольный собой, он улыбнулся, а духовные и светские рыцари поднялись со своих мест и, подбежав гурьбою к великому магистру, стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак; все они хранили молчание, ибо дрогнули сердца их, когда увидели они такую силу.

– Клянусь головой святого Либерия! – воскликнул наконец магистр. – У вас железные руки.

А бургундский граф прибавил:

– И железо получше. Скрутил тесак, будто он слеплен из воска.



– И не покраснел, и жилы не вздулись! – воскликнул один из монахов.

– Это потому, – ответил Повала, – что народ наш простой, но закаленный, не знает он таких достатков и роскоши, какие я вижу здесь.

Тут к нему подошли итальянские и французские рыцари и заговорили с ним на своих звучных языках, о которых старый Мацько говорил, что они похожи на звон оловянных мисок. Они восхищались его силой, а он чокался с каждым и отвечал:

– У нас на пирах часто скручивают тесаки. А коли тесак поменьше, так его иной раз и девушка скрутит.

Но немцам, которые любили похвалиться перед иноземцами своим ростом и силой, было стыдно, зло их брало, и старый Гельфенштейн крикнул через весь стол:

– Это позор для нас! Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и у нас кости не из церковных свечей! Дайте ему тесак!

Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом; но то ли немец смутился стольких свидетелей, то ли пальцы у него и впрямь не были такие сильные, как у Повалы, только согнул он тесак, а скрутить не смог.

Не один иноземный гость, кому крестоносцы нашептывали, что зимой начнется война с королем Ягайлом, крепко призадумался в эту минуту и вспомнил, что зима в этом краю бывает жестокая и что лучше, пожалуй, пока есть ещё время, вернуться под ласковое небо в родной замок.

И вот что удивительно: подобные мысли пришли им в голову в июле, в самый зной, в чудную погоду.

### XXXVI

В Плоцке Збышко и Мацько княжеского двора не застали, князь и княгиня, взяв с собой всех своих восьмерых детей, по приглашению княгини Анны Дануты уехали в Черск. От епископа рыцари узнали, что Ягенка решила остаться в Спыхове у одра Юранда до смерти старика. Это было им на руку, они сами тоже собирались в Спыхов. Мацько до небес превозносил Ягенку за её доброту, за то, что она пренебрегла черскими забавами, танцами и увеселениями и предпочла уехать к умирающему, который не был ей даже сродни.

– Может, она это для того сделала, чтобы с нами не разминуться, – говорил старый рыцарь. – Давно уж я её не видал и рад буду встретиться с нею. Знаю, что и она будет рада. Верно, выросла девка, ещё краше стала.

– Очень она изменилась, – сказал Збышко. – Всегда она была хороша собою, но я помню её простой девушкой, а теперь ей... и в королевские покои впору.

– Так изменилась? Да ведь Ястжембцы из Згожелиц – это древний род, их боевой клич: «На пир!»

На минуту воцарилось молчание, затем снова заговорил старый рыцарь:

– Верно, так оно и будет, как я говорил тебе, потянет её в Згожелицы.

– Мне и то было удивительно, что она оттуда уехала.

– Она хотела присмотреть за больным аббатом, некому ведь было за ним поухаживать. Да и Чтана с Вильком боялась, я сам ей сказал, что братьям без нее будет спокойнее.

– Да, уж на сирот они не стали бы учинять набеги.

Мацько задумался.

– Не отомстили ли они мне за то, что я увез её, может, уж Богданец по бревнышку растащили, Бог один знает! Да и не знаю, одолею ли я их, как ворочусь. Парни они молодые, крепкие, а я старик.

– Ну, это уж вы кому-нибудь другому пойте, – ответил Збышко.

Мацько и в самом деле говорил не совсем искренне, у него другое было на уме, и старик только рукой махнул.

– Кабы я в Мальборке не хворал, тогда бы ещё ничего! – возразил он. – Но об этом мы поговорим в Спыхове.

Переночевав в Плоцке, они на другой день двинулись в Спыхов.

Дни стояли ясные, дорога была сухая, легкая и к тому же безопасная; крестоносцы после последних переговоров прекратили на границе разбои. Впрочем, оба рыцаря принадлежали к числу тех путников, которых и разбойнику лучше не трогать, а поклониться издали, поэтому они быстро подвигались вперед и на пятый день после выезда из Плоцка благополучно добрались утром до Спыхова.

Ягенка, для которой Мацько был самым задушевным другом в мире, встретила его как отца родного, а он, хоть и не отличался особой чувствительностью, был глубоко тронут сердечностью девушки, которую и сам крепко любил; и когда Збышко, расспросив про Юранда, пошел к нему и к гробу Дануси, старый рыцарь сказал с глубоким вздохом:

– Что ж! Кого Бог захотел прибрать, тот и прибрался, а кого захотел оставить, тот и остался; думаю, что кончились наши мытарства и наши скитанья по миру.

А затем прибавил:

– Эх, куда только нас за последние годы не носило!

– Господь хранил вас, – сказала ему Ягенка.

– Это верно, что хранил, только, сказать по совести, пора и домой.

– Покуда Юранд жив, нам надо здесь остаться, – заметила девушка.

– Ну, а как он?

– В небо глядит и улыбается, верно, рай уж видит, а в нём Данусю.

– Ты за ним присматриваешь?

– Присматриваю, но ксѣндз Калѣб говорит, что за ним и ангелы смотрят. Вчера здѣшняя ключница видѣла двоих.

– Говорят, – сказал на это Мацько, – что шляхтичу всего приличней умирать в поле, но так, как Юранд умирает, можно и на одре.

– Не ест, не пьет он, только всё улыбается, – сказала Ягенка.

– Пойдем к нему. Збышко, верно, там.

Но Збышко, недолго побыв у Юранда, который никого не узнавал, ушел в склеп, к гробу Дануси. Там он пробыл до тех пор, пока старый Толима не пришел его звать подкрепиться. Уходя, Збышко заметил при свете факела, что гроб весь покрыт веночками из васильков и ноготков, а чисто выметенный глинобитный пол устлан аиром, желтоголовником и липовым цветом, от которого струился медовый дух. Умилилось сердце молодого рыцаря, и он спросил:

– Кто это украшает так гроб?

– Панна из Згожелиц, – ответил Толима.

Молодой рыцарь ничего не сказал; но, когда увидел Ягенку, упал вдруг к ногам девушки и, обняв её колени, воскликнул:

– Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за эти цветы для Дануськи!

И горько расплакался, а она, как сестра, которая хочет успокоить плачущего брата, вжала руками его голову и проговорила:

– О мой Збышко, я бы и не так рада была тебя утешить!

И слезы ручьем полились у нее из глаз.

### XXXVII

Через несколько дней Юранд умер. Целую неделю ксѣндз Калѣб служил панихиды над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, – и целую неделю в Спыхове было полно гостей. Потом воцарилась тишина, как всегда бывает после похорон. Збышко спускался в склеп, а иногда, захватив самострел, уходил в лес, но зверей не стрелял, а только бродил в задумчивости; наконец как-то вечером он зашел в горницу, где сидели девушки с Мацьком и Главой, и неожиданно обратился к ним с такими словами:

– Послушайте, что я вам скажу! Печаль человека не украсит; чем сидеть тут да кручиниться, возвращайтесь-ка лучше в Богданец да в Згожелицы!

Воцарилось молчание, все поняли, что разговор будет важный; только Мацько, помолчав, бросил:

– Оно и для нас, да и для тебя лучше.

Но Збышко только тряхнул светлыми волосами.

– Нет! – сказал он. – Бог даст, и я вернусь в Богданец, но теперь не туда лежит мне путь.

– Вот тебе на! – воскликнул Мацько. – Я говорил, что уж конец, а выходит, нет! Побойся ты Бога, Збышко!

– Вы ведь знаете, что я дал обет.

– Так вот что за причина? Нет Дануськи, нет и обета. Смерть её освободила тебя от клятвы.

– Моя смерть освободила бы, а её не может. Я рыцарской честью поклялся! Вы понимаете? Рыцарской честью!

Всякий раз слово о рыцарской чести оказывало на Мацька магическое действие. Немногим руководствовался он в жизни, кроме заповедей Божьих и церковных, но зато в этом немногом был непоколебим.

– Я и не говорю, что тебе надо нарушать клятву, – сказал он.

– А что же вы говорите?

– Что ты молод и что впереди у тебя ещё много времени. Поезжай теперь с нами; отдохнешь, стряхнешь с себя горе да печаль, а потом поедешь, куда хочешь.

– Тогда я вам всё скажу, как на духу, – промолвил Збышко. – Езжу я, как видите, всюду, куда надо, говорю вот с вами, ем, пью, как все люди, но, по совести, неладное что-то со мною творится, не могу я взять себя в руки. Одна тоска да печаль на сердце у меня, одни горькие слезы, сами они льются из глаз!

– С чужими тебе будет ещё тяжелей.

– Нет! – сказал Збышко. – Видит Бог, совсем я зачахну в Богданце. Сказал, не могу – значит, не могу. На войну надо мне, в битве я скорее забудусь. Чует мое сердце, что как исполню я свой обет и смогу сказать этой спасенной душе: «всё сделал я, что тебе обещал», станет мне легче. А так – нет! Вы меня в Богданце и на привязи не удержите.

В горнице после этих слов Збышка стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит.

– Чем в Богданце чахнуть, пусть лучше едет, – промолвила наконец Ягенка.

Мацько заложил руки за голову, как всегда делал в минуту тревоги, и с тяжелым вздохом сказал:

– Эх, господи милостивый!

– А ты, Збышко, – продолжала Ягенка, – поклянись, что не останешься здесь, коли Бог тебя сохранит, а к нам воротись.

– Отчего же мне не воротиться, я, разумеется, и в Спыхов заеду, но не останусь здесь.

– А коли ты про Дануську думаешь, – понизив голос, продолжала девушка, – так мы её гроб в Кшесню перевезем...

– Ягуся! – воскликнул растроганный Збышко.

И в порыве восторга и благодарности упал к её ногам.

### XXXVIII

Старый рыцарь непременно хотел ехать со Збышком в войско князя Витовта, но тот и слышать не хотел об этом. Он настаивал, что поедет один, без людей, без повозок, с тремя конными слугами, из которых один повезет припасы, другой оружие и одежду, а третий медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Ягенка и Мацько умоляли его взять с собой хоть Главу, сильного и верного оруженосца. Збышко уперся на своем, он говорил, что ему нужно забыть горе, которое его точит, а оруженосец своим присутствием будет напоминать ему обо всем, что было, что миновало.

Перед его отъездом держали совет о том, как быть со Спыховом. Мацько советовал продать Спыхов. Он говорил, что несчастливая это земля, ничего она никому не принесла, кроме горя и мук. Много богатств было в Спыхове, начиная от денег и кончая доспехами, конями, одеждой, кожухами, ценными мехами, дорогой утварью и стадами, и Мацько в душе лелеял надежду укрепить этими богатствами Богданец, который был ему милее всех прочих владений. Долго держали совет; но Збышко ни за что не соглашался на продажу.

– Как же мне продавать кости Юранда? – говорил он. – Ужели так отплачу я ему за все милости, которыми он осыпал меня?

– Мы обещали тебе перевезти прах Дануси, – сказал Мацько, – что ж, можно перевезти и прах Юранда.

– Да, но здесь он лежит с отцами, а в Кшесне без отцов ему будет скучно. Возьмете Дануську, останется он вдали от дочки, а возьмете и его, отцы останутся одни.

– Не знаешь ты, что Юранд на небе всякий день видит своих, ведь отец Калев говорит, что он в раю, – возразил старый рыцарь.

Но ксёндз Калев был на стороне Збышка.

– Душа в раю, – вмешался он в разговор, – но плоть на земле до страшного суда.

Мацько задумался, однако, следуя за ходом своих мыслей, прибавил:

– Да, коли кто не достиг вечного спасенья, того Юранд не видит; но тут уж ничего не поделаешь.

– Чего там рассуждать о том, что кому Богом уготовано! – заметил Збышко. – Не приведи только Бог, чтобы чужой жил здесь, где покоится священный прах. Да лучше я всех здесь оставлю, а Спыхова не продам, коли мне за него целое княжество будут давать.

Мацько убедился, что спорить бесполезно: он хорошо знал, как упорен племянник, и в душе восхищался этим упорством, как и другими его душевными свойствами.

Помолчав с минуту времени, старик сказал:

– Что и говорить, не по душе мне эти речи, но ведь парень-то прав.

И закручинился, не зная, что и делать.

Но тут Ягенка, которая молчала до сих пор, подала новый совет:

– Подыскать бы честного человека, да и оставить его здесь управителем или сдать ему Спыхов в аренду, вот и чудесно было бы. Лучше всего в аренду сдать, никаких хлопот, знай гребни денежки. А не сдать ли Толиме? Нет, он уже стар, да и не в хозяйстве, а в ратном деле знает он толк. Что ж, коли не ему, так, может, ксёндзу Калебу?..

– Милая панна! – ответил на это ксёндз Калёб. – Ждет нас с Толимой мать сыра-земля, да не та, что по ней мы ходим, а та, что покроеет нас.

И обратился к Толиме:

– Правда, старик?

Толима приставил ладонь к длинному уху и спросил:

– О чём речь-то?

Когда ему повторили вопрос погромче, он сказал:

– Истинная правда. Не приучен я к хозяйству. Секира глубже берет, чем плуг... Вот отомстить бы за пана с дочкой, это я бы с радостью...

И, вытянув худые, но жилистые руки с пальцами кривыми, как когти у хищной птицы, он повернул к Мацьку и Збышку седую, похожую на волчью, голову и прибавил:

– Немцев бить вы меня возьмите – это моя служба!

Он был прав. Приумножил старик богатства Юранда, но не хозяйничая в Спыхове, а на войне добывая их.

Тут снова вмешалась Ягенка, которая, пока шел разговор, думала, что бы ещё предложить.

– Нужен тут человек молодой и бесстрашный – рядом ведь граница крестоносцев, – такой, что не только не прятался бы от немцев, а сам их искал. Вот и думаю я, что очень бы подошел Глава...

– Нет, вы только поглядите, как она рассуждает! – воскликнул Мацько, в голове которого, несмотря на всю его любовь к Ягенке, никак не укладывалось, что в таком деле может поднять голос женщина, да ещё незамужняя.

Но чех поднялся с лавки, на которой сидел, и сказал:

– Видит Бог, рад бы я пойти с паном Збышком на войну, мы уж с ним немного немцев нащелкали, может, и ещё привелось бы... Но коли надо здесь оставаться, что ж, я бы остался... Толима мне друг и знает меня... Граница крестоносцев близко, ну что ж? Тем лучше! Мы ещё посмотрим, кто первый станет пенять на соседство! Чем мне бояться их, пусть лучше они меня боятся. И сохрани Бог, чтобы я в хозяйстве

ущерб вам причинил, всё себе загребал бы. Уж в этом-то за меня панночка поручится, да лучше мне сквозь землю провалиться, как я тогда и в глаза-то ей гляну... В хозяйстве я не очень разбираюсь, так кой-чему научился в Згожелицах, только думаю я, что здесь больше придется не плугом, а секирой да мечом орудовать. По душе мне всё это, как будто... можно бы и остаться...

– Так в чем же дело? – спросил Збышко. – Что же ты тянешь?

Глава совсем смешался и продолжал, заикаясь:

– Да ведь уедет панночка, а с нею все уедут. Воевать хорошо, хозяйничать тоже, но одному... без всякой помощи... Очень уж мне было бы скучно без панночки и без... ну, как бы это сказать... не одна ведь панночка ездил по свету... так, коли мне никто здесь не поможет... право, не знаю!

– О чём этот парень толкует? – спросил Мацько.

– Человек вы большого ума, а не догадываетесь, – ответила Ягенка.

– А что?

Но Ягенка ему не ответила.

– Ну, а если бы с тобой осталась Ануля, – обратилась она к оруженосцу, – ты бы выдержал?

Чех при этих словах повалился ей в ноги так, что пыль столбом поднялась.

– Да с нею я бы и в пекле выдержал! – воскликнул он, обнимая ноги Ягенки.

Услышав этот возглас, Збышко в изумлении воззрился на оруженосца; он ничего не знал и ни о чём не догадывался, а Мацько в душе тоже диву давался, думая о том, как много значит женщина во всех земных делах, любое дело может с нею и удалиться, и прахом пойти.

– Слава Богу, – пробормотал он, – мне уж они не нужны.

Ягенка опять обратилась к Главе:

– Нам теперь надо только знать, выдержит ли с тобой Ануля.

И она позвала Анульку, которая, видно, знала или догадывалась обо всём, потому что вошла, опустив голову и закрывшись рукавом, так что виден был только пробор в её светлых волосах, которые в солнечных лучах казались ещё светлее. Ануля сперва остановилась на пороге, потом бросилась к Ягенке, повалилась ей в ноги и спрятала лицо в складках её юбки.

А чех преклонил колена рядом с нею и сказал Ягенке:

– Благословите нас, панночка.

XXXIX

На другой день Збышко уезжал. Высоко сидел он на рослом боевом коне, окруженный своими близкими. Стоя у стремени, Ягенка в молчании всё поднимала на молодого

рыцаря свои печальные голубые глаза, словно перед разлукой хотела на него наглядеться. Мацько и ксёндз Калёб стояли у другого стремени, а рядом с ними – оруженосец с Анулькой. Збышко поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь с близкими теми короткими словами, какие обыкновенно говорят перед долгим расставанием: «Оставайтесь здоровы!» – «С Богом!» – «Уже пора!» – «Да, пора, пора!» Он ещё раньше простился со всеми и с Ягенкой, которой повалился в ноги, благодаря её за сочувствие. А теперь, когда он глядел на девушку с высокого рыцарского седла, ему хотелось сказать ей ещё какое-нибудь доброе слово; и взор её, и всё лицо так ясно говорили ему: «Вернись!» – что сердце его прониклось глубокой признательностью к ней.

Как бы отвечая на немую её мольбу, он проговорил:

– Ягуся, я тебя как родную сестру... Понимаешь!.. Больше я ничего не скажу!

– Знаю. Да вознаградит тебя Бог.

– И дядю не забывай!

– Не забывай и ты.

– Ворочусь, коли не сгину.

– Не гинь.

Уже однажды в Плоцке, когда он упомянул о походе, она сказала ему те же слова: «Не гинь», но теперь они вырвались из самой глубины её души, и, быть может, для того, чтобы скрыть слезы, она так наклонила голову, что лоб её на мгновение коснулся колена Збышка.

Меж тем слуги, уже готовые в путь и державшие у ворот вьючных лошадей, запели:

Златой мой перстень, заветный перстень Не пропадет; Подруге ворон, да с поля ворон Его снесет.

– В путь! – воскликнул Збышко.

– В путь!

– Да хранит тебя Бог и Пресвятая Дева!..

Копыта зацокали по деревянному подъемному мосту, один конь протяжно заржал, другие громко зафыркали, и отряд тронулся в путь.

Ягенка, Мацько, ксёндз, Толима, чех с женой и слуги, оставшиеся в Спыхове, вышли на мост и провожали глазами уезжающих. Ксёндз Калёб долго осеял их крестным знаменем, а когда они скрылись за высокими ольхами, сказал:

– Под этим знаменем не постигнет их беда на пути!

А Мацько прибавил:

– Ещё бы, но и то хорошая примета, что кони так фыркали.



Мацько с Ягенкой тоже недолго оставались в Спыхове. Через две недели старый рыцарь, уладив все дела с чехом, который стал арендатором Спыхова, во главе целого обоза под охраной вооруженных слуг двинулся с Ягенкой в Богданец. Ксендз Калев и старый Толима довольно мрачно взирали на повозки, так как Мацько, сказать по правде, порядком обобрал Спыхов; но Збышко передал ему бразды правления, и никто не посмел воспротивиться старому рыцарю. Он бы ещё больше захватил, да Ягенка его удержала; старик хоть и спорил с девушкой, хоть и высмеивал её «бабий ум», однако во всём её слушался.

Гроб с останками Дануси они не стали брать – раз Спыхов не был продан, Збышко решил оставить Данусю с отцами.

Зато они увозили кучу денег и много всякого добра, по большей части захваченного Юрандом в битвах у немцев. Поглядывая теперь на покрытые рогожами телеги с кладью, Мацько радовался в душе при мысли о том, как поднимет он и устроит Богданец. Эту радость омрачало опасение, как бы не погиб Збышко; зная, однако, что племянник его искусный воитель, Мацько не терял надежды на благополучное его возвращение и предвкушал сладостную минуту встречи.

«Может, так Богу было угодно, – говорил он себе, – чтобы Збышко сперва Спыхов заполучил, а потом Мочидолы и всё, что осталось после аббата. Лишь бы только он благополучно воротился, уж я ему поставлю в Богданце крепкий городок, а там посмотрим!..» Тут он вспомнил, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой окажут ему, наверно, не очень ласковый прием и что придется, пожалуй, драться с ними; но старый рыцарь об этом не беспокоился, как не беспокоится старый боевой конь, выступая в сражение. Здоровье к нему вернулось, он чувствовал ещё силу в костях и знал, что легко справится с этими забияками, которые хоть и опасны, но не прошли никакой рыцарской выучки. Правда, недавно он совсем другое говорил Збышку, но это только для того, чтобы склонить племянника вернуться в Богданец.

«Да, щука я, а они пескари, – думал он, – лучше пусть с головы ко мне не суются!»

Зато его другое тревожило: Бог весть когда Збышко воротится, да и на Ягенку он смотрит только как на сестру. А что, если девушка тоже почитает его только за брата и не станет дожидаться его возвращения?

– Послушай, Ягна, – обратился он к ней, – я не говорю про Чтана и Вилька, парни они грубые, не пара тебе. Ты теперь придворная!.. Но ведь года-то идут... Ещё покойный Зых говорил, что пришла твоя пора, а с того времени вон уж сколько лет миновало... Почем знать? Говорят, коли девке тесен веноч, она сама готова искать хлопца, чтобы снял его с головы... Понятное дело, ни Чтан, ни Вильк... Ну, а как же ты всё-таки думаешь?

– О чём вы спрашиваете?

– Замуж-то пойдешь?

– Я?.. Я в монашки пойду.

– Не болтай глупостей! А коли Збышко воротится?

Она покачала головой:

– Я в монашки пойду.

– Ну, а коли он полюбит тебя? Коли слезно станет упрашивать?

Девушка при этих словах повернула к полю зарумянившееся лицо, но ветер-то дул с поля, он и принес Мацьку тихий ответ:

– Тогда не пойду в монашки.

XL

Мацько и Ягенка остановились на некоторое время в Плоцке, чтобы уладить дело с наследством и духовной аббата. Запасшись нужными документами, путники снова пустились в дорогу; они делали короткие привалы, потому что ехать теперь было легко и безопасно: болота высохли от зноя, реки обмелели, и путь их лежал по мирной стране, где жил их родной и гостеприимный народ. Однако из Серадза осторожный Мацько послал в Згожелицы слугу предупредить, что они едут, и брат Ягенки, Ясько, встретил их на полдороге во главе двух десятков вооруженных слуг и проводил до дома.

В Згожелицах их встретили радостными кликами и приветствиями. Ясько, как две капли воды похожий на Ягенку, перерос её. Парень из него вышел – загляденье; смелый, веселый, как покойный Зых, от которого он унаследовал страсть к пению, сущий огонь. Ясько думал, что вошел уже в возраст, в силу, почитал себя взрослым мужчиной и распоряжался слугами, как заправский хозяин, и те мигом исполняли каждое его приказание, видно, побаивались парня с его хозяйской замашкой.

Мацько и Ягенка просто диву дались, а он тоже не мог наглядеться на свою красавицу сестру, которую давно не видал и которая стала такой важной. Он говорил, что собрался уже было к ней, ещё немного – и они не застали бы его дома, надо ведь и ему свету повидать, людей посмотреть, рыцарскому делу поучиться и поискать случая сразиться на поединке со странствующими рыцарями.

– Свет и людей посмотреть – это дело хорошее, – ответил ему Мацько, – научись, как найтись и что сказать в любом случае жизни, ума-разума наберешься. Что ж до поединка, так уж лучше я тебе скажу, что ты ещё молод для этого, а то чужой рыцарь не преминет ещё высмеять тебя.

– Как бы ему с того смеху не заплакать, – ответил Ясько, – а не ему, так его жене и детям.

И он поглядел с такой дерзкой отвагой, словно хотел сказать странствующим рыцарям всего света: «Готовьтесь к смерти!» Но старый рыцарь из Богданца спросил его:

– А Чтан и Вильк оставили вас здесь в покое? Они ведь заглядывались на Ягенку.

– Да ведь Вилька убили в Силезии. Он хотел взять один немецкий замок и уж взял его, да его бревном придавило, которое бросили с замковой стены, через два дня он Богу душу и отдал.

– Жаль парня. Отец его тоже ходил в Силезию на немцев, которые притесняют там наш народ, и возвращался оттуда с добычей... Хуже всего замки штурмовать, не помогают тут ни доспехи, ни рыцарское искусство. Даст Бог, князь Витовт не

станет осаждать замки, будет только в поле бить крестоносцев... А Чтан? Что о нём слышно?

Ясько рассмеялся:

– Чтан женился. Взял из Высокого Бжега крестьянскую дочку, писаную красавицу. Она у него не только красавица, но и в обиду не даст себя, Чтану многие поперек дороги не встанут, а она хлещет его по волосатой роже и водит, как медведя на цепи.

Услышав это, старый рыцарь повеселел:

– Вот она какая! Все бабы одинаковы! Ягенка, и ты такой будешь! Слава Богу, что с этими двумя забияками не было хлопот; сказать по правде, я просто дивлюсь, что они не выместили свое зло на Богданце.

– Чтан хотел было, да Вильк, тот умнее был, не дал. Приехал он к нам в Згожелицы и спрашивал, где Ягенка. Я ему говорю: поехала, мол, за наследством, которое осталось после аббата. А он говорит: «Почему Мацько ничего не сказал мне об этом?» – «А разве Ягенка твоя, – говорю я ему, – чтоб тебе докладываться?» Парень он был дошлый, видно, сразу смекнул, что задобрит и вас, и нас, коли Богданец будет стеречь от Чтана. Они даже дрались на Лавице около Поясков и помяли друг дружку, а потом пили, покуда не свалились под лавку, как всегда у них бывало.

– Упокой, господи, душу Вилька! – сказал Мацько.

И вздохнул с облегчением, радуясь, что не найдет в Богданце никакого урона, кроме разве того, что мог приключиться от долгого его отсутствия.

Все и впрямь обошлось без урона; напротив, стада стали больше, от небольшого табунка кобылиц уже были жеребята-двухлетки, некоторые из них, от боевых фризских коней, рослые и сильные необычайно. Мацько потерпел урон только в людях – бежали невольники, но всего несколько человек, потому что бежать они могли только в Силезию, а тамошние немецкие или онемеченные рыцари-разбойники обходились с невольниками хуже, чем польская шляхта. Но старый обширный дом пришел в ещё больший упадок. Глиняный пол потрескался, стены и потолки покосились, а лиственничные балки, поставленные назад тому лет двести, если не больше, стали уже гнить. Во всех горницах, где некогда обитал обширный род Градов Богданецких, от обильных летних дождей появились потеки. Крыша продырявилась и поросла целыми островками зеленого и рыжего моха. всё строение осело и напоминало большой трухлявый гриб.

– Кабы приглядывать, дом бы ещё постоял, ветшать-то стал недавно, – говорил Мацько старому приказчику Кондрату, который в отсутствие хозяина управлял Богданцем.

Помолчав, он прибавил:

– Я бы как-нибудь дожил свой век, а вот Збышку надо замок построить.

– Господи! Замок?

– Да, а разве что?

Построить замок для Збышка и для будущего его потомства – это было заветное желание старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простой усадьбе, а за рвом и острогом, да стража у него со сторожевой башни озирает околицу, так он и у соседей «в почёте», и вельможей ему легче стать. Самому Мацьку не много уж было надобно, но для Збышка и его сыновей он не хотел мириться на малом, особенно теперь, когда так разрослись владения.

«Эх, женился бы он на Ягенке, – думал Мацько, – да взял за нею Мочидолы и наследство аббата, ну, тогда никто во всей околице не мог бы с нами равняться. Вот бы дал Бог!»

Но всё зависело от того, вернется ли Збышко, а тут можно было только уповать на Бога. Говорил себе Мацько, что надобно ему теперь угождать Богу и не только не гневить его, но постараться задобрить. Потому-то и не жалел он для кшесненского костёла ни воска, ни хлеба, ни дичи, а однажды, приехав вечером в Згожелицы, сказал Ягенке:

– Завтра еду в Краков поклониться гробу нашей святой королевы Ядвиги.

Та со страху даже с лавки вскочила.

– Ужель худые вести?

– Никаких вестей не было, да и быть пока не могло. А вот помнишь, как хворал я от железного осколыша в боку, – вы ещё в ту пору ходили со Збышком за бобрами, – дал я обет тогда, коли Бог вернет мне здоровье, сходить ко гробу королевы. Все вы очень тогда меня одобряли. Оно и правильно! Святых у господа Бога не занимать стать, да не всякий святой столько значит, сколько наша королева, а её я ещё потому не хочу прогневить, что речь идет о Збышке.

– Правда! Истинная правда! – воскликнула Ягенка. – Но ведь вы едва успели воротиться из таких трудных странствий...

– Ну что ж! Лучше уж сразу от всего отделаться, а потом спокойно сидеть дома да Збышка поджидать. Коли только будет ему королева перед Богом заступницей, так с ним, при доброй-то броне, и десятку немцев не справиться... А потом я в доброй надежде примусь строить замок.

– Угомону вы не знаете!

– Ничего, я ещё крепкий. Я тебе ещё вот что скажу. Ясько из дому рвется, пускай съездит со мной. Человек я опытный и сумею его удержать. А случись что – руки-то у парня чешутся, – так ты знаешь, что драться мне не внове и пешему и конному, и на мечях и на секирах...

– Знаю! Никто лучше вас его не уберезет.

– Только, думаю я, драться не придется; покуда жива была королева, в Кракове полным-полно было иноземных рыцарей, они наезжали на красу её любоваться, а теперь предпочитают держать путь на Мальборк, там пузатее бочки с мальвазией.

– Да, ведь у нас новая королева[29].

Мацько поморщился и махнул рукой:

– Видал я её, и говорить-то неохота, поняла?

Помолчав, он прибавил:

– Через три-четыре недельки домой воротимся.

Так оно и случилось. Старый рыцарь заставил Яська рыцарской честью и головой Георгия Победоносца поклясться, что он не будет настаивать на том, чтобы ехать ещё куда-нибудь, и они отправились в путь.

В Краков они прибыли без приключений: в стране было спокойно, онемеченные пограничные князьки и немецкие рыцари-разбойники, усташась могущества королевства и храбрости его жителей, прекратили набеги. Побывав у гроба королевы, Мацько и Ясько через Повалу из Тачева и княжича Ямонта попали к королевскому двору. Мацько думал, что и при дворе, и у правителей все кинутся расспрашивать его про крестоносцев, как человека, который хорошо их узнал и присмотрелся к ним. Но после разговора с канцлером и краковским мечником он, к своему удивлению, убедился, что о крестоносцах они знают больше его самого. Им до мельчайших подробностей было известно всё, что делалось и в самом Мальборке, и в других, даже самых отдаленных, замках. Они знали, кто где предводительствует, сколько где солдат и пушек, сколько времени требуется на сбор и что думают делать крестоносцы в случае войны. Они даже знали, какого нрава тот или иной комтур – порывист он, горяч или рассудителен, – и всё записывали так тщательно, будто завтра должна была уже вспыхнуть война.

Старый рыцарь очень этому обрадовался, он понял, что в Кракове к войне готовятся с большим толком, умом и размахом, чем в Мальборке. «Храбрости дал нам Бог, может, столько же, а может, и побольше, но уж дальновидности наверняка побольше отпустил», – говорил себе Мацько. Так оно в ту пору и было. Вскоре Мацько узнал, откуда поступают все сведения: их доставляли сами жители Пруссии, люди всех сословий, и поляки, и немцы. Орден возбудил против себя такую ненависть, что все в Пруссии, как избавленья, ждали прихода войск Ягайла.

Вспомнилось тут Мацьку, что в свое время говорил в Мальборке Зындрам из Машковиц.

«Вот это голова! Что и говорить, ума палата!» – повторял в душе старик.

Он припомнил слово в слово, что говорил тогда Зындрам, а когда юный Ясько стал расспрашивать про крестоносцев, даже позаимствовал мудрые мысли славного рыцаря.

– Сильны они, собаки, – сказал Мацько, – но как ты думаешь, не вылетит ли из седла даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруги и стремена?

– Вылетит, как пить дать вылетит! – ответил юноша.

– Вот видишь! – громовым голосом воскликнул Мацько. – Я и хотел, чтоб ты это смекнул!

– А разве что?

– Да то, что орден и есть такой рыцарь.

И через минуту прибавил:

– Небось не всяк тебе такое скажет!

И пустился растолковывать всё юному рыцарю, которому невдомек было, к чему старик клонит; однако позабыл прибавить при этом, что не он придумал это сравнение, а родилось оно от слова до слова в светлой голове Зындрама из Машковиц.

XLI

В Кракове Мацько пробыл с Яськом недолго, он бы, пожалуй, и раньше уехал, да Ясько просил остаться – уж очень хотелось юному рыцарю поглядеть и на людей, и на город, где всё казалось ему волшебным сном. Но старый рыцарь очень спешил к своим пенатам да и страда подоспела, так что не очень помогли все просьбы Яська, и к успенью путешественники были уже дома – один в Богданце, другой в Згожелицах, при сестре.

С той поры потянулась жизнь довольно однообразная, заполненная трудами по хозяйству и обычными деревенскими заботами. Урожай в Згожелицах, расположенных в низине, и особенно в Мочидолах Ягенки собрали богатый; но в Богданце по причине засушливого лета хлеб не уродился, так что немного понадобилось труда, чтобы убрать его. Вообще пахотной земли в Богданце было мало, вся земля была ещё под лесом, а за время долгого отсутствия хозяев даже те клинья, которые аббат успел раскорчевать и подготовить к пахоте, пришли в запустение, так как в Богданце некому было работать. Но хоть старый рыцарь и чувствителен был ко всякой потере, однако он не принял это близко к сердцу, зная, что с деньгами нетрудно навести во всём порядок и лад – было бы только для кого трудиться и хлопотать. Но в этом-то он и сомневался, это-то и отравляло ему жизнь и труды. Правда, рук он не опускал, вставал до рассвета, ездил на пастбища, присматривал за работами в поле и в лесу, выбрал даже место для замка и готовил строевой лес; но когда после знойного дня солнце закатывалось, пламенея в золотых и багряных отблесках зари, им не раз овладевала гнетущая тоска, а вместе с ней и тревога, которой он никогда до этого не испытывал. «Я тут хлопочу, я тут тружусь в поте лица, – думал он, – а парень мой лежит, может, там, где-нибудь в поле, пронзенный копьем, и волки зубами перезванивают по покойнику». При мысли об этом сердце его сжималось и от великой любви, и от великой скорби. Он прислушивался тогда напряженно, не раздастся ли конский топот, возвещая, что едет Ягенка; девушка всякий день навещала к старому рыцарю, который притворялся при ней, будто полон надежды, а на самом деле старался её обрести, укрепить свою страждущую душу.

А Ягенка приезжала обычно под вечер, с самострелом у седла и рогатиной для защиты в случае опасности на обратном пути. Было совершенно невероятно, чтобы она могла неожиданно застать Збышка дома, даже сам Мацько не ждал его раньше чем через год-полтора, но, видно, надежда теплилась в душе девушки, и она приезжала не так, как прежде – нечёсаная, в завязанной тесемкой рубашке, в колушке шерстью наружу, – теперь коса у нее была красиво заплетена и стан обтянут платьем из цветного серадзского сукна. Мацько выходил навстречу девушке, и первый её вопрос был неизменно: «Ну, что?» – а его ответ: «Да ничего!»; потом он вводил её в горницу, и, сидя у огня, они беседовали про Збышка, про Литву, про крестоносцев и про войну – всякий раз начинали сначала и всякий раз говорили об одном и том же, но беседы эти никогда им не прискучивали, мало того: они никогда не могли досыта наговориться.

Так проходили месяцы. Случалось, что и Мацько наезжал в Згожелицы, но чаще Ягенка посещала Богданец. Порой, когда в окрестностях бывало беспокойно или старые медведи преследовали медведиц в охоте и могли напасть на человека, Мацько провожал девушку домой. Хорошо вооруженный, он не боялся никаких диких зверей, зная, что он для них опаснее, чем они для него. Старый рыцарь ехал тогда с Ягенкой стремя в стремя, бор грозно шумел; но они, позабыв обо всём, говорили только про Збышка: где он? Что делает? Убил ли или скоро убьет столько крестоносцев, сколько дал обет убить Данусе и её матери, и скоро ли воротится? Ягенка задавала при этом Мацьку вопросы, которые задавала ему уже сотни раз, а он отвечал на них так внимательно и обдуманно, словно слышал их от нее в первый раз.

– Так вы говорите, – спрашивала она, – что битва в поле рыцарю не так страшна, как осада замка?

– А ты вспомни, что случилось с Вильком. От бревна, сброшенного с вала, не защитит никакая броня, а в поле, коли только рыцарь хорошо обучен, он и против десятерых устоит.

– А Збышко? Хорошая ли у него броня?

– У него их несколько добрых, но лучше всех та, что захватил он в добычу у фриза, она в Милане выкована. Ещё год назад она была Збышку великовата, а теперь как раз впору.

– А что, такую броню никаким оружием не возьмешь, а?

– Что сотворила рука человека, то рука человека и одолеть может. На миланскую броню есть миланский меч или английские стрелы.

– Английские стрелы? – спрашивала в тревоге Ягенка.

– Разве я тебе не говорил? Англичане – самые меткие лучники на всём свете... поистине их разве только мазуры в пуще, да у них нет таких добрых луков и стрел. Английский самострел на сто шагов пробьет самую лучшую броню. Я видал под Вильно. Английский лучник никогда не промахнется, а есть и такие, что ястреба бьют на лету.

– Ах, негодники! Как же вы от них спасались?

– Одно только средство: сразу ударить на них! Да они, собаки, и бердышами ловко орудут, но уж в рукопашной схватке наши их одолеют.

– Хранила вас десница господня, сохранит теперь и Збышка.

– И я часто так говорю: «Господи Боже, раз уж ты нас сотворил и поселил в Богданце, гляди теперь, чтобы нам не пропасть!» Да это уж дело богово. Сказать по правде, приглядывать за целым светом и ничего не забывать – дело нешуточное, но человек сам о себе напоминает, чем может, не скупится на святую церковь, да и голова у Бога не то, что у нас грешных.

Так они не раз беседовали, подбадривая друг друга и пробуждая друг у друга надежду в сердце. А тем временем уходили дни, недели и месяцы. Осенью у Мацька

произошло столкновение со старым Вильком из Бжозовой. Между Вильками и аббатом давно шел спор из-за нови: держа в залоге Богданец, аббат раскорчевал делянку в лесу и завладел рощей. В свое время он за эту рощу вызывал даже обоих Вильков драться на копьях или на длинных мечах, но те не захотели выходить на поединок с духовным лицом, а в суде ничего не могли добиться. Теперь старый Вильк потребовал свою землю; но такая корысть одолела Мацька, который до земли был особенно жаден, а тут ещё вспомнил, что ячмень нигде так хорошо не родится, как на нови, что он и слушать не хотел о том, чтобы уступить Вильку рощу. Они бы непременно стали жаловаться в шляхетский суд, если бы случайно не встретились у настоятеля в Кшесне. Когда старый Вильк в конце шумной ссоры сказал вдруг: «Покуда нас люди рассудят, я положусь на Бога, который воздаст вашему роду за мою обиду», – упрямый Мацько сразу смяк, побледнел, умолк на минуту, а потом вот что сказал своему сварливому соседу:

– Послушайте, не я, а аббат начал всё дело. Бог его знает, кто тут прав, но коли вы хотите накликать беду на Збышка, так лучше уж берите новь, уступаю её вам от чистого сердца, а Збышку пусть Бог пошлет здоровье и счастье.

И он протянул Вильку руку, а тот, с давних пор зная соседа, просто диву дался, он и не подозревал, что в суровом, казалось бы, сердце Мацька таится такая любовь к племяннику и такая тревога за его судьбу. Вильк долго не мог слова вымолвить, только когда кшесненский настоятель, обрадовавшись, что дело приняло такой оборот, благословил обоих, старик обрел дар речи:

– Вот это другой разговор! Не в барыше дело, – стар я, некому мне наследство оставлять, – а в справедливости. Кто со мной по-хорошему, для того я и своим готов поступиться. А племянника вашего пусть Бог благословит, чтоб не плакать вам о нём на старости лет, как я о своем единственном сыне плачу...

Они бросились друг другу в объятия, а потом долго спорили, кому же взять новь. Однако Мацько в конце концов поддался на уговоры, ведь Вильк и впрямь был один как перст и наследство ему некому было оставлять.

Мацько в душе так обрадовался, что зазвал старика в Богданец и угостил его на славу. Он тешил себя надеждой, что ячмень на нови хорошо взойдет, и доволен был, что отвратил от Збышка гнев Божий.

«Только бы воротился, а земли и достатка с него хватит!» – думал он.

Ягенка тоже была очень рада этому примирению.

– Коли захочет теперь Господь милосердный показать, что мир ему милей раздоров, должен он целым и невредимым воротить вам Збышка, – сказала она, выслушав, как было дело.

Лицо Мацька просветлело при этих словах, словно на него упал солнечный луч.

– И я так думаю! – воскликнул он. – Что и говорить, всемогущ Господь, но есть средство и на небесные силы, надо только умом пораскинуть...

– Хитрости вам не занимать стать, – ответила девушка, поднимая глаза.

А через минуту, словно надумавшись, прибавила:



– Ох, и любите вы вашего Збышка! Ох, и любите!

– Кто ж его не любит! – возразил старый рыцарь. – А ты? Так уж будто ненавидишь?

Ягенка напрямик ничего не ответила, только ещё ближе придвинулась к Мацьку, сидевшему рядом на лавке, и, отворотившись, легонько толкнула старика локтем.

– Оставьте! И в чем только я перед вами провинилась!

## XLII

Война крестоносцев с Витовтом за Жмудь живо занимала умы людей в королевстве, и все напряженно следили за её ходом. Некоторые были уверены, что Ягайло придет на помощь двоюродному брату и скоро начнется великий поход против ордена. Рыцарство рвалось в бой, и во всех шляхетских усадьбах толковали о том, что многие краковские вельможи, заседающие в королевском совете, склоняются к тому, что надо начать войну, что надо раз навсегда покончить с врагом, который никогда не довольствуется своим и помышляет о захватах даже тогда, когда трепещет перед могущественным соседом. Но Мацько, человек рассудительный, бывалый и искушенный, не верил, что скоро начнется война, и не раз говорил об этом юному Яську из Згожелиц и другим соседям, которых встречал в Кшесне:

– Покуда жив магистр Конрад, ничего не будет, он умнее других и знает, что это была бы не простая война, а как бы это сказать: «Не тебе смерть, так мне!» Он знает, как могущественен король, и до войны не допустит.

– А ну как король первый объявит войну? – спрашивали соседи.

Но Мацько качал головой:

– Видите ли... Всего я насмотрелся и многое уразумел. Будь король из нашего древнего королевского рода, что правил у нас испокон христианских веков, может, он и ударил бы первый на немцев. А наш Владислав Ягайло (я не хочу умалять его достоинство, благородный он государь, дай Бог ему здоровья!), прежде чем мы выбрали его королем, был великим князем литовским и язычником. Христианство он принял недавно, и немцы брешут везде, будто душа у него всё ещё языческая. Не подобает ему первому объявлять войну и проливать христианскую кровь. По этой причине он и не выступает на помощь Витовту, хоть руки у него и чешутся; я-то знаю, что крестоносцы для него хуже чумы.

Таковыми речами Мацько снискал себе славу человека проницательного, который всякое дело растолкует тебе и разжует. По воскресеньям в Кшесне его после обедни окружала толпа народа, а потом у соседей повелось со свежими новостями отправляться в Богданец к старому рыцарю, который тут же разъяснял то, чего не могла уразуметь простая шляхетская голова. Мацько радушно принимал всех и охотно беседовал с каждым, а когда гость, наговорившись всласть, уезжал, неизменно провожал его такими словами:

– Вы дивитесь моему уму, вот воротится, даст Бог, Збышко, тогда будете дивиться! Ему в королевском совете впору заседать, уж и башковит же, шельма, уж и хитер!

Внушая гостям эту мысль, он в конце концов внушил её и самому себе, а заодно и Ягенке. Збышко казался им обоим прямо сказочным королевичем. Когда наступила весна, они с трудом могли усидеть дома. Прилетели ласточки, прилетели аисты, на лугах засвистели коростели, в зеленях закричали перепёлки, ещё раньше прилетели

вереницы журавлей и чирков; один Збышко не возвращался. Птицы тянули с юга, а с севера крылатый ветер приносил вести о войне. Рассказывали о битвах и многочисленных стычках, в которых ловкий Витовт то побеждал крестоносцев, то терпел поражение; рассказывали о большом уроне, который понесли немцы от зимних морозов и болезней. Наконец по всей стране прогремела радостная весть о том, что храбрый сын Кейстута взял Новое Ковно, или Готтесвердер, и разрушил его до основания, камня на камне не оставил. Когда эта весть дошла до Мацька, он вскочил на коня и во весь опор помчался в Згожелицы.

«Да! – говорил он. – Мне эти места знакомы, мы там со Збышком и Скирвойлом здорово поколотили крестоносцев. Там захватили мы достойного рыцаря де Лорша. Слава Богу, оплошала немчура, нелегкое было дело взять такой замок».

Но ещё до приезда Мацька до Ягенки дошел слух о разрушении Нового Ковно, услышала она и ещё одну весть: Витовт начал переговоры о мире. Эта весть потрясла её больше первой: ведь если мир будет заключен, Збышко, если только он жив, должен вернуться домой.

Она стала спрашивать старого рыцаря, может ли это случиться, а он, подумав, ответил:

– С Витовтом всё может случиться, совсем он непохож на других, и из всех христианских государей он самый хитрый. Когда ему нужно расширить свою власть в сторону Руси, он заключает с немцами мир, а достигнет цели, опять немцев бьет! Не могут они справиться ни с ним, ни с несчастной Жмудью. То он её отнимает у них, то назад отдает, и не только отдает, но и сам помогает притеснять жмудинов. И у нас, да и в Литве осуждают Витовта за то, что это несчастное племя стало игрищем в его руках. Сказать по правде, не будь это Витовт, и я бы почел это позором. А так нет-нет, да и подумаю: «А может, он мудрее меня и знает, что делает?» Я от самого Скирвойла слышал, что Витовт из Жмуди сделал язву, которая вечно гноится на теле ордена, чтобы никогда не вернулось к нему здоровье... Матери в Жмуди всегда будут рожать, а крови не жалко, лишь бы не лилась она напрасно.

– Я одно только хочу знать – воротится ли Збышко.

– На всё воля Божья, но дай Бог, чтобы в добрый час ты молвила, девушка!

Миновало ещё несколько месяцев. Пришли вести, что мир и впрямь заключен; зазолотились отягченные колосьями хлеба, побурела уж гречиха на нивках, а о Збышке не было ни слуху ни духу.

Вот и жатва началась; невмоготу стало Мацьку, и объявил он, что едет в Спыхов, – оттуда, мол, поближе к Литве, можно новости узнать и заодно поглядеть, как хозяйничает чех.

Ягенка собралась было с ним, но старик не согласился взять её, и целую неделю они из-за этого спорили. Однажды вечером в Згожелицах, когда у них снова разгорелся спор, во двор усадьбы ураганом влетел на коне мальчишка из Богданца: босой, без шапки на русской голове, охлябь, он подскакал к крылечку, где Мацько сидел в это время с Ягенкой, и крикнул:

– Молодой пан воротился!

Збышко и впрямь вернулся, но какой-то странный: не только исхудалый, обожженный

ветром полей, осунувшийся, но и безучастный и молчаливый. Чех, который сопровождал со своей женой Збышка из Спыхова, говорил и за него, и за себя. Он рассказывал, что поход был, видно, удачен, потому что в Спыхове молодой рыцарь возложил на гроб Дануси и её матери целый пук павлиньих и страусовых рыцарских султанов. Вернулся он с богатой добычей – с конями и доспехами, причем двум броням цены не было, хотя в битве они страшно были иссечены мечом и секирой. Мацько сгорал от любопытства, ему хотелось услышать все подробности из уст племянника, но тот только махал рукой и отделялся полусловами, а на третий день захворал и слег. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые сместились и мешали ему ходить и дышать. Дал себя знать и старый случай с туром, а дорога из Спыхова домой вконец подорвала силы Збышка. Всё это не было опасно – Збышко был молод и крепок, как дуб, но им овладела вдруг страшная усталость, словно только сейчас сказались вдруг сразу все перенесенные им невзгоды. Мацько сперва думал, что за два-три дня парень отлежится и встанет. Не помогли ни мази, ни окуривание травами, которые присоветовал местный овчар, ни отвары, которые присылали Ягенка и кшесненский ксёндз; Збышко всё слабел, всё хирел и грустил.

– Что с тобой? Может, тебе чего хочется? – допытывался у него старый рыцарь.

– Ничего я не хочу, и ничего мне не надо, – отвечал Збышко.

Так проходил день за днем. Ягенке пришло на ум, что, может, это у Збышка не простая хворь, а что-нибудь похуже, может, молодого рыцаря гнетет какая-то тайна, и она стала уговаривать Мацьку попытаться ещё раз выведать у Збышка, что бы это могло быть.

Мацько согласился без колебаний, однако, подумав, сказал:

– А может, он скорей тебе откроется. Что ты ему по душе, об этом и говорить нечего, но я и другое приметил: когда ты по горнице ходишь, он с тебя глаз не сводит.

– Вы приметили? – спросила Ягенка.

– Коли сказал, что не сводит, значит, не сводит. А когда тебя долго нет, он всё на дверь поглядывает. Спроси-ка лучше ты.

На том они и порешили. Но тут оказалось, что Ягенка не знает, как к Збышку приступить, робеет. Пораздумав, она поняла, что ей надо говорить про Данусю, про любовь Збышка к покойной, а говорить про это ей было невмочь.

– Вы похитрей меня, – сказала она Мацьку, – у вас и ума, и опыта побольше, вот и поговорите с ним, а я не могу.

Волей-неволей пришлось Мацьку взяться за дело. Как-то утром, когда Збышко показался ему как будто пободрей, старик затеял с ним такой разговор:

– Говорил мне Глава, что ты в Спыхове возложил на гробницы целый пук павлиньих чубов.

Лежа на спине, Збышко глядел в потолок; не повертывая головы, он утвердительно кивнул.

– Что ж, сподобил Господь, ведь и на войне не на рыцаря, а на солдата легче наткнуться... Кнехтов можно перебить пропасть, а рыцаря ещё надо поискать... Неужто они сами лезли тебе под меч?

– Многих рыцарей я вызвал на бой на утопанной земле, а один раз они в битве меня окружили, – лениво ответил Збышко.

– И добычу ты привез богатую..

– Много даров князя Витовта.

– Он по-прежнему щедр?

Збышко снова кивнул головой, не имея, видно, охоты продолжать разговор.

Но Мацько не счел себя побеждённым и решил приступить к делу.

– Скажи мне всю правду, – начал он, – когда ты покрыл чубами гробницу Дануси, у тебя, верно, стало легче на душе?.. Это ведь всегда большая радость – выполнить обет... Ты был рад, а?

Збышко оторвал свои грустные глаза от потолка и, устремив взор на Мацька, ответил как бы с удивлением:

– Нет.

– Нет? Побойся Бога! А я-то думал, что, когда ты порадуешь души Дануськи и её матери на небесах, так уж всему будет конец.

Молодой рыцарь смежил на минуту глаза, словно задумавшись, и наконец сказал:

– Ни к чему, должно быть, спасенным душам людская кровь.

На минуту воцарилось молчание.

– Так зачем же ты ходил на войну? – спросил наконец Мацько.

– Зачем? – с некоторым оживлением переспросил Збышко. – Да я сам думал, что мне станет легче, я сам думал, что и Дануську утешу, и себя... А потом мне даже чудно стало. Выхожу я из склепа, а тяжело мне, как и прежде. Ни к чему, видно, спасенным душам людская кровь.

– Тебе это, верно, кто-нибудь сказал, сам бы ты не додумался.

– Нет, сам я уразумел из того, что не стало мне веселее. Ксендз Калёб сказал мне только, что это правда.

– Убить врага на войне вовсе не грех, напротив, это даже похвально, а крестоносцы – враги нашего племени.

– А я и не почитаю это за грех и крестоносцев не жалею.

– Всё о Дануське тоскуешь?

– Всякий раз, как вспомню её, затоскую. Но на всё воля Божья! Лучше ей в небесных чертогах, и я уже привык.

– Так почему ж ты не стряхнешь с себя печаль? Чего тебе надобно?

– Откуда мне знать...

– Ты хорошо отдыхаешь, хворь твоя скоро пройдет. Сходи в баню, попарься, чару меду выпей, чтобы пропотеть, – и гопля!

– И что же тогда?

– Сразу повеселеешь.

– С чего мне веселеть-то? Нет в моем сердце веселости, а занять – так ведь никто не займет.

– Ты что-то скрываешь!

Збышко пожал плечами:

– Невесел я, но скрывать мне нечего.

Он сказал это так искренне, что у Мацька сразу рассеялись всякие подозрения; как всегда в минуту глубокого раздумья, он широкой рукой стал поглаживать свою седую чуприну и наконец проговорил:

– Тогда я скажу, чего тебе не хватает: одно у тебя кончилось, а другое ещё не началось: понял?

– Не очень, но, может, и понял! – ответил молодой рыцарь.

И потянулся так, словно его стало клонить ко сну.

Мацько был уверен, что отгадал истинную причину его печали, он очень обрадовался и совсем перестал беспокоиться. Ещё больше уверовал старый рыцарь в свой ум; в душе он говорил себе: «Что же удивительного, что люди со мной советуются?»

А когда после этого разговора в тот же день приехала вечером Ягенка, старик и с коня не дал ей сойти, тут же сказал, что знает, чего не хватает Збышку.

Девушка в один миг соскользнула с седла и стала допытываться:

– Чего же? Ну же, говорите!

– У тебя для него есть лекарство.

– У меня? Какое?

Он обнял её стан и стал ей что-то нашептывать на ухо, но через минуту она отскочила от него, словно кипятком ошпаренная, и, спрятав пылающее лицо между чепраком и высоким седлом, крикнула:

– Уходите! Не терплю я вас!

– Ей-ей, правда! – смеясь, сказал Мацько.

### XLIII

Отгадать Мацько отгадал, да только наполовину. Старая жизнь и впрямь кончилась для Збышка совсем. Жаль было ему Дануськи, когда вспоминал он её; но сам он сказал, что, верно, лучше ей в небесных чертогах, чем было в княжеских. Он уже сжился с мыслью, что её нет на свете, привык к этому и думал, что иначе и быть не могло. В свое время в Кракове он восторгался цветными изображениями святых дев на окнах костёлов; вырезанные из стекла и оправленные в свинец, они светились на солнце; теперь такой представлялась ему и Дануса. Он видел её неземной, прозрачной, она стояла боком к нему, сложив ручки на груди и подняв к небу глаза, или играла на своей маленькой лютне среди всяких спасенных Божьих музыкантов, которые на небесах играют на своих скрипочках Божьей матери и младенцу. В ней не было уже ничего земного, и для него она стала таким чистым и бесплотным духом, что когда он вспоминал иногда, как в охотничьем доме она прислуживала княгине, смеялась, разговаривала, садилась с другими за стол, то начинал сомневаться, было ли всё это на самом деле. Уже в походе под знаменами Витовта, когда боевые дела и сражения поглощали все его внимание, он перестал тосковать по своей покойнице, как тоскует муж по жене, и думал о ней так, как человек благочестивый думает о своей покровительнице. Так любовь его, утрачивая постепенно земные черты, всё больше и больше обращалась в сладостное, лазурное, словно небеса, воспоминание, просто в предмет поклонения.

Если бы он телом был хил и обладал глубоким умом, то пошел бы в монахи и в тихой монастырской жизни, как святыню, сохранил бы это небесное воспоминание до той поры, когда душа его, освободившись от плотских уз, улетела бы в бесконечные просторы, как птица из клетки улетает на волю. Но ему едва минуло двадцать лет, он мог ещё выжать рукой сок из свежей ветви и задушить коня, стиснув его ногами. Он был таким, какими бывали в те времена шляхтичи, которые если не умирали в детстве и не становились священниками, то, не зная никаких границ и никакой меры в удовлетворении плотских вожделений, либо предавались разбою, разврату и пьянству, либо женились молодыми и впоследствии, по королевскому указу о созыве ополчения, шли на войну с двадцатью четырьмя, а то и больше, сыновьями, сильными, как вепри.

Но Збышко не знал, что и сам он таков, тем более что на первых порах хворал. Однако его сместившиеся ребра постепенно срослись, остался лишь небольшой бугорок на боку, который не мешал Збышку и был незаметен не только под панцирем, но и под обычной одеждой. Слабость проходила. Густые русые волосы, остриженные в знак траура по Данусе, отросли и снова ниспадали на плечи. Возвращалась и неописанная его красота. Когда несколько лет назад он шел, чтобы принять смерть от руки палача, то похож был на знатного юношу, а теперь стал ещё краше, – сущий королевич, плечи, грудь, ноги и руки как у великана, а лицом красная девица. Он весь кипел силой и жизнью; от целомудрия и долгого отдыха огонь разливался у него по жилам. Не понимая, что с ним творится, он думал, что всё хворает, и вылеживался в постели, довольный, что Мацько и Ягенка присматривают и ухаживают за ним и во всём ему угождают. По временам он чувствовал, что ему хорошо, как на небе, по временам же, особенно когда рядом не было Ягенки, ему было невыносимо плохо и грустно. Тогда он зевал, томился, метался в жару и объявлял Мацьку, что после выздоровления снова отправится хоть на край света – на немцев ли, на татар или иных дикарей, лишь бы только сложить свою голову, потому что жизнь страшно его тяготит. Мацько, вместо того чтобы возражать, только кивал головой и поддакивал, а тем временем посылал за Ягенкой, после приезда которой мысли

Збышка о новых военных походах пропадали, как пригретый солнцем вешний снег.

Ягенка приезжала с готовностью и по зову, и по своей охоте, потому что полюбила Збышка всем сердцем. В Плоцке при епископском и княжеском дворах ей привелось видеть таких же красивых рыцарей, которые так же прославились своей отвагой и силой, многие из них преклоняли перед нею колени и клялись ей в верности до гроба, но он был её избранником, его полюбила она первой любовью на заре своей жизни, а от несчастий, которые он пережил, её любовь только окрепла, и он стал милее и стократ дороже ей не только всех рыцарей, но и всех князей земли. Теперь, когда он выздоравливал и с каждым днем становился всё краше, любовь её обратилась в страсть и заслонила от нее весь мир.

Однако даже самой себе не признавалась она в этом и таилась со своей любовью от Збышка, боясь, что он опять пренебрежет ею. Даже с Мацьком, которому раньше она поверяла все свои тайны, Ягенка была теперь осторожна и молчалива. Ее могла выдать только заботливость, с какой ухаживала она за Збышком, но и этой заботливости она старалась дать другое объяснение и с этой целью вот что однажды лукаво сказала ему:

– Коли и гляжу я за тобой немножко, так только из приязни к Мацьку, а ты небось уже Бог весть что подумал? Скажи-ка?

И, как будто поправляя волосы на лбу, она закрылась рукой и сквозь пальцы пристально поглядела на Збышка, а он, захваченный врасплох неожиданным вопросом, вспыхнул, как красная девица, и не сразу ответил ей:

– Я ничего не думал. Ты теперь другая.

На минуту снова воцарилось молчание.

– Другая? – переспросила наконец девушка тихим и мягким голосом. – Да, пожалуй, другая. Но разве я, избави Бог, совсем уж не люблю тебя?

– Спасибо и на том, – ответил Збышко.

С тех пор им было хорошо вместе, но как-то не по себе, непривычно. Порой могло показаться, что они говорят об одном, а думают совсем про другое. Часто они надолго умолкали. Вылеживаясь в постели, Збышко, как говорил Мацько, следил за девушкой глазами, куда бы она ни пошла; порой она казалась ему такой красавицей, что он не мог на нее налюбоваться. Случалось им неожиданно встретиться глазами – тогда они краснели, и высокая грудь девушки волновалась, а сердце билось словно в ожидании, что вот-вот услышит она нечто такое, от чего замлеет, растает её душа. Но Збышко молчал, он утратил всю свою прежнюю смелость, боялся спугнуть девушку неосторожным словом и, вопреки тому, что видели его глаза, убеждал себя, что она из дружбы к Мацьку выказывает ему только сестринскую любовь.

Однажды Збышко заговорил об этом с Мацьком. Он старался говорить спокойно, даже безразлично, но сам не заметил, как его речи всё больше стали походить на полугорькую-полугрустную жалобу. Мацько терпеливо его выслушал, а в конце сказал одно только слово:

– Дурень!

И вышел вон.

Но во дворе он от большой радости стал потирать руки и хлопать себя по бедрам.

«Вот, – говорил он сам с собою, – когда она задаром могла тебе достаться, так ты и смотреть на нее не хотел, натерпись-ка теперь страху, коли ты глуп. Я тебе буду замок ставить, а ты пока облизывайся. Ничего я тебе не скажу и глаз тебе не открою, хоть ржать будешь громче всех жеребцов в Богданце. Коли щепки лежат на жару, пламя рано или поздно вспыхнет, но я-то не стану дуть на жар, думаю, нет в этом надобности».

И он не только не раздувал огня, но даже досаждал Збышку и дразнил его, как старый лукавец, который любит потешиться над неопытным юнцом. И вот однажды, когда Збышко опять повторил, что отправится, наверно, в какой-нибудь далекий поход, потому что жизнь ему опостылела, Мацько сказал:

– Покуда у тебя голо было под носом, я тобой руководил, а теперь – воля твоя! Хочешь только своим умом жить – ну что ж, иди.

Збышко от удивления даже сел на постели.

– Как? Так вы уж и этому не противитесь?

– Чего же мне противиться? Жаль только рода, который может вымереть с тобой, но и против этого найдется средство.

– Какое средство? – в тревоге спросил Збышко.

– Какое? Что и говорить, года мои немалые, но всё-таки я ещё крепкий. Оно конечно, Ягенке хотелось бы парня помоложе, но я был дружен с её отцом, и как знать...

– Вы были дружны с её отцом, но мне вы никогда не желали добра, никогда, никогда!..

У Збышка задрожал подбородок, и он смолк, а Мацько сказал:

– Коли ты непременно хочешь идти на смерть, что же мне остается делать?

– Ладно! Делайте, что хотите, а я ещё сегодня уеду куда глаза глядят!

– Дурень! – повторил Мацько.

И вышел вон присмотреть за богданецкими людьми, да и теми, которых прислала Ягенка из Згожелиц и Мочидолов, чтобы помочь обнести рвом будущий замок.

#### XLIV

Угрозы своей Збышко, разумеется, не привел в исполнение и никуда не уехал, а здоровье его через неделю настолько поправилось, что он не мог уже больше валяться в постели. Мацько сказал, что теперь им следует съездить в Згожелицы и поблагодарить Ягенку за заботы. Однажды, хорошенько попарившись в бане, Збышко решил ехать немедля. Он велел достать из сундука нарядное платье, чтобы сменить свою будничную одежду, а затем занялся завивкой волос. Дело это было нелегкое и нешуточное, потому что волосы у Збышка были очень густые и сзади, как грива, спускались ниже лопаток. В повседневной жизни рыцари убирали волосы в сетку,



которая смахивала на гриб и во время походов была очень удобна, так как шлем не так сильно жал голову; но, отправляясь на всякие торжества, на свадьбы или в гости в такие семейства, где были девушки, рыцари завивали волосы красивыми локонами и для крепости завивки и придания блеска волосам смазывали их обычно белком. Именно так и хотел причесаться Збышко. Но две бабы, которых кликнули из людской, не были приучены к такой работе и не могли справиться с его гривой. Просохшие после бани и взлохмаченные волосы никак не укладывались в локоны и торчали на голове, словно вороха плохо уложенной соломы на стрехе халупы. Не помогли ни захваченные у фризов красиво отделанные гребни из буйволового рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сходила на конюшню. Збышко уже стал терять терпение и сердиться, когда в горницу вошли вдруг Мацько и Ягенка, которая неожиданно приехала к ним.

– Слава Иисусу Христу! – поздоровалась девушка.

– Во веки веков! – ответил, просяив, Збышко. – Вот и отлично! Мы собирались в Згожелицы ехать, а ты сама тут как тут!

И глаза его заблестели от радости. Всякий раз, когда Збышко видел её, на душе у него становилось так светло, словно он видел восходящее солнце.

А Ягенка, взглянув на растерянных баб с гребнями в руках, на лежавшую на скамье подле Збышка скребницу и на его растрепанную чуприну, залилась смехом.

– Ну и вихры, вот так вихры! – воскликнула она, и из-за её коралловых губ блеснули чудные белые зубы. – Да тебя можно в коноплянике или вишеннике выставить птиц пугать!

Збышко насупился.

– Мы собирались в Згожелицы ехать, – сказал он, – небось в Згожелицах тебе неловко было бы обижать гостя, а здесь можешь издеваться надо мной, сколько тебе угодно, что, впрочем, ты всегда охотно делаешь.

– Охотно делаю! – воскликнула девушка. – Всемогущий Боже! Да ведь я приехала позвать вас на ужин и не над тобой смеюсь, а над этими бабами. Небось я бы мигом справилась.

– И ты бы не справилась!

– А Яська кто причесывает?

– Ясько твой брат, – ответил Збышко.

– Это верно...

Но тут старый и искушенный Мацько решил прийти им на помощь.

– В шляхетских домах, – сказал он, – обстригут мальчику по седьмому году волосы, а потом, как они отрастут у него, их ему сестра завивает, а в зрелую пору это жена делает. Но есть такой обычай, что коли у рыцаря нет ни сестры, ни жены, то ему служат шляхетские девушки, даже вовсе чужие.

– Неужели есть такой обычай? – спросила, потупясь Ягенка.

– И не только в шляхетских домах, но и в замках, – да что там! – даже при королевском дворе, – ответил Мацько.

Затем он обратился к бабам:

– Ни на что вы не годитесь, ступайте-ка в людскую!

– Пусть они принесут мне горячей воды, – прибавила девушка.

Мацько вышел с бабами, будто бы для того, чтобы поторопить их, и через минуту прислал горячей воды, после чего молодые люди остались одни. Намочив полотенце, Ягенка стала обильно смачивать Збышку волосы, и когда вихры перестали торчать и влажные волосы упали на плечи, взяла гребень и села рядом с молодым рыцарем, чтобы продолжить работу.

Так сидели они друг подле друга, млея любовью, оба чудно прекрасные, но смущенные и безмолвные. Наконец Ягенка стала укладывать его золотистые волосы, а он затрепетал, почувствовав близость её поднятых рук, и лишь усилием воли сдержался, чтобы не схватить её в объятия и не прижать крепко к груди.

В тишине слышалось только жаркое их дыхание.

– Ты не болен? – спросила вдруг девушка. – Что с тобой?

– Ничего! – ответил молодой рыцарь.

– Ты так дышишь.

– И ты...

И они снова умолкли. Щеки у Ягенки расцвели, как розы, она чувствовала, что Збышко глаз с нее не сводит, и, чтобы скрыть свое смущение, снова спросила:

– Что ты так смотришь?

– Тебе неприятно?

– Нет, я только спрашиваю.

– Ягенка?

– Что?..

Збышко глубоко вздохнул, пошевелил губами, словно собираясь начать долгий разговор, но, видно, ему не хватило мужества, и он снова повторил:

– Ягенка?

– Что?..

– Я боюсь сказать тебе...

– Не бойся. Я простая девушка, не дракон.

– Ясное дело, не дракон! Вот дядя Мацько говорит, будто хочет брать тебя!..

– Хочет, да не за себя.

И она умолкла, словно испугавшись собственных слов.

– Господи Боже! Ягуся, милая... А что же ты, Ягуся? – воскликнул Збышко.

Ее глаза неожиданно наполнились слезами, красивые губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Збышко едва её расслышал:

– Батюшка и аббат хотели... а я – ты... ты знаешь!..

Радость, как пламя, охватила вдруг при этих словах его сердце, он схватил девушку на руки, поднял её вверх, словно перышко, и закричал в упоении:

– Ягуся! Ягуся! Золото ты мое! Солнышко мое!..

Он кричал так, что старый Мацько подумал, не стряслось ли что-нибудь, и вбежал в горницу. Увидев Ягенку на руках Збышка, он изумился, что всё случилось так неожиданно скоро, и воскликнул:

– Во имя Отца и Сына! Опомнись, парень!

А Збышко подбежал к нему, опустил Ягенку на землю, и оба они хотели повалиться старику в ноги, но не успели они это сделать, как Мацько обнял их своими жилистыми руками и крепко прижал к груди.

– Слава Богу! – сказал он. – Знал я, что этим дело кончится, а всё-таки какая радость! Благослови вас Бог! Легче будет помирать... Золото – не девка... И для Бога, и для людей! Верно говорю! А теперь, коли дождался я такой радости, будь что будет! Бог послал испытания, но Бог и утешил. Надо ехать в Згожелицы, Яську сказать... Эх, если бы жив был старый Зых!.. И аббат... Но я вам их обоих заменю, ведь, сказать по совести, так я вас обоих люблю, что и говорить-то стыдно...

И хотя в груди его билось твердое сердце, он так растрогался, что ком подкатил у него к горлу; он ещё раз поцеловал Збышка, затем в обе щеки Ягенку и, пробормотав сквозь слезы: «Не девка – мед!» – отправился на конюшню, чтобы приказать седлать коней.

Выйдя во двор, он от радости зашагал прямо по цветам царского скипетра, которые росли перед домом, и, как пьяный, усталился на их темные венчики, окаймленные желтыми лепестками.

– Ну вот, целая куча вас тут, – сказал он, – но Градов Богданецких, даст Бог, побольше будет.

И, направляясь к конюшням, стал под нос себе пересчитывать:

– Богданец, владения аббата, Спыхов, Мочидолы... Бог всегда знает, к чему ведет, а пробьет час старого Вилька, так стоит купить и Бжозовую... Отличные луга!..

Тем временем Ягенка и Збышко тоже вышли во двор, радостные, счастливые, сияющие,

как солнце.

– Дядя! – позвал издали Збышко.

Мацько обернулся к ним, раскрыл объятия и начал кричать, как в лесу:

– Эй! Эй! Сю-да!..

XLV

Они жили в Мочидолах, а старый Мацько в Богданце возводил для них замок. Он усердно трудился, потому что фундамент хотел вывести из камня на известке, а сторожевую башню поставить из кирпича, который нелегко было добыть в округе. В первый год он вырыл рвы, что не составило особого труда: холм, на котором должен был выситься замок, был когда-то, быть может ещё в языческие времена, обнесен рвами, так что пришлось только расчистить эти старые рвы, выкорчевать деревья и шиповник, которыми они поросли, а затем углубить их и укрепить. При углублении докопались до родника, который забил с такой силой, что в короткое время все рвы наполнились водой, и Мацьку пришлось подумать о том, как отвести её. После этого старый рыцарь возвел на валу острог и стал готовить лес для стен замка: дубовые балки толщиной в три обхвата и листовенничные, не гниющие ни под глиняной обмазкой, ни под дерновым покрытием. Несмотря на постоянную помощь згожелицких и мочидольских мужиков, возводить стены Мацько начал только через год, но работал с усердием, потому что Ягенка незадолго до этого разрешилась от бремени близнецами. Слово свет увидел старый рыцарь, было теперь для кого хлопотать и трудиться, знал он теперь, что не угаснет род Градов и Тупая Подкова не раз ещё обагрится вражеской кровью.

Близнецов назвали Мацьком и Яськом.

– Парни – загляденье, – говорил старик, – таких во всём королевстве днем с огнем не найдешь.

Он сразу без памяти их полюбил, а в Ягенке души не чаял. Кто только хвалил её при нем, мог от него чего угодно добиться. Все искренне завидовали Збышку и прославляли Ягенку не из корысти, а потому, что она и впрямь была гордостью всей округи, прекрасная, словно самый роскошный цветок на лугу. Мужу она принесла большое приданое и нечто ещё большее – большую любовь, красу, которой ослепляла людей, и такой закал, что им мог бы похвалиться не один рыцарь. Ей ничего не стоило через несколько дней после родов встать с постели и заняться хозяйством, а потом поехать с мужем на охоту или рано утром поскакать верхом из Мочидолов в Богданец, а к обеду вернуться к Мацьку и Яську. Муж любил её и берег как зеницу ока, любил старый Мацько, любили слуги, с которыми она обходилась по-людски, а когда по воскресеньям она входила в кшесненский костёл, её встречал шепот удивления и восторга. Прежний её поклонник, грозный Чтан из Рогова, женатый на крестьянской дочери, любил после обедни выпить в корчме со старым Вильком из Бжозовой; подгулявши, он говаривал старику:

– Мы с вашим сыном не раз из-за нее друг дружку калечили, жениться на ней хотели; но это было всё едино, что месяц с неба достать.

Иные заявляли во всеуслышание, что такую встретишь разве только в Кракове при королевском дворе. Кроме богатства, красоты и осанки, её почитали за здоровье и силу. Тут все были единомышленны. «Вот это баба! – говорили люди. – Да она в лесу медведя подопрет рогатиной, и орехи грызть ей незачем: разложит на лавке да

присядет, небось расплущатся, как под мельничным жерновом!» Так нахваливали её и в приходе в Кшесне, и в соседних деревнях, и даже в воеводском Серадзе. Однако, завидуя Збышку из Богданца, никто особенно не дивился, что ему досталась такая жена, он и сам был окружен сиянием славы, какой не добился никто во всей округе.

Молодые шляхтичи рассказывали друг другу целые легенды про немцев, которых Збышко «нащелкал» в битвах под предводительством Витовта и в поединках на утопанной земле. Говорили, что из его рук не ушел ни один крестоносец, что в Мальборке он сбил с коня двенадцать рыцарей, в том числе брата магистра, Ульриха, что, наконец, он мог выйти на состязание даже с краковскими рыцарями, и сам непобедимый Завиша Чарный был его закадычным другом.

Некоторые не хотели верить этим необыкновенным легендам; но и они, когда речь заходила о том, кого выбрать от округи, если польским рыцарям придется сразиться с другими, говорили: «Кого же, как не Збышка», и только потом называли волосатого Чтана из Рогова и других местных силачей, которым по части рыцарской выучки было далеко до молодого владельца Богданца.

Богатый и славный Збышко снискал всеобщее уважение. Взятые за Ягенкой Мочидолы и крупные владения аббата не шли в счет, Збышко и до этого владел уже Спыховом с его неисчислимыми богатствами, накопленными Юрандом; люди к тому же шепотком передавали, что одна только военная добыча, захваченная рыцарями из Богданца, — доспехи, кони, одежда и драгоценности, — стоит трех-четырех добрых деревень.

В этом усматривали особую милость Бога к роду Градов, герба Тупая Подкова, который так было захирел, что ничего у него не осталось, кроме одного голого Богданца, а теперь поднялся выше всех других родов в округе. «В Богданце после пожара один покосившийся домишко остался, — толковали старики, — из-за недостатка работников хозяевам пришлось всю деревню родичам заложить, а теперь вон замок возводят». Все диву давались, но чувствовали, что и весь народ так же стремительно идет по пути к невиданному богатству и что, по воле Бога, таким и должен быть порядок вещей, так что в удивлении этом не было злобной зависти. Напротив, вся округа гордилась и похвалялась рыцарями из Богданца. Они являли как бы наглядный пример того, чего может достичь шляхтич, если у него крепкая рука и отважное сердце и если им владеет жажда рыцарских приключений. Не один шляхтич, глядя на рыцарей из Богданца, чувствовал, что ему тесно дома, на своей стороне, что за рубежом в руках врагов неисчислимые богатства и обширные земли, которые можно захватить с большой пользой для себя и для королевства. И от этого избытка сил, который ощущали шляхетские роды, кипело всё общество, подобно сосуду, из которого вот-вот вырвется кипящая струя. Мудрые краковские советники и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эти силы и на долгие годы откладывать войну с извечным врагом; но никто в мире не в состоянии был ни подавить их совсем, ни сдержать стремление народного духа вперед, на пути к величю.

#### XLVI

Мацько дожил до счастливых дней. Не раз говорил он соседям, что получил больше, чем ожидал. Даже старость только убелила его сединами, но не отняла ни сил, ни здоровья. И сердце его преисполнилось таким весельем, какого он никогда ещё не испытывал. Его суровое когда-то лицо становилось всё добродушнее, а глаза улыбались людям приветливой улыбкой. В душе он был уверен, что всё зло кончилось навсегда и что никакая забота, никакое несчастье не омрачат уже дней его жизни, текущих спокойно, как прозрачный ручей. Воевать до старости, а на старости хозяйничать и умножать для внучат достояние — это во все времена было его

заветное желание и вот оно исполнилось. В хозяйстве всё шло как по маслу. Леса Мацько повыврубил и расчистил; на нови каждую весну зеленели всякие хлеба; росло богатство; на лугах выгуливались сорок кобылиц с жеребятами, которых старый шляхтич осматривал каждый Божий день; стада овец и коров паслись по перелескам и перелогам; Богданец совсем переменялся; заброшенная усадьба стала людной и зажиточной деревней; взор путника издали поражали сторожевая башня и стены замка, которые не успели ещё потемнеть и отливали золотом на солнце и багрянцем в сиянии вечерней зари.

Старый Мацько радовался в душе богаткам, хозяйству, счастливой доле и не спорил, когда люди говорили, что у него легкая рука. Через год после близнецов появился на свет мальчик, которого Ягенка в честь отца и в память о нём назвала Зыхом. Мацько принял его с радостью и нимало не смутился, что если так пойдет дальше, то раздробится богатство, накопленное ценою таких трудов и стараний.

– Что у нас было? – говорил он однажды по этому поводу Збышка. – Ничего! А вот Бог и послал нам. У старика Пакоша из Судиславиц, – говорил он, – одна деревня да двадцать два сына, а не мрут же они с голоду. Мало ли земель в королевстве и на Литве? Мало ли деревень и замков в руках этих псов крестоносцев? Эх! А ну как сподобит Господь! Неплохой был бы дом, замки-то у них из красного кирпича, и наш милостивейший король сделал бы их каштелянствами.

Примечательно, что орден был на вершине своего могущества, богатством, силой, численностью обученных войск превзошел все западные королевства, а старый рыцарь думал о замках крестоносцев как о будущем жилище своих внуков. Верно, многие думали так в королевстве Ягайла не только потому, что это были древние польские земли, захваченные орденом, но и потому, что народ сознавал свою могучую силу, которая кипела в его груди и искала себе выхода.

Замок был достроен только на четвертом году женитьбы Збышка, да и то с помощью не только местных, згожелицких и мочидольских мужиков, но и соседей, особенно старого Вилька из Бжозовой, который, оставшись после смерти сына совсем одиноким, очень подружился с Мацьком, а потом полюбил и Збышка с Ягенкой. Покои замка Мацько украсил всем, что захватили они со Збышком в добычу на войне или получили в наследство от Юранда из Спыхова, прибавив утварь, оставшуюся после аббата и привезенную Ягенкой из дому; из Серадза старик привез стеклянные окна, и дом получился великолепный. Однако Збышко переселился в замок с женой и детьми только на пятый год, когда были окончены и другие постройки – конюшни, скотные сараи, кухни и бани, а вместе с ними и подвалы, которые старик строил из камня на известке, чтобы они стояли века. Но сам Мацько в замок не перебрался: он остался жить в старом доме и на все просьбы Збышка и Ягенки отвечал отказом.

– Помру уж там, где родился, – толковал им старик. – Во время войны Гжималитов с Наленчами Богданец наш сожгли дотла – сгорели все постройки, все хаты, даже все изгороди, один этот домина остался. Толковал народ, будто оттого он не сгорел, что крыша вся мохом поросла; но я думаю, что была в этом милость и воля всевышнего, хотел он, чтобы мы воротились сюда и чтобы снова поднялся здесь наш род. Пока мы воевали, я часто горевал, что некуда нам воротиться; но не совсем я был прав, хозяйничать нам и впрямь было не на чем и есть было нечего, но было где голову приклонить. Вы молоды, с вами дело другое; но я так думаю, что коли дал нам приют этот старый дом, то и мне не пристало оставлять его в небрежении.

И он остался. Однако он любил приходить в замок полюбоваться его великолепием и пышностью, поразить его со старым гнездом и заодно поглядеть на Збышка, Ягенку

и внучат. Всё, что он видел, было по большей части делом его рук и всё же наполняло его гордостью и удивлением. Иногда к нему приезжал старый Вильк «покалякать» у огня, а то Мацько навещал его с той же целью в Бжозовой; однажды старый рыцарь и выложил ему свои мысли о «новых порядках»:

– Мне, знаете, иногда даже чудно. Все знают, что Збышко бывал в королевском замке в Кракове, – ему ведь тогда чуть голову не срубили! – и в Мазовии, и в Мальборке, и у князя Януша, Ягенка тоже в достатке выросла, но замка своего у них всё-таки не было... А теперь они так живут, будто иначе никогда и не живали... Похаживают себе да похаживают по покоям да всё слугам приказывают, а устанут, так сядут, посидят. Прямо тебе каштелян с каштеляншей! Есть у них горница, где они обедают с солтысами[30], приказчиками и челядью, так и лавки там для нее и для него повыше, прочие ниже сидят и ждут, покуда пан и пани себе на блюдо положат. Таков уж придворный обычай, а мне всякий раз приходится напоминать себе, что это не какие-нибудь важные паны, а мой племянник с женой, которые меня, старика, в руку чмокают, на первое место сажают и называют своим благодетелем.

– За это Господь Бог и ниспослал им свое благословение, – заметил старый Вильк.

Затем, грустно покачав головой, он прихлебнул меда, пошевелил железной кочергой головни в печке и сказал:

– А вот мой парень погиб!

– Воля Божья.

– Это верно! Старшие сыны – пятеро их у меня было – полегли задолго до него. Да вы сами знаете. Что и говорить, воля Божья. Но этот был самый крепкий. Настоящий Вильк, и когда бы не погиб он, так, может, сегодня тоже жил бы в собственном замке.

– Уж лучше бы Чтан погиб.

– Что там Чтан! Он взваливает себе на спину мельничные жернова, а сколько раз мой трепал его! У моего была рыцарская выучка, а Чтана жена теперь по роже хлещет; он хоть и силач, а дурак.

– Да, никудышный! – подтвердил Мацько.

И, воспользовавшись случаем, стал превозносить до небес не только рыцарское искусство Збышка, но и его ум: он, мол, в Мальборке состязался с первейшими рыцарями, а «с князьями говорить для него всё едино, что орехи щелкать». Старик хвалил Збышка и за рассудительность, и за хозяйственность, без чего замок поглотил бы скоро всё их достояние. Не желая, однако, чтобы старый Вильк подумал, будто им грозит что-нибудь подобное, он сказал, понизив голос:

– Ну, по милости Божьей, добра у нас полны сундуки, побольше, чем люди думают, только вы про то никому не сказывайте.

Люди, однако, и догадывались, и знали, и друг другу рассказывали, раздувая всё и преувеличивая, особенно богатства, которые богданецкие рыцари вывезли из Спыхова. Болтали, будто деньги из Мазовии везли целыми бочонками. Мацько как-то выручил знатных владельцев Концеполя[31], дав им займы десятка два гривен, и

все окончательно уверились в несметности его «сокровищ». От этого богданецкие рыцари ещё больше значили в глазах людей и пользовались ещё большим почётом, и в замке у них всегда полно было гостей, на что Мацько, хоть и был бережлив, никогда не смотрел косо, зная, что это помогает возвеличению рода.

Особенно пышно справляли крестины, а раз в год после успенья Збышко устраивал для соседей большой пир, на который приезжали и шляхтянки поглядеть на рыцарские состязания, послушать песенников и при свете смоляных факелов до утра поплясать с молодыми рыцарями. Вот тогда-то старый Мацько тешился и радовался, любясь на Збышка и Ягенку, которые с виду были так горделивы и величавы. Збышко возмужал, раздался в плечах, но, хоть ростом был высок и могуч, лицо у него по-прежнему было юношеским. Когда же, охватив пышные волосы пурпурной повязкой, он облачался в богатое платье, затканное серебряными и золотыми нитями, не только Мацько, но и многие шляхтичи говорили про себя: «Господи, сущий тебе князь в своем замке». А перед Ягенкой, которая сияла молодостью, здоровьем, силой и красотой, рыцари, знакомые с западными обычаями, не раз преклоняли колени и просили её стать дамой их сердца. Сам старый владетель Конецполя, который был серадзским воеводой, при виде её приходил в восторг и сравнивал её с утренней зарей и с «солнышком», «которое озаряет мир и даже старую кровь заставляет играть в жилах».

#### XLVII

Но вот на пятом году, когда во всех деревнях был заведен образцовый порядок, когда над законченной сторожевой башней уже несколько месяцев развевалась хоругвь с Тупой Подковой, а Ягенка благополучно родила четвертого сына, которого называли Юрандом, старый Мацько сказал как-то Збышку:

– Всё на свете случается, вот бы послал Бог счастье ещё в одном деле, и можно умереть спокойно.

Збышко поглядел на него испытующим взором и, помолчав с минуту, спросил:

– Уж не о войне ли с крестоносцами вы говорите, больше ведь вам и желать-то нечего?

– Я скажу тебе, что и раньше говорил, – ответил Мацько, – покуда жив магистр Конрад, войны не будет.

– Не век ему жить!

– Да и мне не век, вот почему я совсем про другое думаю.

– Про что же?

– Э! Лучше не загадывать. А пока что съезжу я в Спыхов, а коли приведет Бог, так и к князьям в Плоцк да в Черск.

Збышко не очень удивился, – Мацько за последние годы не раз ездил в Спыхов, – он только спросил:

– Долго ли пробудете?

– Да на этот раз подольше, в Плоцке придется задержаться.

Спустя неделю Мацько и впрямь уехал, захватив с собой несколько повозок и добрые



доспехи, «на случай, если придется с кем-нибудь драться». Прощаясь, он ещё раз предупредил, что, может, задержится, и действительно задержался: целых полгода не было о нём ни слуху ни духу. Збышко стал уж беспокоиться и наконец отправил в Спыхов нарочного, но тот встретил Мацька за Серадзом и вернулся с ним домой.

Старый рыцарь был что-то мрачен, но, порасспросив Збышка обо всём, что делалось в его отсутствие, и узнав, что всё в порядке, успокоился, повеселел и сам заговорил о своей поездке.

– Знаешь, я был в Мальборке, – сказал он.

– В Мальборке?

– А то где же?

Збышко воззрился на него в изумлении, затем хлопнул себя по ляжке и воскликнул:

– Господи! А я-то совсем забыл!

– Ты-то мог забыть, потому что выполнил свой обет, – ответил Мацько, – но не приведи Бог, чтобы я от обета своего отступился и честь свою замарал. Не в обычае это у нас, и клянусь крестом святым, что, покуда жив, я этого обычая не нарушу.

Мацько при этом нахмурился, и лицо его стало таким ужасным и грозным, каким Збышко видел его только в былые годы у Витовта и Скирвойла, когда надо было сражаться с крестоносцами.

– Ну, и что же? – спросил Збышко. – Не одолели?

– Как же я мог его одолеть, коли он не принял моего вызова.

– Почему?

– Он стал великим комтуром.

– Куно Лихтенштейн стал великим комтуром?

– Ба! Его, может, и великим магистром изберут. Как знать! Но он уже сейчас почитает себя равным князьям. Говорят, в ордене он вершит всеми делами, всё лежит на его плечах, магистр без него шагу не ступит. Да разве он выйдет драться на утопанной земле? Только на смех меня люди подняли бы.

– Неужели посмеялись над вами? – спросил Збышко, гневно сверкнув глазами.

– Посмеялась княгиня Александра в Плоцке. «Поезжай, говорит, и вызови римского императора! Я, говорит, знаю, что ему – это Лихтенштейну! – послали вызовы и Завиша Чарный, и Повала, и Пашко из Бискупиц, но он даже таким мужам ничего не ответил – не может. Не потому, что трус, нет, он монах и занимает, говорит, столь важный и почётный пост, что ему совсем не до этого и честь его больше пострадала бы, когда бы он принял вызов». Вот что она сказала.

– А что вы ей сказали на это?

– Огорчился я страх как и говорю ей, что мне всё едино не миновать в Мальборк ехать, чтобы мог я Богу и людям сказать: «Я всё сделал, что мог». И упросил я княгиню придумать что-нибудь и послать меня в Мальборк с письмом: знал я, что не унести мне иначе ног из этого волчьего логова. А про себя так думал: «Что ж, не принял ты вызова ни Завиши, ни Повалы, ни Пашка, но коли я при самом магистре, при всех комтурах да при гостях вцеплюсь тебе в бороду да вырву её вместе с усами, небось придется тебе драться».

– Ах, чтоб вас! – в восторге воскликнул Збышко.

– А что? – сказал старый рыцарь. – На всё можно средство найти, была бы только голова на плечах. Да не сподобил меня на сей раз Господь: не застал я Лихтенштейна в Мальборке. Не знал я, что мне делать: то ли ждать его, то ли следом ехать. Боялся разминуться. Но с давних пор знаком я с магистром и великим ризничим и решил открыть им, зачем приехал. Как они закричат тут на меня: не бывать, мол, этому!

– Почему же?

– А магистр мне вот что сказал: «Что бы ты про меня подумал, когда бы я стал принимать вызовы от всех рыцарей из Мазовии или из Польши?» Что там говорить, прав он был, его бы уж давно и на свете не было. Они с ризничим долго удивлялись, а потом возьми да и расскажи всё за ужином. Что тут поднялось, словно кто в улей дунул! Особенно гости как зашумят: «Куно не может, кричат, так мы можем!» Выбрал я себе троих, хотел по очереди с ними драться, долго просил магистра, но он позволил драться только с одним, тоже Лихтенштейном, родичем Куно.

– Ну и что же? – вскричал Збышко.

– Что ж, привез я его латы, но так они порублены, что за них и гривны никто не даст.

– Побойтесь Бога, вы же исполнили обет!

– Сперва я было обрадовался и сам подумал, что исполнил, но потом решил: «Нет! Это не то!» А теперь совсем потерял покой: может, и впрямь не то!

Но Збышко стал его утешать:

– Вы знаете, в таких делах я ни себе, ни другим не даю поблажки, но когда бы со мной приключилось такое, я бы почел, что исполнил обет. Вот что я вам скажу: самые славные рыцари в Кракове подтвердят мои слова. Сам Завиша – а он лучше всех разбирается в делах рыцарской чести – наверно, то же скажет.

– Ты так думаешь? – спросил Мацько.

– Да вы сами подумайте: они ведь на весь мир прославились и тоже его вызвали; но никто из них не добился даже того, чего добились вы. Вы дали обет убить Лихтенштейна и Лихтенштейна зарубили.

– Может, так оно и есть, – проговорил старый рыцарь.

А Збышко, которого живо занимали рыцарские дела, стал спрашивать:

– Ну рассказывайте: молодой он был или старый? И как вы дрались? Конными или пешими?

– Ему было лет тридцать пять, и борода у него была до пояса, а дрались мы на конях. С Божьей помощью я его копьем пощупал, а там дошло дело и до мечей. И так, говорю тебе, кровь у него хлестала изо рта, что вся борода слиплась, стала как сосулька.

– А вы всё жаловались, что стареете!

– Когда я сяду на коня или ноги на земле раскорячу, так ещё крепко держусь, но в доспехах на коня мне уже не вскочить.

– Но и Куно из ваших рук не ушел бы.

Старик пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что справиться с Куно ему было бы куда легче; затем они пошли осматривать трофейные латы, которые Мацько захватил только как доказательство своей победы; они были совсем изрублены и не имели никакой цены. Целыми остались только набедерники да наголенники работы отличных мастеров.

– Всё-таки лучше, если бы это были латы Куно, – мрачно сказал Мацько.

– Всевышний знает, что лучше, – возразил Збышко. – Коли Куно станет магистром, вам уж его не достать, разве только встретитесь в большой битве.

– Послушал я там, что люди толкуют, – заметил Мацько. – Одни говорят, что после Конрада будет Куно, а другие – будто брат Конрада, Ульрих.

– По мне, уж лучше Ульрих, – сказал Збышко.

– И я так думаю, а знаешь, почему? Куно умнее и хитрее, а Ульрих горяч. Это настоящий рыцарь, он блюдет рыцарскую честь, но рвется в бой с нами. Говорят, коли станет он магистром, такая сразу начнется война, какой ещё не бывало на свете. А Конрад что-то хиреет. Как-то раз ему при мне стало худо. Что ж, может, и дождемся мы войны!

– Дай-то Бог! А что, у них новые разногласия с королевством?

– И старые, и новые. Крестоносец, он всегда крестоносец. Хоть и знает, что ты сильнее и трогать тебя опасно, всё едино будет на твое посягать, иначе он не может.

– Крестоносцы думают, что орден сильнее всех государств.

– Не все, но многие из них так думают, в том числе и Ульрих. Они и впрямь очень сильны.

– А помните, что говорил Зындрам из Машковиц?

– Как не помнить, с каждым годом всё хуже дела у крестоносцев. Брат брата так не примет, как меня там люди принимали, когда немцы этого не видели. Вот где у народа сидят крестоносцы.

– Выходит, недолго ждать осталось!

– То ли долго, то ли недолго, – проговорил Мацько.

И, подумав, прибавил:

– А пока суд да дело, надо усердно трудиться, приумножать достояние, чтобы с честью выступить на войну.

#### XLVIII

Магистр Конрад умер только через год. Об его смерти и избрании Ульриха фон Юнгингена первым узнал в Серадзе брат Ягенки, Ясько из Згожелиц. Он-то и привез в Богданец эту весть, которая потрясла сердца не только в Богданце, но и в прочих шляхетских усадьбах. «Времена настают небывалые», – торжественно провозгласил старый Мацько, а Ягенка тотчас подвела к Збышку всех детей и сама стала прощаться с мужем, словно завтра он уже должен был выступить в поход. Мацько и Збышко знали, конечно, что война не разгорается вдруг, как огонь в очаге, и все же верили, что она непременно начнется, и стали готовиться в поход. Они отбирали коней и доспехи, обучали ратному делу оруженосцев, слуг, деревенских солтысов, которые, по магдебургскому праву, обязаны были выступать в поход на конях, и мелкопоместную шляхту, которая льнула к знати. Так было и во всех прочих шляхетских усадьбах: повсюду в кузницах били молоты, повсюду люди чистили старые панцири, смазывали луки и ремни салом, вытопленным в салотопнях, оковывали повозки, готовили припас – крупу да копчёное мясо. По воскресным дням и в праздники народ собирался перед костёлами и расспрашивал про новости, досадуя, когда приходили мирные вести; в душе все были глубоко убеждены, что надо раз навсегда покончить со страшным врагом всего польского племени, что могущественное польское королевство до тех пор не сможет процветать и польский народ до тех пор не сможет трудиться в мире, пока, по словам святой Бригитты, «у крестоносцев не будут выбиты зубы и не будет отсечена правая рука».

В Кшесно толпы народа окружали всякий раз Мацька и Збышка, которые хорошо знали крестоносцев и умели с ними воевать. Богданецких рыцарей расспрашивали не только про новости, но и про то, как же воевать с немцами: как лучше ударить на них, как они дерутся, в чем превосходят поляков, и в чем уступают им, и чем легче сокрушить их доспехи, коли поломаются копья, – секирою или мечом?

Мацько и Збышко были и впрямь сведущи в этих делах, поэтому их слушали с особым вниманием, тем более что все были уверены, что война будет нелегкая, ибо сражаться придется с самыми прославленными рыцарями всех земель и нельзя будет задать недругу страху да этим и удовольствоваться, а придется либо разбить его наголову, либо погибнуть самим. «Что ж, коль надо, ничего не поделаешь, либо им, либо нам – смерть». Поколение, которое носило в сердцах предощущение грядущего величия, не малодушествовало, – напротив, с каждым часом, с каждым днем оно всё больше воодушевлялось; но люди принимались за дело без пустой похвальбы, без бахвальства, а сосредоточенно и упорно, с величайшей готовностью умереть.

– Либо нам, либо им умереть на роду написано.

Меж тем время шло, а войны всё не было. Правда, поговаривали о разногласиях между королем Владиславом и орденом, о добжинской земле, хотя она уже давно была выкуплена, да о пограничных спорах из-за какого-то Дрезденка[32], о котором многие слышали первый раз в жизни и из-за которого спорили будто бы обе стороны;

но войны всё не было. Кое-кого стало уже брать сомнение, да будет ли она, споры-то всегда бывали, но дело обыкновенно кончалось тем, что скликали съезды, заключали договоры да снаряжали посольства. Но вот распространилась весть, что и сейчас в Краков явились послы ордена, а польские уехали в Мальборк. Заговорили о посредничестве чешского и венгерского королей и даже самого папы. Вдали от Кракова никто толком ничего не знал, и в народе ходили всякие слухи, часто самые нелепые и невероятные; а войны всё не было.

В конце концов и Мацько, на чьей памяти над королевством не раз нависала угроза войны и оно не раз заключало договоры, не знал, что думать, и поехал в Краков обо всём разведать. В Кракове он пробыл недолго; на шестой неделе старый рыцарь вернулся домой сияющий. Когда в Кшесне его окружила как всегда жадная до новостей шляхта, он на многочисленные вопросы ответил вопросом:

– А отточены ли у вас копья да секиры?

– А разве что? Да говорите же! Раны Божьи! Какие вести? Кого вы видели? – кричали со всех сторон.

– Кого я видел? Зындрама из Машковиц! Какие вести? Такие, что скоро, пожалуй, придется седлать коней.

– Господи! Да неужто? Рассказывайте!

– А вы про Дрезденко слышали?

– Ну, слышали. Да ведь это маленький замок, таких много, и земли там не больше, чем у вас в Богданце.

– Ничтожный повод для войны, верно?

– Ясное дело, ничтожный; бывали и поважнее, а всё-таки до войны дело не доходило.

– А знаете, какую притчу рассказал мне про Дрезденко Зындрам из Машковиц?

– Говорите скорей, страх как это всё любопытно.

– Вот что он мне сказал: «Шел по дороге слепец, споткнулся о камень и упал. Упал он потому, что был слеп, ну, а всё-таки причиной был камень». Вот и Дрезденко такой же камень.

– Как так? Ведь орден ещё крепко стоит.

– Не понимаете? Ну, тогда я скажу вам иначе: когда чаша полна, одной капли достаточно, чтобы полилось через край.

Рыцари так тут воодушевились, что Мацьку едва удалось сдержать их, они хотели тотчас седлать коней и двигаться в Серадз.

– Будьте готовы, – сказал он, – но терпеливо ждите. Теперь уж и про нас не забудут.

И рыцари ждали, готовые к походу, ждали долго, так долго, что многих снова взяло

сомнение. Но Мацько не сомневался: как по прилету птиц узнают приближение весны, так он, человек искушенный, по отдельным признакам умел заключить, что война приближается, притом война великая.

Прежде всего во всех королевских борах и пущах велено было начать такую охоту, какой старики не запомнят. На облавы собирали тысячи загонщиков, убивали целые стада зубров, туров, оленей, вепрей и всякой мелкой дичи. Целые недели и месяцы поднимался дым над лесами, а в дыму копилось соленое мясо, которое потом отправляли в воеводские города, а оттуда на склады в Плоцк. Ясно было, что готовится припас для великого войска. Мацько прекрасно понимал, что это значит, ибо Витовт на Литве приказывал устраивать такие охоты перед каждым большим походом. Но были и другие признаки. Целые толпы мужиков стали убегать от немцев в королевство и в Мазовию. В окрестностях Богданца появились главным образом подданные немецких рыцарей из Силезии; но было известно, что повсюду творится то же самое, особенно в Мазовии. Чех, хозяйничавший в Спыхове, в Мазовии, прислал оттуда человек двадцать мазуров, которые бежали в Спыхов из Пруссии. Беглецы просили разрешить им принять участие в войне «пешими», они хотели отомстить за свои обиды крестоносцам, которых ненавидели лютой ненавистью. Они рассказывали, что некоторые пограничные деревни в Пруссии почти совсем опустели, так как мужики с женами и детьми переселились в мазовецкие княжества. Правда, крестоносцы вешали пойманных беглецов; но ничто не могло удержать несчастных, и многие предпочитали смерть жизни под тяжким немецким ярмом. Затем всю страну наводнили «нищие» из Пруссии. Все они направлялись в Краков. Они стекались из Гданьска, Мальборка, Торуня, даже из далекого Крулевца, изо всех прусских городов, изо всех командорий. Среди них были не только нищие, но и пономари, органисты, всякие монастырские служки и даже причетники и священники. Все догадывались, что они приносят вести обо всём, что творится в Пруссии: о военных приготовлениях, об укреплении замков, о страже, наемных войсках и гостях. Люди шепотом передавали друг другу, что воеводы в воеводских городах, а в Кракове королевские советники запираются с ними на целые часы, слушают и записывают всё, что они рассказывают. Некоторые из них тайно возвращались в Пруссию, а потом опять появлялись в королевстве. Из Кракова доходили вести, что король и советники знают от них о каждом шаге крестоносцев.

Совсем не то было в Мальборке. Один духовный, который бежал из столицы крестоносцев и остановился у владельцев Конецполя, рассказывал, что магистр Ульрих и другие крестоносцы знать не хотят, что творится в Польше, они уверены, что одним ударом покорят всё королевство и с лица земли сотрут на вечные времена, «так что от него и следа не останется». При этом беглец повторил слова, сказанные магистром на пиру в Мальборке: «Чем больше их будет, тем дешевле станут в Пруссии кожухи». С радостью и с одушевлением готовились крестоносцы к войне, уверенные в своей силе и в том, что на помощь им придут все, даже самые отдаленные государства.

Невзирая на все признаки близящейся войны и на все приготовления к ней, она всё не начиналась, как ни желал этого народ. Молодому владельцу Богданца дома было уже скучно. Всё было давно готово, он рвался в бой, душа его жаждала славы, невыносим был ему каждый день промедления, и часто он упрекал во всём дядю, как будто война и мир зависели от старого рыцаря.

– Ведь вы обещали, что война наверняка будет, – говорил он, – а её всё нет как нет!

– Умен ты, да не очень! – отвечал ему Мацько. – Ужели ты не видишь, что

творится?

– А ну как король в последнюю минуту пойдет на мировую? Говорят, он не хочет войны.

– Это верно, что не хочет, но разве не он воскликнул: «Не будь я король, если позволю захватить Дрезденко», а немцы как взяли Дрезденко, так по сию пору и держат. Да, король не хочет проливать христианскую кровь; но советники у него мудрые, они чувствуют, что наше королевство сильнее, и прижимают немцев к стене, и я тебе скажу, что не будь Дрезденка, так нашелся бы другой предлог.

– Слышал я, что Дрезденко захватил ещё магистр Конрад, а уж он-то боялся короля.

– Боялся, потому что лучше других знал, как могущественна Польша, однако и он не мог удержать алчных крестоносцев. В Кракове мне вот что рассказывали: когда крестоносцы захватили Новую Мархию, старый фон Ост, владетель Дрезденка, явился, как вассал, с поклоном к королю, ибо его земля испокон веков была польской и он хотел, чтобы ею владело королевство. Но крестоносцы зазвали его в Мальборк, напоили там и выманили письмо о передаче им Дрезденка. Тогда терпение короля истощилось.

– Ещё бы! – воскликнул Збышко.

– Вышло так, – прервал его Мацько, – как говорил Зындрам из Машковиц: Дрезденко – это только камень, о который споткнулся слепец.

– А если немцы отдадут Дрезденко, что тогда будет?

– Тогда найдется другой камень. Но крестоносец не отдаст того, что пожрал, разве только брюхо ему вспорешь, дай-то Бог поскорей это сделать.

– Нет! – воскликнул, ободрившись, Збышко. – Конрад, может, и отдал бы, но Ульрих не отдаст. Это подлинный рыцарь, его ни в чем не упрекнешь, только очень уж он горяч.

Пока они вели такие беседы, события следовали одно за другим с такой быстротой, с какой камень, сдвинутый ногою путника на горной тропе, неудержимо катится в пропасть.

Вдруг по всей стране прогремела весть, что немцы напали на старопольский замок Санток, отданный в залог иоаннитам, и овладели им. Новый магистр, Ульрих, когда прибыли польские послы с поздравлениями по поводу его избрания, нарочно уехал из Мальборка; с первой минуты своего правления он повелел, чтобы в сношениях с королем и Польшей вместо латыни употреблялся немецкий язык, и тем самым показал наконец подлинное свое нутро. Краковские советники, которые втайне готовили войну, поняли, что Ульрих готовит её открыто, притом очертя голову и с такой дерзостью, которой великие магистры не допускали с польским народом даже тогда, когда орден действительно был могущественней королевства.

Не такие горячие, как Ульрих, и более хитрые сановники ордена, которые хорошо знали Витовта, старались склонить его на свою сторону, то осыпая великого князя дарами, то раболепствуя перед ним без всякой меры, словно в те древние времена, когда римским цезарям при жизни воздвигали храмы и алтари. «У ордена два благодетеля, – говорили послы-крестоносцы, земно кланяясь наместнику Ягайла, –

первый – Бог и второй – Витовт; каждое желание и каждое слово Витовта для крестоносцев закон». Они умоляли великого князя принять на себя посредничество в деле о Дрезденке, рассчитывая, что, взявшись судить своего государя, Витовт оскорбит его и их добрые отношения будут нарушены, если не навсегда, то, во всяком случае, на долгое время. Но королевские советники знали, что творится в Мальборке и что затевают крестоносцы, и король также избрал Витовта своим посредником.

Ордену пришлось пожалеть о своем выборе. Сановники ордена думали, что они знают великого князя, а оказалось, что они мало его знают: Витовт не только присудил Дрезденку полякам, но, предвидя, чем может кончиться всё это дело, снова поднял Жмудь[33] и грозя ордену войной, стал помогать жмудинам людьми, оружием и хлебом, доставляемым из плодородных польских земель.

Тогда во всех землях обширного государства люди поняли, что пробил решительный час. Он и в самом деле пробил.

Однажды, когда старый Мацько, Збышко и Ягенка сидели у ворот богданецкого замка, наслаждаясь чудной, теплой погодой, перед ними внезапно вырос незнакомый всадник; осадив у ворот взмыленного коня, он бросил к ногам рыцарей венок, сплетенный из ветвей лозы и ивы, крикнул:

«Вицы! Вицы!»[34] – и поскакал дальше. Рыцари в неописуемом волнении вскочили на ноги. Лицо у Мацька стало грозным и торжественным. Збышко бросился в замок, чтобы послать оруженосца с вицей дальше; вернувшись, он воскликнул, сверкая глазами:

– Война! Наконец-то Бог послал! Война!

– И такая, какой мы доселе не видывали! – сурово прибавил Мацько.

Затем он кликнул слуг, которые мгновенно окружили хозяев.

– Трубите в рога со сторожевой башни на все четыре стороны света! Бегите в деревни за солтысами. Выводите и запрягайте коней! Живо!

Не успел он кончить, как слуги рассыпались в разные стороны исполнять приказания, что было нетрудно, так как всё давно было готово: люди, повозки, кони, доспехи, оружие, припасы, – только садись и поезжай!

Но Збышко обратился к Мацьку с вопросом:

– А не останетесь ли вы дома?

– Я? Да ты в своем уме?

– По закону вы можете остаться, человек вы немолодой, были бы опорой Ягенке и детям.

– Послушай, я до седых волос ждал этого часа.

Достаточно было взглянуть на его холодное, суровое лицо, чтобы понять, что все уговоры будут напрасны. Впрочем, Мацько, хоть ему и шел уже седьмой десяток, был ещё крепок, как дуб, руки у него легко ходили в суставах, и секира так и



свистела в этих сильных руках. Правда, он не мог уже в полном вооружении вскочить без стремян на коня; но этого не могли сделать и многие молодые рыцари, особенно западные. Зато рыцарская выучка была у него замечательная, и во всей округе не было столь искусственного воина.

Ягенка тоже, видно, не боялась остаться одна. Услышав слова мужа, она встала и, поцеловав ему руку, сказала:

– Не тревожься обо мне, милый Збышко, замок у нас крепкий, да и сам ты знаешь, что я не робкого десятка и ни самострел, ни копье мне не в диковину. Не время думать о нас, когда надо спасать королевство, а хранителем нашим здесь будет Господь.

Крупные слезы набежали ей вдруг на глаза и покатались по прекрасному белоснежному лицу. Показав на детей, она продолжала взволнованным, дрожащим голосом:

– Эх, кабы не эти мальчуганы, я б до тех пор валялась у тебя в ногах, пока ты не взял бы меня с собой на войну!

– Ягуся! – воскликнул Збышко, заключив её в объятия.

А она обхватила его шею и, крепко прижимаясь к нему, говорила:

– Только воротись ты, мой золотой, мой единственный, мой ненаглядный!

– А ты каждый день благодари Бога за то, что он послал тебе такую жену! – басом прибавил Мацько.

Спустя час со сторожевой башни была спущена хоругвь в знак отсутствия хозяев. Збышко и Мацько согласились, чтобы Ягенка с детьми проводила их до Серадза, и после сытного обеда все они с людьми и целым обозом двинулись в путь.

День был ясный, безветренный. Леса неподвижно стояли в тишине. Стада на полях и перелогам тоже прилегли отдохнуть после полудня и медленно и как будто задумчиво жевали жвачку. Было сухо, и по дорогам клубилась кое-где золотистая пыль, а под нею словно вспыхивали бесчисленные огоньки, ярко сверкая на солнце. Збышко показывал на них жене и детям и говорил:

– Знаете, что там сверкает над пылью? Это сулицы и копья. Должно быть, вицы дошли уже до всех, и народ отовсюду двигается на немцев.

Так оно и было. Недалеко от границы Богданца они повстречали брата Ягенки, молодого Яська, который, как довольно богатый шляхтич, шел с двумя копейщиками и вел с собой двадцать человек.

Вскоре на перекрестке из-за облака пыли показалось заросшее бородой лицо Чтана из Рогова, который хоть и не был другом богданецких рыцарей, но сейчас крикнул им издали: «Вперед, на немецких псов!» – и с приятным поклоном поскакал дальше в сером облаке пыли. Повстречали они и старого Вилька из Бжозовой. Голова у него уже тряслась от старости, но и он двинулся на войну, чтобы отомстить за смерть сына, которого немцы убили в Силезии.

По мере того как они приближались к Серадзу, всё чаще клубилась пыль на дорогах,

а когда вдали показались городские башни, весь тракт был уже запружен рыцарями, солтысами и вооруженными местными жителями, которые двигались к месту сбора. Увидев эти толпы народа, крепкого и сильного, упорного в бою, привычного к лишениям, непогоде, холоду и тяжким трудам, старый Мацько исполнился бодрости и в душе пророчил себе верную победу.

#### XLIX

И вот вспыхнула наконец война[35]: вначале стычек с врагом было не так уж много, да и судьба на первых порах не особенно благоприятствовала полякам. Пока подошли польские силы, крестоносцы взяли Бобровники, сровняли с землей Злоторыю и снова заняли несчастную, с таким трудом возвращенную недавно добжинскую землю. При посредничестве чехов[36] и венгров пожар войны на время был притушен, Польша и орден заключили перемирие[37], во время которого чешский король Вацлав должен был их рассудить.

Но противники не перестали стягивать свои войска; всю зиму и весну они продвигали их навстречу друг другу, так что, когда чешский король, подкупленный орденом, решил дело в пользу крестоносцев[38], снова возникла угроза войны.

Меж тем наступило лето, а вместе с ним подошли и народы под предводительством Витовта. После переправы у Червинска[39] оба войска и хоругви мазовецких князей соединились. По другую сторону реки, в лагере под Свецем, стояло сто тысяч закованных в броню немцев. Король хотел переправиться через Дрвенцу и идти кратчайшим путем в Мальборк, но переправа оказалась невозможной, и он повернул от Кужентника к Дзялдову и, разгромив замок крестоносцев Домбровно[40], или Гильгенбург, расположился там лагерем.

И сам король, да и польские, и литовские вельможи знали, что вскоре должно произойти решительное сражение, но думали, что это может случиться не раньше, чем через несколько дней. Они полагали, что магистр, преградив дорогу королю, пожелает дать отдых своим войскам, чтобы на смертный бой они вышли свежими, неутомленными. А тем временем королевские войска остановились на ночь в Домбровно. Взятие этой крепости без приказа и даже вопреки воле военного совета воодушевило короля и Витовта; это был сильно укрепленный замок с толстыми стенами и многочисленной стражей, защищенный озером. Польские рыцари захватили его молниеносно и с такой неукротимой яростью, что, прежде чем подошло всё войско, от города и замка остались только дымящиеся развалины, среди которых дикие воины Витовта и татары Саладина добивали остатки отчаянно защищавшихся немецких кнехтов.

Пожар длился недолго, его погасил короткий, но сильный ливень. Вся ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля была необыкновенно переменчивой и бурной. Ветер приносил одну за другой грозовые тучи. По временам всё небо, казалось, пылало от молний, и гром с ужасающим грохотом перекачивался между востоком и западом. От частых ударов воздух наполнялся запахом серы, и снова шум дождя заглушал все звуки. Затем ветер разгонял тучи, и из разрывов их смотрели звезды и яркая полная луна. Только после полуночи гроза поутихла, и воины смогли разложить костры. Тысячами огней запылал вскоре огромный польско-литовский лагерь. Воины сушили на огне промокшие одежды и пели боевые песни.

Король тоже бодрствовал; на самом краю лагеря, в доме, куда он укрылся от грозы, заседал военный совет и рассматривал дело о взятии Гильгенбурга. В штурме принимала участие серадзская хоругвь, и начальника её, Якуба из Концеполя, вызвали вместе с другими на военный совет, чтобы потребовать у них объяснений,

на каком основании, не имея приказа, они пошли на приступ и не перестали штурмовать замок даже тогда, когда король выслал к ним своего Подвойского и нескольких оруженосцев с приказом остановить штурм.

Опасаясь, что с него взыщут за самовольство и что его, быть может, ждет даже кара, воевода прихватил с собой лучших рыцарей, в том числе старого Мацька и Збышка, как свидетелей того, что подвойский добрался до них только тогда, когда они были уже на стенах замка и вели ожесточенный бой со стражей. Что ж до самовольного штурма, то воевода толковал, что «трудно испросить на всё дозволение, когда войско растянулось на несколько миль». Будучи послан вперед, он полагал своим долгом сметать все преграды на пути войска и бить врага, где бы он ни встретился. Выслушав объяснения, король, князь Витовт и советники, в душе довольные всем происшедшим, не только не стали упрекать воеводу и серадзян, но даже похвалили их за отвагу и за то, что они «так быстро взяли замок с храброй его стражей». Мацько и Збышко имели при этом возможность насмотреться на великих людей королевства, ибо, помимо короля и мазовецких князей, на совете присутствовали два предводителя всех войск[41]: Витовт, который был военачальником литвинов, жмудинов, русинов, бессарабов, валахов и татар, и Зындрам из Машковиц «того же герба, что и солнце», краковский мечник, главный военачальник польской армии, превосходивший всех знанием ратного дела. Кроме них, на совете присутствовали многие военачальники и вельможи: краковский каштелян, Кристин из Острова; краковский воевода, Ясько из Тарнова; познанский воевода, Сендзивой из Острога; сандомирский воевода, Миколай из Михаловиц; настоятель костёла святого Флориана, он же подканцлер, Миколай Тромба; маршалок королевства, Збигнев из Бжезя; краковский подкоморий, Петр Шафранец, и, наконец, Земовит, сын плочкого князя Земовита, единственный юноша в этом совете, но на редкость «способный полководец», мнение которого высоко ценил сам король.

В соседней просторной горнице ждали лучшие рыцари, чья слава гремела в Польше и за границей; они должны были быть под рукой у короля, чтобы в случае надобности помочь советом. Мацько и Збышко увидели там и Завишу Чарного Сулимчика с братом его Фаруреем, и Скарбка Абданка из Гур, и Добка из Олесницы, который в свое время на турнире в Торуне выбил из седла двенадцать немецких рыцарей, и великана Пашка Злодзей из Бискупиц, и Повалу из Тачева, их задушевного друга, и Кшона из Козихглув, и Марцина из Вроцимовиц, который носил большую хоругвь всего королевства, и Флориана Елитчика из Корытницы, и страшного в рукопашном бою Лиса из Тарговиска, и Сташка из Харбимовиц, который в полном вооружении мог перескочить через двух рослых коней.

Было и много других знаменитых рыцарей из разных земель и из Мазовии, которые в бой шли в первых рядах. Все знакомцы, особенно Повала, радостно приветствовали Мацька и Збышка и тотчас завели с ними разговор о старых временах и подвигах.

– Эх, – говорил Збышку пан из Тачева, – старые у тебя счеты с крестоносцами, надеюсь, теперь ты с ними за всё разочтешься.

– Кровью разочтусь, как и все мы! – ответил Збышко.

– А знаешь ли ты, что твой Куно Лихтенштейн теперь великий комтур? – спросил Пашко Злодзей из Бискупиц.

– Знаю, и дядя мой знает.

– Дай-то Бог повстречаться с ним, – вмешался Мацько, – у меня к нему дело

особое.

– Да и мы его вызывали на бой, – воскликнул Повала, – но он ответил, что драться ему сан не позволяет. Ну, теперь-то, пожалуй, и сан позволит.

Неизменно рассудительный Збышко заметил:

– Он тому достанется, кому Бог его предназначил.

Любопытствуя узнать мнение Завиши о деле Мацька и решив тотчас представить это дело на суд славного рыцаря, Збышко спросил, можно ли почесть обет исполненным, если Мацько сражался с родичем Лихтенштейна, который принял вызов вместо Куно и был убит старым рыцарем. Все закричали, что этого больше чем достаточно. Непреклонный Мацько, хоть и был обрадован таким решением, всё же заявил:

– Так-то оно так, но я больше уповал бы на вечное спасение, когда бы дрался с самим Куно!

Затем рыцари заговорили о взятии Гильгенбурга и о предстоящей великой битве, которой они ждали в самом непродолжительном времени, ибо магистру ничего другого не оставалось, как преградить дорогу королю.

Когда рыцари ломали голову над тем, через сколько дней может произойти эта битва, к ним подошел худой, долговязый рыцарь в одежде из красного сукна и такой же шапочке и, раскрыв объятия, мягким, почти женским голосом промолвил:

– Привет тебе, рыцарь Збышко из Богданца!

– Де Лорш! – вскричал молодой рыцарь. – Ты здесь!

И Збышко, сохранивший наилучшие воспоминания о гельдернском рыцаре, заключил его в объятия, а когда они расцеловались, как самые задушевные друзья, с радостью стал расспрашивать:

– Ты здесь, на нашей стороне?

– Быть может, много гельдернских рыцарей находится на той стороне, – ответил де Лорш, – но я владетель Длуголяса, и мой долг служить моему господину, князю Янушу.

– Так ты после смерти старого Миколая стал владетелем Длуголяса?

– Да. После смерти Миколая и его сына, убитого под Бобровниками. Длуголяс достался прекрасной Ягенке, а она вот уж пять лет моя супруга и госпожа.

– Боже мой! – воскликнул Збышко. – Расскажи, как всё это случилось?

Но де Лорш, поздоровавшись со старым Мацьком, сказал:

– Ваш старый оруженосец, Гловач, сказал мне, что я найду вас здесь, а сейчас он ждет нас у меня в шатре и приглаждает за ужином. Правда, это далековато, на другом конце лагеря, но верхом мы скоро доскачем, так что прошу вас – поедемте со мной.

Затем, обратившись к Повале, с которым он когда-то познакомился в Плоцке, де Лорш прибавил:

– И вас прошу, благородный рыцарь. Я буду счастлив и весьма польщен.

– Извольте, – ответил Повала. – Приятно побеседовать со знакомыми, а по дороге мы к тому же осмотрим лагерь.

И рыцари вышли. Когда они хотели уже садиться на коней, слуга де Лорша набросил им на плечи епанчи, которые он предусмотрительно прихватил с собою. Приблизившись к Збышко, он поцеловал молодому рыцарю руку и сказал:

– Честь и хвала вам, господин. Я ваш бывший слуга, только в темноте вы не можете признать меня. Помните Сандеруса?

– Боже мой! – воскликнул Збышко.

И на минуту в памяти его воскресли воспоминания о пережитых горестях, печалях и муках так же, как недели две назад, когда при соединении королевского войска с хоругвями мазовецких князей он после долгой разлуки встретил своего старого оруженосца Главу.

– Сандерус! – воскликнул Збышко. – Помню я и старое время, и тебя! Что же ты до сих пор подельывал, где шатался? Неужели не торгуешь больше святынями?

– Нет, господин. До последней весны я был причетником в костёле в Длуголясе, но покойный отец мой занимался военным делом, и, когда вспыхнула война, противна мне стала колокольная медь, и проснулась во мне страсть к железу и стали.

– Что я слышу! – вскричал Збышко, который никак не мог представить себе Сандеруса с мечом, рогатиной или секирой, выступающего в бой.

А Сандерус, поддерживая его стремя, сказал:

– Год назад, по распоряжению плоцкого епископа, я ходил в прусские края и оказал королевству большую услугу, но об этом расскажу потом, а сейчас садитесь, ваша светлость, на коня, чешский граф, которого вы зовете Главой, ждет вас с ужином в шатре моего господина.

Збышко сел на коня и, приблизившись к господину де Лоршу, поехал рядом с рыцарем, чтобы поговорить на свободе об его делах.

– Я очень рад, что ты на нашей стороне, – сказал он, – но всё же мне удивительно это, ты ведь служил у крестоносцев.

– Служат те, кто получает жалованье, – возразил де Лорш, – а я его не получал. Нет! Я приехал к крестоносцам только в поисках приключений да рыцарский пояс хотел добыть, – ты знаешь, я получил его из рук польского князя. Долгие годы провел я в этой стране и понял, на чьей стороне правда, а когда вдобавок женился и остался здесь жить, то как же мне было идти против вас? Я уже здешний, ты только послушай, как я научился вашему языку, я даже свой начинаю уже забывать.

– А твои гелдернские поместья? Я слышал, ты родич тамошнего герцога и владетель многих замков и деревень?

– Свои владения я уступил родичу, Фулькону де Лоршу, который заплатил мне за них. Пять лет назад я был в Гельдерне и привез оттуда большие деньги, на которые приобрел поместья в Мазовии.

– А как же ты женился на Ягенке из Длуголяса?

– Ах! – ответил де Лорш. – Кто может разгадать женщину? Она всегда насмехалась надо мной, а когда мне это наскучило и я объявил, что с горя поеду на войну в Азию и больше никогда не вернусь, она вдруг расплакалась и сказала: «Тогда я пойду в монастырь». Услышав эти слова, я упал к её ногам, а спустя две недели плоцкий епископ обвенчал нас в костёле.

– А дети у вас есть? – спросил Збышко.

– После войны Ягенка собирается ко гробу вашей королевы Ядвиги, чтобы испросить её благословения, – со вздохом ответил де Лорш.

– Вот и отлично. Это, говорят, верное средство, и в таких делах нет лучше заступницы, чем наша святая королева. Через несколько дней решительная битва, а там будет мир.

– Да.

– Но крестоносцы почитают тебя, верно, изменником.

– Нет! – сказал де Лорш. – Ты знаешь, как я блюду рыцарскую честь. Сандерус, по поручению плоцкого епископа, ездил в Мальборк, и я послал с ним письмо магистру Ульриху, в котором отказался от службы и изложил причины, по которым перехожу на вашу сторону.

– Сандерус! – воскликнул Збышко. – Он говорил, что ему опротивела колокольная медь и что в нём проснулась страсть к железу; это мне удивительно, он всегда был труслив, как заяц.

– Сандерус, – ответил господин де Лорш, – только тогда имеет дело с железом, когда бреет меня и моих оруженосцев.

– Ах, вот как! – воскликнул, развеселившись, Збышко.

Некоторое время они ехали в молчании, затем де Лорш поднял глаза к небу и проговорил:

– Позвал я вас на ужин, но, пока мы доедем, будет, наверно, завтрак.

– Луна ещё светит, – ответил Збышко. – Едем.

И, поравнявшись с Мацьком и Повалой, они поехали дальше вчетвером по широкой лагерной улице, какую по приказу военачальников всегда вешили между шатрами и кострами, чтобы оставался свободный проезд. Рыцарям надо было проехать вдоль всего лагеря, чтобы добраться до стоявших на другом его конце мазовецких хоругвей.

– С той поры как Польша стоит, – промолвил Мацько, – не видывала она ещё такого

войска, сюда стеклись люди со всех концов земли.

– Ни одному королю не выставить такого войска, – поддержал его де Лорш, – ибо ни один из них не правит такой могучей державой.

А старый рыцарь обратился к Повале из Тачева:

– Сколько, вы говорите, хоругвей привел князь Витовт?

– Сорок, – ответил Повала. – наших польских с мазурами пятьдесят, но наши не так велики, как у Витовта, у него под одной хоругвью служат иногда несколько тысяч человек. Да! Слышали мы, будто магистр сказал, что эта гольтьба не мечами, а ложками ловчей орудует; дай-то Бог, чтобы в недобрый для крестоносцев час он молвил, думаю, что обогрятся их кровью литовские сулицы.

– А что это за люди, мимо которых мы сейчас проезжаем? – спросил де Лорш.

– Это татары, их привел данник Витовта, Саладин.

– А как они дерутся?

– Литва умеет с ними воевать и много их покорила, потому им и пришлось выступить на эту войну. Но западным рыцарям с ними тяжело, при отступлении они страшнее, чем в бою.

– Посмотрим на них поближе, – предложил де Лорш.

И рыцари подъехали к кострам, у которых виднелись люди с совершенно голыми до плеч руками, одетые, невзирая на летнюю пору, в тулупы без рукавов овчиной наружу. Большая часть их спала прямо на голой земле или на мокрой соломе, от которой от жара поднимался пар; но многие сидели на корточках у пылающих костров; некоторые коротали часы ночи, гнуся дикие песни, при этом они подыгрывали себе, постукивая лошадиными цевками, которые издавали странные, неприятные звуки; иные играли на бубенцах или перебирали пальцами натянутые тетивы луков. Многие выхватывали прямо из огня дымящееся мясо и пожирали кровавые куски, дуя на них оттопыренными синими губами. Вид у татар был такой зловещий и дикий, что их скорее можно было принять не за людей, а за страшных лесных чудовищ. От костров поднимался едкий дым, пахнувший конским и бараньим жиром, который топился на огне; невыносимый чад шел от горелой шерсти и нагретых тулупов, и смердело свежесодранными шкурами и кровью. По другую сторону улицы стояли кони, оттуда несло лошадиным потом. Это несколько сотен коней поставили поближе для разездов; выщипав всю траву под ногами, они кусались, пронзительно ржали и храпели. Конюхи усмиряли их, с криком стегая кнутами из сыромятной кожи.

Забираться сюда в одиночку было небезопасно, дикари отличались неслыханной свирепостью. Непосредственно за ними стояли почти такие же дикие бессарабы с рогами на головах, длинноволосые валахи, которые вместо панцирей закрывали грудь и спину деревянными досками с неуклюжими изображениями упырей, скелетов или зверей; дальше расположились сербы, лагерь которых сейчас погружен был в сон, а днем на постое, казалось, звучал как одна огромная лютня – столько было у сербов флейт, балалаек, дудок и других инструментов.

Пылали костры, а в небе из разрывов туч, которые рассеивал сильный ветер, смотрела яркая полная луна, и при свете её наши рыцари озирали лагерь. За

сербами стояли несчастные жмудины. Реки жмудской крови пролили немцы, однако по первому призыву Витовта они поднимались на новые и новые битвы. И сейчас, словно предчувствуя, что скоро конец всем их бедам, они пришли сюда, проникнутые духом Скирвойла, одно имя которого приводило немцев в трепет и ярость. Костры жмудинов горели рядом с кострами литвинов – это был один народ, с одинаковыми обычаями и языком.

При въезде в литовский лагерь взорам рыцарей открылось мрачное зрелище. Два трупа висели на сколоченной из бревен виселице; ветер раскачивал их, кружил, трепал и подкидывал с такой силой, что перекладыны виселицы жалобно скрипели. Почуввав трупы, кони захрапели и присели на задние ноги, а рыцари набожно перекрестились.

– Князь Витовт, – сказал Повала, когда они миновали виселицу, – был у короля, когда привели этих преступников, и я в ту пору был при короле. Наши епископы и вельможи ещё раньше жаловались, что литвины на войне очень свирепствуют и не щадят даже костёлов. И вот когда привели этих бедняг (это были знатные бояре, но они совершили святотатство), князь так разгневался, что на него страшно было глядеть, он приказал им самим повеситься. Несчастные сами должны были поставить себе виселицу и сами повесились, при этом они ещё подгоняли друг дружку: «Живей, а то князь ещё пуще разгневается!» Теперь все татары и литвины в страхе, они не смерти боятся, а княжеского гнева.

– Да, да, я помню, – сказал Збышко, – когда король разгневался на меня в Кракове за Лихтенштейна, молодой князь Ямонт, приближенный короля, тоже советовал мне самому повеситься. Он от чистого сердца дал мне этот совет, хоть я за это вызвал бы его на бой на утопанной земле, когда бы мне не собирались и так отрубить голову.

– Князь Ямонт теперь уже держится рыцарских обычаев, – заметил Повала.

Беседуя таким образом, они миновали огромный литовский лагерь и три отборных русских полка, из которых самым многочисленным был смоленский, и въехали в польский лагерь. Здесь стояло пятьдесят хоругвей – ядро и вместе с тем головная колонна всей армии. Доспехи у поляков были лучше, кони рослей, рыцари тоже были лучше обучены и ни в чем не уступали западным. Избалованных воителей Запада шляхтичи превосходили и физической силой, и способностью переносить голод, холод и ратный труд. Обычаи их были проще, панцири грубее, но закал крепче, а их презрению к смерти и беспримерной стойкости в бою даже в те времена не раз удивлялись приехавшие издалека французские и английские рыцари.

– Здесь, – заметил де Лорш, который давно знал польское рыцарство, – вся сила и вся наша надежда. Помню, в Мальборке не раз жаловались, что в битвах с вами за каждую пядь земли приходится платить реками крови.

– Кровь и теперь польется рекой, – ответил Мацько, – Ведь и орден никогда ещё не собирал такого войска.

– Рыцарь Кожбуг, – сказал Повала, – ездил к магистру с письмами от короля, он рассказывал, что крестоносцы думают, будто ни римский император и никакой другой государь не могут сравниться с ними могуществом и что орден мог бы покорить все царства.

– Да, только нас-то побольше! – заметил Збышко.



– Это верно, но они ни в грош не ставят войско Витовта, думают, что оно вооружено кое-как и от первого удара рассыплется, как глиняный горшок под молотом. Не знаю, правда это или нет.

– И правда, и неправда, – ответил рассудительный Мацько. – Мы со Збышком знаем литвинов, вместе воевали. Что и говорить, оружие у них похуже и лошадки неказисты, случается, что не выдерживают литвины натиска рыцарей, но сердца у них отважные, пожалуй, отважней немецких.

– Скоро можно будет испытать их, – сказал Повала. – У короля слезы стоят в глазах, когда он думает о том, сколько прольется христианской крови, в любую минуту готов он заключить справедливый мир, но кичливые крестоносцы этого не допустят.

– Это уж как пить дать! Знаю я крестоносцев, да и все мы их знаем, – подтвердил Мацько. – У Бога и чаши весов уже готовы, на которые положит он нашу кровь и кровь врагов нашего племени.

Они были недалеко от мазовецких хоругвей, где виднелись шатры господина де Лорша, когда заметили вдруг, что посреди «улицы» сбилась толпа и смотрит в небо.

– Эй, стойте, стойте! – раздался голос в толпе.

– Кто это говорит? Что вы тут делаете? – спросил Повала.

– Клобуцкий ксёндз. А вы кто?

– Повала из Тачева, рыцари из Богданца и де Лорш.

– Ах, это вы, пан рыцарь, – таинственным голосом произнес ксёндз, подходя к Повале. – Взгляните на луну, посмотрите, что там творится. Это вещая, чудесная ночь!

Рыцари подняли голову и стали глядеть на луну, которая уже побледнела и склонялась к закату.

– Ничего не могу разобрать! – сказал Повала. – А что вы видите?

– Монах в капюшоне сражается с королем в короне! Посмотрите! Вон там! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! О, как страшно они бьются... Боже, будь милостив к нам, грешным!

Тишина воцарилась вокруг, все затаили дыхание.

– Смотрите, смотрите! – кричал ксёндз.

– Правда! Что-то видно! – сказал Мацько.

– Правда! Правда! – подтвердили другие.

– О! Король повалил монаха, – вскрикнул внезапно клобуцкий настоятель, – поставил на него ногу! Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков!

В эту минуту большая черная туча закрыла луну, и стало темно. Только от костров кровавыми полосами ложились поперек дороги трепетные отблески пламени.

Рыцари двинулись дальше.

– Вы что-нибудь видели? – спросил Повала, когда они отделились от толпы.

– Сперва ничего, – ответил Мацько, – а потом я ясно видел и короля, и монаха.

– И я.

– И я.

– Это знамение, – произнес Повала. – Видно, невзирая на слезы нашего короля, мира не будет.

– И битва будет такая, какой люди не запомнят, – прибавил Мацько.

И они в молчании поехали дальше, воодушевленные и торжественные.

Они уже подъезжали к шатру господина де Лорша, когда снова поднялся ураган такой силы, что в одно мгновение разметал костры мазуров. Тысячи головней, пылающих щепок и искр закружились в воздухе, и всё кругом окуталось клубами дыма.

– Ну и буря! – воскликнул Збышко, опуская епанчу, которую порывом ветра закинуло ему на голову.

– А в буре как будто стоны слышны и рыдания.

– Скоро рассветет, но никто не знает, что принесет ему грядущий день, – прибавил де Лорш.

L

Ветер к утру не только не стих, но усилился, так что нельзя было раскинуть шатер, в котором король с самого начала похода слушал каждый день три обедни. Прибежал наконец Витовт, стал просить и молить отложить службу до более подходящего времени, когда войско сможет укрыться в лесу, и не задерживать выступления. Волей-неволей пришлось покориться.

С восходом солнца войско лавой двинулось вперед, а за ним – необозримые вереницы повозок. Через час ветер поутих, и хорунжие смогли развернуть хоругви. Всё поле кругом, насколько хватает глаз, покрылось словно пестрыми цветами. Не окинуть глазами было эту рать и лес знамен, под которыми двигались вперед полки. Шла краковская земля под красной хоругвью с белым орлом в короне; это была главная хоругвь всего королевства, великое знамя всего войска. Нес его Марцин из Вроцимовиц, герба Пулкозы, могучий и славный рыцарь. Далее шли королевские полки, один под двойным литовским крестом, другой под Погоней. Под знаменем Георгия Победоносца двигался сильный отряд иноземных наемников и охотников, состоявший преимущественно из чехов и моравов. На войну их много пришло, вся сорок девятая хоругвь состояла из одних моравов и чехов. Дикие и необузданные, особенно в пехоте, которая следовала за копейщиками, они были, однако, столь закалены в бою и с такой яростью бросались на врага, что все прочие пешие воины,

сшибаясь с ними, отскакивали от них, как собака от ежа. Оружием им служили бердыши, косы, секиры и особенно железные чеканы; действовали они ими просто с устрашающей силой. Нанимались чехи и моравы ко всякому, кто платил деньги, ибо война, грабёж и сеча были их родной стихией.

Рядом с ними шли под своими знаменами шестнадцать хоругвей польских земель, в том числе одна перемышльская, одна львовская, одна галицкая и три подольские, а за ними пехота тех же земель, вооруженная больше рогатинами и косами. Мазовецкие князья, Януш и Земовит, вели двадцать первую, двадцать вторую и двадцать третью хоругви[42]. За ними шли двадцать две хоругви епископов и вельмож: Яська из Тарнова, Ендрека из Тенчина, Спытка Леливы и Кшона из Острова, Миколая из Михалова, Збигнева из Бжезя, Кшона из Козихглов, Кубы из Концеполя, Яська Лигензы, Кмиты и Заклики, а кроме того, родовые хоругви Грифитов, Бобовских, Козих Рогов и многих других, которые выходили на войну под хоругвями с одним гербом, и клич у них был тоже один.

Земля расцвела под ними, как расцветают весной луга. Волна за волной текли кони и люди; над ними колыхался лес копий с пестрыми, словно цветочки, значками, а в хвосте выступали в облаках пыли пешие воины городов и деревень. Все знали, что идут на страшный бой, но знали, что это их долг, и с радостью шли вперед.

На правом крыле шли хоругви Витовта под разноцветными знаменами, но с одинаковым изображением литовской Погони.[43] Не окинуть взором было всю эту рать, которая растянулась вширь среди полей и лесов на целую немецкую милю.

К полудню войско подошло к деревням Логдау и Танненберг и остановилось на опушке леса. Место как будто было удобное для отдыха, защищенное от неожиданного нападения; с левой стороны его ограждал плес Домбровского озера, с правой – озеро Любень, а впереди открывалось поле шириною с милю. Посреди этого поля, плавно поднимавшегося к западу, зеленели болотистые леса Грюнвальда, а поодаль серели соломенные крыши и пустые унылые перелogi Танненберга. Если бы крестоносцы стали спускаться к лесам с возвышенности, их легко можно было бы заметить, но поляки не ждали врагов раньше следующего дня. Войско остановилось здесь только на отдых; искушенный в военном деле Зындрам из Машковиц даже в походе сохранял боевой порядок, и потому хоругви расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к бою. По приказу военачальника в сторону Грюнвальда, Танненберга и дальше были посланы гонцы на легких и быстроногих конях, чтобы разведать окрестности, а тем временем для Ягайла, который жаждал молитвы, на высоком берегу озера Любень раскинули часовенный шатер, чтобы король мог прослушать свои три обедни.

Ягайло, Витовт, князья мазовецкие и военный совет направились в часовню. Перед ней собрались славнейшие рыцари, чтобы накануне решительного дня поручить себя Богу да и поглядеть на короля. Все видели, как он шел в серой походной одежде, на суровом лице его лежала печать тяжелых забот. Годы мало изменили его, не покрыли морщинами лица и не убелили волос, которые он и сейчас заправлял за уши таким же быстрым движением, как и тогда, когда Збышко впервые увидел его в Кракове. Но теперь король шел, словно согбенный страшной ответственностью, тяготеющей на нем, словно погруженный в глубокую печаль. В войске говорили, что он всё время плачет о христианской крови, которую придется пролить; так оно на самом деле и было. Ягайло содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, у которых крест на плащах и хоругвях, и всей душой жаждал мира.

Напрасно польские вельможи и даже венгерские посредники, Сцибор и Гара,[44]

обращали его внимание на то, что магистр Ульрих, обуянный гордыней, как и все крестоносцы, готов вызвать на бой весь мир; напрасно собственный посол короля, Петр Кожбуг, клялся крестом господним и рыбами своего герба, что крестоносцы и слышать не хотят о мире, что они глумились и издевались над единственным человеком, который склонял их к миру, – над гневским комтуром, графом фон Венде, – король всё ещё лелеял надежду, что враг признает правоту его требований, пожалеет людскую кровь и страшный раздор окончится справедливым миром.

И теперь король направился в часовню молиться о мире, ибо страшной тревогой была объята его простая и добрая душа. Когда-то он сам предавал огню и мечу земли крестоносцев, но он был тогда языческим литовским князем, а теперь, увидев полыхающие селения, пепелища, слезы и кровь, он, польский король и христианин, устрасился гнева Божия, а ведь это было только начало войны. О, если бы на этом остановиться! Но не сегодня-завтра народы схватятся, и земля напитается кровью. Воистину, творит беззаконие враг, но он носит крест на плаще и столь великие святыни охраняют его, что при мысли о них трепещет душа христианина. Все войско со страхом думало о них, и не копий, не мечей, не секир боялись поляки, а прежде всего этих священных останков. «Как же поднять руку на магистра, – говорили рыцари, не знавшие страха, – коли на панцире у него ковчежец, а в нём святые кости и древо животворящего креста господня!» Да, Витовт жаждал битвы, он толкал Ягайла к войне и рвался в бой, но исполненный страха Божия король просто трепетал при мысли о тех силах, которыми орден прикрывал свои беззакония.

LI

Ксендз Бартош из Клобуцка уже кончил первую обедню, калишский ксёндз Ярош должен был скоро начать вторую, [45] и король вышел из шатра поразмять ноги, затекшие от стояния на коленях; в эту минуту на взмыленном коне ураганом прискакал шляхтич Ганко Остойчик и крикнул, не успев соскочить с коня:

– Всемиловейший король, немцы идут!

Рыцари при этих словах схватились за оружие, король же изменился в лице, умолк на мгновение, а затем воскликнул:

– Слава Иисусу Христу! Где ты их видел, сколько хоругвей?

– Я видел одну хоругвь у Грюнвальда, – задыхаясь, ответил Ганко, – но за холмом пыль поднималась, их, верно, больше шло!

– Слава Иисусу Христу! – повторил король.

При первых же словах Ганки кровь бросилась Витовту в лицо, глаза его разгорелись, как угли; повернувшись к придворным, великий князь крикнул:

– Отменить вторую обедню, коня мне!

Но король положил ему руку на плечо и сказал:

– Брат, ты поезжай, а я останусь и прослушаю вторую обедню.

Витовт и Зындрам из Машковиц вскочили на коней, но не успели они повернуть к лагерю, как примчался второй гонец, шляхтич Петр Окша из Влостова, и закричал ещё издали:

– Немцы! Немцы! Я видел две хоругви!

– По коням! – раздались голоса в толпе придворных и рыцарей.

Не успел Петр кончить, как снова раздался конский топот и прискакал третий гонец, за ним четвертый, пятый и шестой: все видели, что движутся всё новые и новые немецкие хоругви. Сомнений не было: вся рать крестоносцев преграждала дорогу королевскому войску.

Рыцари во весь дух понеслись к своим хоругвям. С королем у походной часовни осталась только горсточка придворных, ксёндзов и оруженосцев. В эту минуту колокольчик возвестил, что калишский ксёндз выходит служить вторую обедню. Ягайло воздел руки, молитвенно сложил их и, подняв очи горе, медленным шагом направился в шатер.

Когда кончилась обедня и он снова вышел из шатра, то собственными глазами увидел, что гонцы говорили правду: на краю широкой равнины, плавно поднимавшейся в гору, что-то темнело словно лес вырос нежданно на пустынных полях, а над лесом, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, развевались хоругви. Ещё дальше, за Грюнвальдом и Танненбергом, к небу поднималась туча пыли. Король окинул взором всю грозную эту картину, а затем спросил у ксёндза подканцлера Миколая:

– Какого нынче святого мы поминаем?

– Нынче день апостолов, – ответил ксёндз подканцлер.

Король вздохнул.

– Итак, день апостолов станет последним днем жизни для многих христиан, которые схватятся сегодня на этом поле.

И он указал рукой на широкую пустынную равнину, посредине которой, на полпути к Танненбергу, виднелась лишь купа вековых дубов.

Тем временем королю подвели коня, а в отдалении показались шестьдесят копейщиков, которых Зындрам из Машковиц прислал для личной охраны его величества.

Королевской стражей предводительствовал Александр[46], младший сын плоцкого князя, брат того самого Земовита, который обладал особым даром полководца и заседал в военном совете. Следующее за ним место занимал в охране литовский племянник государя, Зигмунт Корибут[47], юноша беспокойный, но подававший большие надежды, которому пророчили великую будущность. Из рыцарей наиболее прославленными были: Ясько Монжик из Домбровы, сущий великан, очень схожий статью с Пашком из Бискупиц, а в силе мало чём уступавший самому Завише Чарному; чешский барон Жулава, щуплый, худощавый, но на диво искусный воитель, прославившийся своими поединками при чешском и венгерском дворах, где он положил десятка два австрийских рыцарей; и другой чех, Сокол, лучник над лучниками; Бениаш Веруш из Великой Польши; Петр Миланский; литовский боярин Сенко из Погоста, отец которого, Петр, предводительствовал одной из смоленских хоругвей; родич короля, князь Федушко; князь Ямонт и, наконец, польские рыцари, «избранные из тысяч», которые поклялись до последней капли крови защищать короля и охранять

его в битве от опасности. Непосредственно при особе короля находились: ксѣндз подканцлер Миколай и писец – Збышко из Олесницы, ученый юноша, искусный в чтении и письме, и вместе с тем сильный, как вепрь. Оружие государя охраняли три оруженосца: Чайка из Нового Двора, Миколай из Моравицы и Данилко Русин, который держал лук короля и колчан. В свите состояло также десятка два придворных, которые на быстрых скакунах должны были доставлять войску приказы.

Оруженосцы облачили короля в пышные блестящие доспехи, а затем подвели ему гнедого коня, тоже «избранного из тысяч», который в знак доброго предзнаменования фыркал из-под стального налобника и, оглашая воздух ржанием, приседал, будто птица, готовая взмыть кверху. Почувствовав под собой коня, а в руке копье, король мгновенно преобразился. Выражение грусти пропало на его лице, маленькие черные глаза сверкнули огнем, на щеках заиграл румянец; но это длилось лишь один краткий миг – когда ксѣндз подканцлер стал осенять его крестом, король снова стал мрачен и смиренно склонил голову в серебристом шлеме.

Тем временем немецкое войско, медленно спускаясь с холмов, миновало Грюнвальд, миновало Танненберг и в полном боевом порядке остановилось посредине поля. Снизу из польского лагеря были прекрасно видны грозные ряды рослых, закованных в броню коней и рыцарей. Когда ветер не так сильно развеивал хоругви, зоркий глаз мог даже явственно различить знаки, которыми были расшиты доспехи: кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, агнцы, головы зубров и медведей.

Старый Мацько и Збышко, которые воевали уже с крестоносцами и знали их войско и гербы, показывали своим серадзянам две хоругви магистра, в которых служили цвет и гордость рыцарства, главную хоругвь ордена, которой предводительствовал Фридрих фон Валленрод, могучую хоругвь Георгия Победоносца, под знаменем с красным крестом на белом поле, и множество других хоругвей крестоносцев. Мацько и Збышко не знали только знамен разных иноземных гостей, тысячи которых стекались сюда со всех концов света: из Австрии, Баварии, Швабии и Швейцарии, из Бургундии с её прославленным рыцарством, из богатой Фландрии, из солнечной Франции, о рыцарях которой Мацько в свое время рассказывал, что, даже поверженные в прах, они говорят дерзкие слова, из заморской Англии – родины метких лучников, и даже из далекой Испании, где в непрерывных сражениях с сарацинами расцвели, как нигде, мужество и рыцарская доблесть.

При мысли о том, что через минуту им придется схватиться с немцами и всем этим блестящим рыцарством, кровь закипела в жилах непреклонных шляхтичей из Серадза, Концеполя, Кшесни, Богданца, Рогова и Бжозовой и из прочих польских земель. У стариков лица стали суровы и сосредоточены, они знали, какой тяжкий и суровый ждет их бранный труд. Зато у молодых сердца забились, как бьются, скуля, на своре собаки, завидев издали дикого зверя. Одни крепче сжимали копья, рукояти мечей и секир и осаживали коней, словно готовясь к прыжку; другие пылали; иные дышали тяжело, словно им стал вдруг тесен панцирь. Однако опытные воители успокаивали их. «Не минует сия чаша и вас, – говорили они, – хватит на всех, дай только Бог, чтобы не стала она чашей смертной».

Озирая с холмов лесистую низменность, крестоносцы видели на опушке леса лишь десятка два польских хоругвей и не знали, всё ли это королевское войско. Правда, слева, у озера, тоже виднелись серые толпы воинов, а в кустах сверкали как будто сулицы, то есть легкие копья литвинов. Но это мог быть и крупный разведочный польский отряд. И лишь беглецы из разрушенного Гильгенбурга, десятка два которых привели к магистру, заверили, что крестоносцам противостоит всё

польско-литовское войско.

Но напрасно говорили беглецы о том, сколь сильно это войско. Магистр Ульрих не хотел им верить, ибо с самого начала этой войны он верил только в то, что было ему на руку и предвещало несомненную победу. Разведчиков и гонцов он не рассылал, полагая, что решительная битва всё равно должна разыгаться, а кончиться она может только страшным разгромом врага. Уверенный в силе своего неисчислимого войска, какого ещё ни один магистр не выводил доселе на битву, он пренебрегал врагом; когда же гневский комтур, который по собственному почину производил разведку, докладывал ему, что у Ягайла войско всё же больше, магистр отвечал ему:

– Что это за войско! Только с поляками придется повозиться, а все прочие – будь их хоть тьма там – просто сброд, который не оружием ловко орудует, а ложкой.

Двигаясь с неисчислимой силой в бой, магистр вспыхнул от радости, когда, представ вдруг перед неприятелем, увидел пурпурную хоругвь всего королевства, приметную на темном фоне леса, и перестал сомневаться в том, что перед ним стоят главные силы короля.

Но немцы не могли ударить на поляков, стоявших под лесом и в самом лесу, ибо рыцарство было страшным только в открытом поле, а сражаться в лесной чаще не любило и не умело.

Магистр созвал военачальников на краткий совет, чтобы решить, как выманить врага из лесу.

– Клянусь Георгием Победоносцем! – воскликнул он. – Мы проехали без отдыха две мили, изнываем от жары, обливаемся под доспехами потом. Не станем же мы ждать, пока врагу вздумается выйти в поле.

В ответ на это умудренный годами и опытом граф Венде сказал:

– Посмеялись уже здесь над моими словами, и посмеялись те, кто, чего доброго, побегит с этого поля, на котором я сложу свою голову. – Тут он бросил взгляд на Вернера фон Теттингена. – И всё же я скажу то, что повелевают мне сказать совесть и любовь к ордену. Нет, не трусы поляки; знаю я, что это король до последней минуты ждет посланцев мира.

Ничего не ответил ему Вернер фон Теттинген, только фыркнул пренебрежительно; но речи Венде не по вкусу пришлись магистру.

– Разве время теперь думать о мире! – воскликнул он. – О другом надо держать нам совет.

– Делу, которое угодно Богу, всегда время, – возразил фон Венде.

Но свирепый члуховский комтур Генрих, который поклялся, что прикажет носить перед собою два обнаженных меча до тех пор, пока не обагрит их польскою кровью, обратился на магистра свое жирное, лоснящееся от пота лицо и вскричал в диком гневе:

– По мне, лучше смерть, чем позор! Я один ударю с этими мечами на всё польское войско!

Ульрих насупился.

– Ты непокорствуешь, – сказал он.

А затем обратился к комтурам:

– Подумайте, как выманить врага из лесу.

Каждый военачальник давал свой совет; но комтурам и славнейшим иноземным рыцарям понравился совет Герсдорфа отправить к королю двух герольдов, которые возвестили бы, что магистр посылает ему два меча и вызывает поляков на смертный бой, а коли мало им поля, то он, магистр, отойдет с войском, чтобы дать и им место.

Не успел король покинуть берег озера и направиться на левое крыло к польским хоругвям, где он должен был опоясать многих рыцарей, как ему дали вдруг знать, что со стороны войска крестоносцев едут два герольда.

Сердце Владислава преисполнилось надеждой:

– А может, они едут со справедливым миром!

– Дай-то Бог! – ответили духовные.

Король послал за Витовтом, но великий князь был занят построением своих хоругвей и не мог прибыть, а герольды тем временем не спеша приближались к лагерю.

В ярких лучах солнца было ясно видно, как они подъезжают на рослых, покрытых попонами боевых конях; у одного из них на щите был императорский черный орел на золотом поле, у другого, который был герольдом князя щецинского[48], – гриф на белом поле. Ряды воинов расступились перед ними, и, спешившись, герольды через минуту предстали перед великим королем; склонив головы и воздав тем самым ему почесть, они приступили к делу.

– Магистр Ульрих, – сказал первый герольд, – вызывает вас, ваше величество, и князя Витовта на смертный бой и, дабы поднять дух ваш, а храбрости у вас, видно, мало, посылает вам эти два обнаженных меча.

С этими словами он сложил мечи у королевских ног. Ясько Монжик из Домбровы перевел его слова королю, и как только он кончил переводить, выступил вперед второй герольд, с грифом на щите, и сказал:

– Магистр Ульрих повелел возвестить вам, государь, что, коли мало вам поля для битвы, он отойдет со своим войском, дабы не тратили вы в лесу праздно время.

Ясько Монжик перевел и его слова; воцарилась тишина, только рыцари королевской свиты, услышав эти дерзостные и оскорбительные речи, заскрежетали тихо зубами.

Последняя надежда Ягайла пропала. Он ожидал посланцев мира и согласия, а перед ним предстали посланцы гордыни и войны.

Подняв горе увлажненные слезами глаза, он ответил:

– Нет у нас недостатка в мечах; но я принимаю и эти, как предвозвестие победы,



которое через вас ниспосылает мне сам Бог. И поле битвы определит Всевышний, к суду коего я взываю, коему жалобу приношу на обиду, нанесенную мне, на беззаконие ваше и гордыню, аминь.

И две крупные слезы скатились по его смуглым щекам.

Но тут в толпе рыцарей раздались голоса:

– Немцы отходят. Дают нам поле!

Герольды удалились, и через минуту их увидели снова; они поднимались в гору на своих рослых конях, и шелковые одежды, надетые поверх доспехов, переливались в солнечных лучах.

Польское войско стройными боевыми порядками выступило из лесной чащи. В передних рядах шли самые могучие рыцари, за ними, отступив, – главная хоругвь, а уж за главной хоругвью – пешие и наемные воины. Таким образом, между рядами войска образовались две длинные улицы, вдоль которых пролетали на конях Зындром из Машковиц и Витовт. Последний без шлема, в блестящих доспехах был подобен зловещей звезде или пламени, гонимому вихрем.

Рыцари втягивали полной грудью воздух и крепче усаживались в седлах.

Вот-вот должна была начаться битва.

Тем временем магистр озирает королевское войско, которое выступало из лесу.

Долго глядел он на бесчисленные его ряды, на два распростершихся, словно у огромной птицы, крыла, на радужные переливы колеблемых ветром хоругвей, и вдруг сердце его сжалось от незнакомого страшного предчувствия. Быть может, духовному взору его представились горы трупов и реки крови. Он не страшился людей; но, быть может, убоялся Бога, который там, на небесах, держал уже чаши весов победы...

Впервые пришло ему на ум, что настал страшный день, и только сейчас он почувствовал, сколь безмерна тяжесть ответственности, которую принял он на свои плечи.

Лицо его побледнело, губы задрожали, и из глаз полились слезы. Комтуры с изумлением смотрели на своего вождя.

– Что с вами? – спросил граф Венде.

– Вот уж поистине подходящее время для слез! – воскликнул комтур члуховский, свирепый Генрих.

А великий комтур Куно Лихтенштейн произнес, выпятив губы:

– Я открыто осуждаю вас за это, магистр, ибо ныне вам приличествует поднимать дух рыцарей, а не расслаблять сердца их. Воистину, не таким мы доныне видели вас.

Но магистр не мог унять слезы, и они всё текли на его черную бороду, словно это не он плакал, а кто-то другой.

Наконец, совладав с собою и обратив суровый взор на комтуров, он крикнул:

– К хоругвям!

И так властен был этот призыв, что все бросились к своим хоругвям, а он протянул руку и приказал оруженосцу:

– Подай мне шлем.

У воинов обеих ратей уже давно молотом стучали сердца, а трубы всё ещё не давали сигнала к бою.

Наступила минута ожидания, которая всем показалась тягостней самой битвы. Между немцами и королевским войском, ближе к Танненбергу, высилась в поле купа вековых, дубов, на которые взобрались местные крестьяне, чтобы поглядеть на схватку несметных ратей, каких мир не видывал с незапамятных времен. Одна только эта купа дубов и видна была в поле, а так всё оно было пустынным, унылым и серым, подобным мёртвой степи. Только ветер гулял по нему да над ним тихо витала смерть. Взоры рыцарей невольно обращались к этой зловещей, безмолвной равнине. Тучи, проносясь по небу, по временам застилали солнце, и тогда на равнину падала тень смерти.

И вдруг поднялась буря. Она зашумела в лесу, сорвала множество листьев, ринулась в поле, подхватила сухие стебли трав, подняла тучи пыли и швырнула их в глаза крестоносцам. И в эту минуту воздух сотрясли звуки труб, рогов и пищалок, и всё литовское крыло ринулось вперед, словно несметная стая птиц. Литвины, по своему обычаю, с места пустились вскачь. Вытянув шеи и прижав уши, кони во весь дух мчались вперед; размахивая мечами и сулицами, всадники с оглушительным криком летели на левое крыло крестоносцев.

Именно там был магистр. Тревога его смирилась, слезы иссякли, глаза сверкали. Увидев тьму литвинов, он обратился к Фридриху Валленроду, который предводительствовал левым крылом:

– Витовт выступил первым. Начинайте и вы во имя Бога.

И манием правой руки он двинул в бой четырнадцать хоругвей железного рыцарства.

– Gott mit uns![49] – воскликнул Валленрод.

Наклонив копья, хоругви сперва тронулись шагом. Но как сброшенный с горы камень набирает при падении всё большую скорость, так и крестоносцы перешли с шага на рысь, затем на галоп и мчались страшные, неукротимые, словно лавина, которая должна всё сокрушить, всё смести с лица земли, что только встретится на её пути.

Земля дрожала и сотрясалась под ними.

С минуты на минуту битва должна была разлиться и разгореться по всему строю, и польские хоругви запели старую боевую песнь святого Войцеха[50]. Тысячи одетых броней голов поднялись к небу, тысячи очей устремились ввысь, и из тысяч грудей вырвался один могучий голос, подобный небесному грому:

Божья мать,  
Дева мать,  
О пречистая Мария,  
Ты Христа нам Иисуса  
Ниспошли, низведи...  
Кирие элейсон!..

И они тотчас ощутили силу в своих жилах и в сердце своем готовность принять смерть. И такая неодолимая победная мощь слышалась в их голосах, словно по небу и в самом деле перекатывался гром. Колыхнулись копыта в руках рыцарей, колыхнулись хоругви и значки, колыхнулся воздух, затрепетали ветви в лесу, разбуженное эхо отозвалось в его недрах и, как бы вторя песне, понесло её по озерам и лугам, по всей необъятной шири:

Ниспошли, низведи...  
Кирие элейсон!..  
А поляки всё пели:

Христе, сыне Божий, на тя уповаем,  
Услыши глас наш, к тебе взываем,  
Услышь, господи, моленья,  
Ниспошли благословенье,  
Житие во смирении  
И по смерти спасение...  
Кирие элейсон!..

И эхо снова подхватило: «Кирие элейсон!» А на правом крыле, всё приближаясь к середине поля, уже кипела жестокая битва.

Гром, ржание коней, страшные крики воителей смешались со звуками песни. Но по временам крики стихали, словно у людей спирало дух, и тогда снова можно было услышать гром голосов:

Адам, ты у Бога в совете,  
Взывают к тебе твои дети,  
Исполнили мы обеты,  
В чертог нас райский прими!  
Там радость,  
Там сладость,  
Там Бога мы узрим,  
Всевышнего узрим...  
Кирие элейсон!

И снова эхом раскатилось по лесу: «Кирие элейсон!» Крики на правом крыле стали громче; но никто не мог ни увидеть, ни рассказать, что там творится, ибо магистр Ульрих, наблюдавший с холма за битвой, обрушил в эту минуту на поляков двадцать хоругвей под предводительством Лихтенштейна.

К передним рядам поляков, состоявшим из прославленных рыцарей, ураганом примчался Зындрам из Машковиц и, указывая мечом на надвигающуюся тучу немцев, крикнул так громко, что кони в первом ряду присели на задние ноги:

– Вперед! На врага!

Припав к шеям коней и наставив копыта, рыцари ринулись вперед.

Но Литва дрогнула под страшным натиском немцев. Полегли в бою первые ряды лучше вооруженных знатных бояр. Следующие яростно схватились с крестоносцами; но никакое мужество, никакая стойкость, ничто не могло спасти их от разгрома и гибели. Да и как могло быть иначе, когда на одной стороне сражались рыцари, закованные в броню, на защищенных броней конях, а на другой – крепкий и рослый народ, но на маленьких лошадках и покрытый одними звериными шкурами?.. Тщетно упорный литвин силился добраться до шкуры немца. Сулицы, сабли, рогатины, палицы с насаженными на них кремнями или гвоздями отскакивали от железных доспехов, словно от каменной глыбы или замковой стены. Люди и кони теснили злосчастные рати Витовта, их рубили мечи и секиры, пронзали и крушили бердыши, топтали конские копыта. Тщетно князь Витовт бросал на смерть всё новые и новые рати, тщетно было упорство, напрасно презрение к смерти, напрасны реки крови! Сначала рассыпались татары, бессарабы и валахи, а вскоре дала трещину стена литвинов, и дикое смятение охватило всех воинов.

Большая часть литовского войска бежала в сторону озера Любень, а за ней бросились в погоню главные немецкие силы; тысячами косили крестоносцы бегущих, так что весь берег озера усеялся трупами.

Другая, меньшая часть войска Витовта, состоявшая из трех смоленских полков, отступала к польскому крылу, теснимая шестью хоругвями немцев, к которым присоединились потом и те, что преследовали литвинов. Но смоленцы были лучше вооружены и упорно сдерживали натиск врага. Битва обратилась в кровавую сечу. За каждый шаг, за каждую пядь земли лились реки крови. Один из смоленских полков был почти совсем уничтожен. Два другие боролись с яростью и отчаянием. Но воодушевленных победой немцев уже ничто не могло остановить. Некоторые их хоругви пришли в исступление. Многие рыцари, вонзая шпоры в бока коням и поднимая своих скакунов на дыбы, очертя голову бросались с занесенной секирой или мечом в самую гущу врагов. Удары их мечей и бердышей стали страшными по силе, и вся лавина, тесня, топча и круша смоленских витязей, зашла наконец во фланг переднему и главному польским отрядам, которые уже час сражались с немцами, предводимыми Куно Лихтенштейном.

Но с поляками Лихтенштейну не так легко было справиться, потому что и броня, и кони были у них лишь немногим хуже, а рыцарская выучка одинакова. Польские тяжелые копья остановили немцев и отбросили их назад; первыми на крестоносцев обрушились три грозные хоругви: краковская, конная под предводительством Ендрека из Брохоциц и королевская, которой предводительствовал Повала из Тачева. Однако самая жестокая битва разгорелась только после того, как рыцари, переломав копья, схватились за мечи и секиры. Щит ударялся о щит, сшибались воители, падали кони, повергались знамена; под ударами мечей и обухов трещали шлемы, наплечники и панцири; обагрялось кровью железо, и рыцари валялись с седел, как подрубленные сосны. Те крестоносцы, которые уже сражались с поляками под Вильно, знали, как «дик» и «необуздан» этот народ; но потрясенные новички и иноземные гости испытали чувство, подобное страху. Не один из них, невольно осадив коня, потерянно глядел вперед и погибал от удара польской длани, так и не успев сообразить, что же ему делать. Словно град, который сыплется из медно-черной тучи, безжалостно выбивая ржаное поле, сыпались на врага страшные удары; разили мечи, разили топоры, разили секиры, разили без пощады, без отдыха и передышки; лязгали, словно в кузнице, железные доспехи; смерть, как вихрь, гасила жизни; стон рвался из груди, потухали глаза, смертельная бледность разливалась по лицам, и молодые воины погружались в вечный сон.

Летели искры, высеченные железом, обломки копий, значки, страусовые и павлиньи перья. Конские копыта скользили по лежавшим на земле окровавленным панцирям и убитым коням. Раненых кони топтали подковами.

Но никто не пал ещё из прославленных польских рыцарей; выкрикивая имена своих патронов или родовые кличи, они шли вперед в шуме и смятении, как огонь идет по сухой степи, пожирая кусты и травы. Лис из Тарговиска первый напал на могучего комтура из Остероды, Гамрата, который, потеряв щит, обвинил руку своим белым плащом и прикрывался им от ударов.

Лезвием меча Лис рассек плащ и наплечник и отрубил Гамрату руку, а другим ударом проткнул ему живот так, что острие уперлось в спинной хребет. Увидев гибель вождя, воины из Остероды в тревоге подняли крик; но Лис ринулся на них, как орел на журавлей. Сташко из Харбимовиц и Домарат из Кобылян бросились к нему на помощь, и втроем они в ярости щелкали крестоносцев, словно медведи, когда, забравшись на поле гороха, они лущат молодые стручки.

Там же Пашко Злодзей из Бискупиц убил прославленного брата Кунца Адельсбаха. Увидев великана с окровавленной секирой, к которой вместе с кровью прилипли человеческие волосы, Кунц испугался и хотел сдаться в плен. Но Пашко, не расслышав его в шуме, привстал на стременах и, будто яблоко, надвое рассек ему голову вместе со стальным шлемом. Вслед за тем он кончил Леха из Мекленбурга, Клингенштейна, шваба Гельмсдорфа из знатного графского рода, Лимпаху и Нахтервица из Могунции; объятые ужасом немцы бросились от него в стороны, а он всё крушил их, словно стену, которая уже валится, и видно было только, как, замахиваясь секирой, он поднимается в седле, как сверкает секира и вслед за ударом немецкий шлем валится под ноги коням.

Там же могучий Енджей из Брохоциц, сломав меч на голове рыцаря с совой на щите и забралом в виде совиной головы, схватил немца за руку, сломал ему её, вырвал у него меч и мгновенно зарубил врага. Юного рыцаря Дингейма, почти ребенка, который остался уже без шлема и смотрел на него детскими глазами, Енджей пожалел и взял в плен. Он бросил Дингейма своим оруженосцам, не подозревая, что берет в плен будущего зятя: юный рыцарь впоследствии женился на его дочери и навсегда остался в Польше.

Немцы в ярости бросились на Енджея, чтобы отбить молодого Дингейма, который происходил из знатного рода прирейнских графов; но доблестные рыцари Сумик из Надброжа, два брата из Пломькова, Добко Охвя и Зых Пикна осадили их, как лев осаживает быка, и отбросили к хоругви Георгия Победоносца, неся смерть и опустошение в ряды крестоносцев.

С иноземными рыцарями схватилась королевская хоругвь, которой предводительствовал Целек из Желехова. Повала из Тачева, обладавший нечеловеческой силой, опрокидывал здесь людей и коней, разбивал, как яичные скорлупки, железные шлемы, один бросался на целые полчища, а рядом с ним шли Лешко из Горая, другой Повала, из Выгуча, Мстислав из Скинна и чехи Сокол и Збиславек. Долго сражались они, ибо на одну польскую хоругвь ударили сразу три вражеских; но когда на помощь полякам пришла двадцать седьмая хоругвь Яська из Тарнова, силы стали примерно равными и крестоносцы были отброшены на половину полета стрелы, пущенной из самострела.

Ещё дальше отбросила их большая краковская хоругвь, которой предводительствовал

сам Зындрам; в голове её шел с прославленными рыцарями самый грозный из всех поляков – Завиша Чарный, герба Сулима. Бок о бок с ним сражались его брат Фарурей, Флориан Елитчик из Корытницы, Скарбек из Гур, славный Лис из Тарговиска, Пашко Злодзей, Ян Наленч и Стах из Харбимовиц. От страшной руки Завиши гибли храбрые воины, словно навстречу им шла в черных доспехах сама смерть, а он бился, сдвинув брови и сжав губы, спокойный, внимательный, словно делал самое обыкновенное дело; время от времени он мерно двигал щитом, отражая удар; но за каждым взмахом его меча раздавался ужасный крик сраженного рыцаря, а он даже не оглядывался и шел вперед, разя врага, словно черная туча, которая непрерывно разражается громом.

Познанская хоругвь, на знамени которой был орел без короны, тоже билась не на жизнь, а на смерть, а архиепископская и три мазовецких соревновались с нею. Но и все прочие старались превзойти одна другую в упорстве, отваге и стремительности. В серадзской хоругви молодой Збышко из Богданца бросался, как вепрь, в самую гущу врагов, а рядом с ним шел старый грозный Мацько и разил немцев, нанося рассчитанные удары, словно волк, который если кусает, то только насмерть.

Он повсюду искал глазами Куно Лихтенштейна, но не мог углядеть его во всеобщем смятении и выбирал пока других рыцарей, одетых побогаче, и худо было тому, кто встречался с ним. Неподалеку от обоих богданецких рыцарей ожесточенно бился мрачный Чтан из Рогова. В первой же стычке у него был разбит шлем, и теперь он сражался с обнаженной головой, пугая своим окровавленным волосатым лицом немцев, которым казалось, что они видят не человека, а какое-то лесное чудовище.

Сотни и тысячи рыцарей полегли уже с обеих сторон, когда наконец под ударами разъяренных поляков дрогнули немецкие ряды; но тут произошло нечто такое, что в одно мгновение могло решить участь всей битвы.

Возвращаясь из погони за литвинами, воодушевленные и опьяненные победой, немецкие хоругви ударили сбоку на польское крыло.

Уверенные, что всё королевское войско уже разбито и одержана решительная победа, они возвращались беспорядочными толпами с криками и пением и вдруг увидели жестокую сечу и поляков, готовых торжествовать победу, которые окружали немецкие полчища.

Нагнув головы, крестоносцы сквозь решётки забрал уставились в изумлении на открывшуюся перед ними картину, а затем, вонзив шпоры в бока коням, ринулись в самое пекло.

Одна за другой мчались их толпы, и вскоре тысячи монахов-рыцарей обрушились на уставшие уже польские хоругви. Увидев, что пришла подмога, немцы радостно закричали и с новой яростью ударили на поляков. По всему строю закипела ожесточенная битва, земля обагрилась потоками крови, небо омрачилось, и послышались глухие раскаты грома, словно сам Бог пожелал вмешаться в ряды сражающихся.

Победа стала склоняться на сторону немцев... В польских рядах начиналось смятение, и иступленные полчища крестоносцев уже дружно запели победную песнь:

Christ ist erstanden!..[51] Но в это время произошло нечто ещё более страшное.

Один из поверженных в прах крестоносцев вспорол ножом брюхо коня, на котором

сидел Марцин из Вроцимовиц, держа большую, священную для всего войска краковскую хоругвь с орлом в короне. Мгновенно рухнули скакун и всадник, а вместе с ними заколебалась и упала хоругвь.

Миг один – и сотни железных рук протянулись за нею, а немцы заревели от восторга. Им казалось, что это уже конец, что страх овладеет теперь поляками и в рядах их начнется смятение, что приходит для врага час поражения, истребления и резни, а им остается только преследовать и уничтожать бегущих.

Но они жестоко обманулись в своих ожиданиях.

Правда, при виде падающей хоругви у польских воителей вырвался из груди крик отчаяния; но не страх, а ярость звучала в этом отчаянном крике. Слово жаром обдало панцири. Самые грозные рыцари обеих ратей, как разъяренные львы, ринулись к поверженному хорунжему, и буря поднялась вокруг польской хоругви. Люди и кони свились в один чудовищный клубок, в котором мелькали руки, скрежетали мечи, свистели секиры, сталь лязгала о железо, а гром, стоны и дикие крики сраженных слились в один ужасный хор, словно все грешники возопили вдруг из недр преисподней. Столбом взвилась пыль, и из клубов её ничего не видя от страха, вырвались одни кони без всадников, с налитыми кровью глазами и дико развевающимися гривами.

Недолгим был этот бой. Ни один немец не вышел живым из жаркой схватки, и над польским войском снова взвилась отбитая хоругвь. Ветер повеял на нее, развернул полотнище, и хоругвь раскрылась, как огромный цветок, как символ надежды, как символ гнева Божия, наступающего крестоносцев, и победы поляков.

Кликамы торжества приветствовало знамя всё войско и с таким ожесточением ударило на немцев, словно каждая хоругвь стала вдвое больше и сильнее.

Без пощады, без отдыха, ни на миг не переводя дыхания, били крестоносцев поляки, они теснили врагов со всех сторон, преследовали их, безжалостно разили ударами мечей, секир, топоров, дубин, и крестоносцы снова дрогнули и стали отступать. То там, то тут раздавалась мольба о пощаде. То там, то тут из свалки вырывался иноземный рыцарь с потрясенным, побелевшим от страха лицом и бежал куда глаза глядят на обезумевшем своем коне. Большая часть белых плащей, которые рыцари-монахи носили поверх доспехов, валялась уже на земле.

Страшная тревога объяла сердца военачальников ордена, они поняли, что всё их спасение только в магистре, который стоял наготове во главе шестнадцати запасных хоругвей.

И магистр, глядя с холма на битву, тоже понял, что час настал, и послал в бой свои железные хоругви, как вихрь, который насылает тяжелую градовую тучу, несущую гибель и смерть.

Но ещё раньше перед третьим строем польского войска, не принимавшим до этого участия в бою, появился на разгоряченном коне Зындрам из Машковиц, который недремлющим оком озирал всё поле и следил за ходом битвы.

Здесь с польской пехотой стояло несколько рот наемных чехов. Одна из них дрогнула ещё перед началом битвы, но её вовремя пристыдили, и, прогнав своего начальника, она осталась в строю и теперь рвалась в бой, чтобы искупить свою минутную слабость. Но главные силы составляли польские полки, состоявшие из

конных, но не панцирных, бедных шляхтичей, а также из пеших воинов городов и главным образом деревень, которые были вооружены рогатинами, тяжелыми копьями и косами, насаженными торчком на древка.

– К бою, к бою! – кричал могучим голосом Зындром из Машковиц, как молния пролетая вдоль рядов.

– К бою! – повторили младшие военачальники.

Поняв, что пришел их черед, крестьяне уперли в землю древка копий, чеканов и кос и, осенив себя крестным знаменем, поплевали в свои большие натруженные руки.

По всему строю разнесся этот зловещий звук, а затем каждый воин, вздохнув полной грудью, схватился за свое оружие. В эту минуту к Зындрому подскакал гонец с приказом от короля и прерывистым голосом прошептал ему что-то на ухо; повернувшись к пешим воинам, Зындром взмахнул мечом и крикнул:

– Вперед!

– Вперед! Лавой! Равнясь! – раздалась команда военачальников.

– Эй, хлопцы! На немецких псов! Бей их!

И рать потекла. Чтобы не сбиваться с ноги и не ломать строя, все хором повторяли:

– Бо-го-ро-ди-це Де-во, ра-дуй-ся, Бла-го-дат-на-я Ма-рия, Го-сподь с то-бо-ю!..

Они шли, как вешние воды. Шли наемные полки, горожане, крестьяне из Малой и Великой Польши, силезцы, которые перед войной нашли убежище в королевстве, и мазуры из Элка, которые бежали от крестоносцев. всё поле засверкало, заискрилось на солнце от кос и остриев копий.

Но вот они дошли.

– Бей! – крикнули военачальники.

– Ух!

И каждый крякнул, как добрый дровосек, когда первый раз взмахнет топором, и пошли ратники рубить, что было силы.

Гром и крики взметнулись к небесам.

Король, который с холма руководил всей битвой, рассылая во все концы гонцов, и даже охрип, отдавая приказы, увидел наконец, что сражается уже всё войско, и сам стал рваться в бой.

Боясь за священную особу государя, придворные не пускали его. Жулава схватил за узду его коня и не отпустил даже тогда, когда король ударил его копьем по руке. Другие преграждали королю дорогу, заклиная его не ехать, уверяя, что это не решит участи битвы.

А меж тем над королем и всей его свитой нависла грозная опасность.



Следуя примеру хоругвей, которые вернулись после разгрома литвинов, магистр тоже решил напасть на поляков сбоку и пошел в обход; шестнадцать отборных его хоругвей должны были поэтому пройти неподалеку от холма, на котором стоял Владислав Ягайло.

В свите тотчас заметили опасность, но отступить было поздно. Свернули только королевское знамя, да писец короля, Збигнев из Олесницы, во весь дух поскакал к ближайшей хоругви, которая под предводительством рыцаря Миколая Келбасы готовилась как раз встретить врага.

– Король в западне! На помощь! – крикнул Збигнев.

Но Келбаса, который потерял уже шлем, сорвал с головы окровавленную, пропотелую шапочку и, показав её гонцу, воскликнул в страшном гневе:

– Вот погляди, как мы здесь бездельничаем! Безумец! Ужели ты не видишь, что эта туча движется на нас и что мы навели бы её на короля? Поди прочь, покуда я не ткнул тебя мечом.

Позабыв о том, с кем он говорит, задыхаясь от гнева, он и впрямь замахнулся на гонца, но тот понял, с кем имеет дело, и, сознавая, что старый воитель прав, понесся назад к королю и передал ему всё, что слышал.

Королевская стража стала стеной, чтобы грудью защитить государя. Однако на этот раз придворные не смогли удержать короля, и он выехал на коне в первый ряд. Пока они построились, немецкие хоругви подошли так близко, что можно было ясно различить гербы на щитах. Самое отважное сердце содрогнулось бы от одного вида крестоносцев, ибо в бой шел цвет рыцарства. В блистательных доспехах, на рослых, как туры, конях, не уставшие от битвы, в которой они пока не принимали участия, а, напротив, хорошо отдохнувшие, они мчались, как ураган, с громом и топотом, шумя знаменами и значками, и сам великий магистр летел впереди в широком белом плаще, развевавшемся на ветру, как огромные крылья орла.

Магистр уже миновал королевскую свиту и несся туда, где кипела самая жаркая битва, ибо что могла значить для него горсточка рыцарей, стоявших в стороне, в которой он не помышлял найти короля и совсем его не заметил! Но от одной хоругви отделился великан немец и, то ли узнав Ягайла, то ли соблазнившись серебристыми королевскими доспехами, то ли, наконец, желая блеснуть рыцарской своею отвагой, нагнул голову, наставил копьё и понесся прямо на короля.

Не успела стража броситься к королю, как тот вонзил шпоры коню в бока и ринулся на немца. Они неминуемо сшиблись бы в смертельной схватке, когда бы не тот самый Збигнев из Олесницы, молодой писец короля, который в одинаковой мере был сведущ в латыни и в рыцарском деле. С обломком копья в руке он сбоку подскакал к немцу и, ударив его по голове, разбил шлем и свалил крестоносца наземь.[52] «В ту же минуту сам король ударил немца острием в открытый лоб и собственноручно изволил его убить».

Так погиб прославленный немецкий рыцарь Дипольд Кикериц фон Дибер. Коня его поймал князь Ямонт, а сам он лежал, сраженный, в белом кафтане поверх доспехов, опоясанном золотым поясом. Глаза его отуманились, ноги ещё судорожно дергались, пока смерть, великая упокоительница, не одела его голову мраком и не упокоила его навеки.

Рыцари хелминской хоругви бросились было на поляков, чтобы отомстить за смерть товарища, но сам магистр преградил им путь и с криком: «Herum! Herum!»[53] – послал их туда, где должна была решиться участь этого кровавого дня, где кипела жестокая битва.

И снова произошло нечто удивительное. Миколай Келбаса стоял ближе всех и узнал крестоносцев; но другие польские хоругви не разглядели их в облаках пыли и, решив, что это возвращаются в бой литвины, не поторопились встретить врага.

Только Добко из Олесницы помчался наперерез летевшему впереди великому магистру и узнал его по плащу, щиту и большому золотому ковчежцу, который тот носил на груди поверх панциря. Но польский рыцарь не посмел ударить копьем в ковчежец, и, хотя он был гораздо сильнее магистра, тот толкнул кверху его копье и легко ранил коня, после чего они разминулись и, описав круг, поскакали к своим.

– Немцы! Сам магистр! – крикнул Добко.

Услышав эти слова, польские хоругви ураганом ринулись на врага. Первым бросился на крестоносцев Миколай Келбаса со своей хоругвью, и битва разгорелась снова.

Но то ли рыцари из хелминской земли, среди которых было много поляков по крови, не ударили на врага с должной силой, то ли поляков уже ничто не могло удержать, только новый наскок крестоносцев не принес того успеха, на который рассчитывал магистр. Ему казалось, что это будет последний удар по королевским силам, а меж тем он обнаружил вскоре, что поляки напирают на крестоносцев, что они теснят, бьют, разят и окружают его хоругви, сжимая их, как в клещах, а его рыцари не наступают, а лишь отражают удары врага.

Тщетно ободрял он крестоносцев, тщетно мечом гнал их в бой. Правда, они оборонялись, и оборонялись стойко; но не было у них ни той неукротимости, ни той ярости, которая поднимает дух победоносного войска и которая владела сейчас поляками. В измятых доспехах, израненные, окровавленные, с иззубренным оружием в руках, польские рыцари в молчании самозабвенно бросались в самую гущу врагов, которые уже начали осаживать коней, уже начали озираться назад, как бы желая убедиться, не сомкнулось ли железное кольцо, которое сжималось всё беспощадней, и медленно, но безостановочно отступали, словно стремясь незаметно выбраться из смертельной схватки. Вдруг со стороны леса донеслись новые оглушительные крики. Это Зындрам привел и бросил в бой своих мужиков. Тотчас залязгали косы о железо, загремели под чеканами панцири, ручьем полилась на истоптанную землю кровь, поле усеялось трупами, и началась кровавая сеча, ибо немцы постигли, что спасение только в мече, и стали отчаянно защищаться.

Поляки бились, ещё не уверенные в том, что одолеют врага, когда неожиданно справа взвились клубы пыли.

– Литвины идут назад! – раздались радостные голоса поляков.

Они угадали. Литвины, которых можно было разбить, но нельзя сокрушить, возвращались назад и с диким воем ураганом летели в бой на своих быстроногих конях.

Тогда несколько комтуров во главе с Вернером фон Теттингеном подскакали к

магистру.

– Спасайтесь! – крикнул побелевшими губами комтур Эльблонга. – Спасайте себя и орден, пока нас не окружили.

Но благородный Ульрих мрачно поглядел на него и, подняв руку к небу, воскликнул:

– Оставить это поле, на котором погибло столько храбрых? Нет! Не приведи Бог! Не приведи Бог!

И, крикнув крестоносцам, чтобы они следовали за ним, он бросился туда, где кипела битва. Тем временем подоспели литвины, и началось такое смятение, такое побоище и кровопролитие, что человеческий глаз ничего уже не мог различить.

Раненный острием литовской сулицы в рот и дважды в лицо, магистр ещё некоторое время отражал удары слабеющей правой рукой; но когда рогатина вонзилась ему в шею, он, словно дуб, повалился на землю.

Целая орда воинов в звериных шкурах ринулась на него.

Вернер Теттинген с несколькими хоругвями бежал с поля битвы, а вокруг всех прочих хоругвей сомкнулось железное кольцо королевского войска. Битва обратилась в побоище, в такой неслыханный разгром крестоносцев, какие редко случались в истории человечества. Никогда во времена христианства, начиная с борьбы римлян и готов с Атиллой[54] и Карла Мартелла с арабами[55], не сражались столь могучие рати. Но теперь одна из них вся почти полегла, словно сжатая нива. Сдались хоругви, которые напоследок были введены в бой магистром. Хелминцы воткнули в землю значки. Некоторые немецкие рыцари спешили в знак того, что сдаются в плен, и стали на колени на залитой кровью земле. Во главе со своим предводителем сдалась вся хоругвь Георгия Победоносца, в которой служили иноземные гости.

Но битва продолжалась, ибо многие хоругви крестоносцев предпочитали умереть, чем сдаться на милость победителей. По своему боевому обычаю, немцы стали в огромный круг и защищались, как стадо вепрей, окруженное волчьей стаей. Польско-литовское войско взяло в кольцо этот круг рыцарей, словно удав, обвивающий быка, и сжимало кольцо всё тесней. Снова мелькали руки, гремели чеканы, лязгали косы, рубили мечи, пронзали рогатины, свистели топоры и секиры. Как лес, рубили немцев поляки, и те умирали в молчании, огромные, мрачные, неустрашимые.

Одни, приподняв забрало, прощались друг с другом, обмениваясь перед смертью поцелуем; другие, словно обезумев, бросались очертя голову в самое пекло; третьи сражались как бы во сне; наконец, некоторые вонзали сами себе в горло мизерикордию или, сорвав нашейник, молили товарища: «Режь!»

Вскоре под ожесточенным натиском поляков большой круг распался на десятки меньших, и тогда отдельным рыцарям легче стало бежать. Но даже разрозненные кучки крестоносцев сражались с бешенством отчаяния.

Редко кто становился на колени и просил пощады, и даже тогда, когда под страшным напором поляков рассеялись наконец и эти кучки, отдельные рыцари не хотели сдаваться живыми в руки победителей. Этот день был для ордена и для всего западного рыцарства днем величайшего поражения, но и величайшей славы. У ног великана Арнольда фон Бадена, окруженного пешими воинами, вырос целый вал

польских трупов, а он, могучий и непобедимый, стоял над ним, словно пограничный столб на холме, и всякий, кто приближался к нему на длину меча, погибал, словно сраженный молнией.

Наконец на него наехал сам Завиша Чарный Сулимчик; увидев пешего рыцаря и не желая нарушать рыцарский закон и нападать на него сзади, он тоже соскочил с коня и стал издали кричать крестоносцу:

– Поверни ко мне голову, немец, да сдавайся, а нет, так выходи со мной на бой!

Арнольд повернулся и, узнав Завишу по черным доспехам и Сулиме на щите, сказал про себя:

«Смерть моя пришла, пробил мой час, ибо никто не уходит из его рук живым. Но если бы я одолел его, то снискал бы бессмертную славу, а может, спас бы и свою жизнь».

С этой мыслью он бросился на противника, и они схватились, как два вихря, на усеянной трупами земле. Но всех превзошел силой Завиша, и горе было отцам, чьи сыны должны были биться с ним. Под ударом его меча треснул выкованный в Мальборке щит, как глиняный горшок треснул стальной шлем, и храбрый Арнольд упал с разрубленной надвое головой.

Члуховский комтур Генрих, тот самый лютый враг польского племени, который поклялся, что велит до тех пор носить перед собою два обнаженных меча, пока не обогрит их польскою кровью, теперь бежал украдкой с поля, как лисица бежит из окруженного охотниками леса; но внезапно ему преградил дорогу Збышко из Богданца. Увидев занесенный меч, комтур вскричал: «*Erbarme dich meiner!*» (Пощади!) – и в страхе сложил руки; молодой рыцарь, услышав эти слова, уже не смог удержать занесенную руку, но всё же успел повернуть меч и только плашмя ударил комтура по жирной потной роже. Затем он бросил его своему оруженосцу, который, закинув немцу веревку на шею, потащил его, как вола, туда, куда сгоняли всех пленников-крестоносцев.

А старый Мацько всё искал на кровавом побоище Куно Лихтенштейна, и судьба, порадевшая в этот день о поляках, отдала наконец ему в руки крестоносца, который притаился в кустах с горсточкой немецких рыцарей, убежавших от страшного разгрома. Блеск солнца, отразившись в броне, выдал их присутствие. Все они разом упали на колени и тотчас сдались, но Мацько, узнав, что среди пленников находится великий комтур ордена, приказал привести его и, сняв с головы шлем, спросил:

– Узнаешь ли ты меня, Куно Лихтенштейн?

Нахмуря брови и уставя на Мацька глаза, тот через минуту ответил:

– Я видел тебя при плочком дворе.

– Нет, – возразил Мацько, – ты видел меня раньше! Ты видел меня в Кракове, когда я заклинал тебя спасти жизнь моему племяннику, которого за безрассудное нападение на тебя присудили к смерти. Тогда-то дал я обет Богу и рыцарской честью поклялся найти тебя и вызвать на смертный бой.

– Знаю, – сказал Лихтенштейн и надменно выпятил губы, хотя страшно побледнел при этом, – но теперь я твой пленник, и ты покрыл бы себя позором, когда бы поднял на меня меч.

Лицо у Мацька зловеще сжалось, и старый рыцарь стал похож на волка.

– Куно Лихтенштейн, – сказал он, – я не подниму меча на безоружного, но вот что я тебе скажу: коли ты откажешься биться со мной, я велю повесить тебя на веревке, как собаку.

– У меня нет выбора, становись! – воскликнул великий комтур.

– Не на неволю, а на смерть! – ещё раз предупредил Мацько.

– На смерть!

И через минуту они схватились при немецких и польских рыцарях. Куно был моложе и проворней, но руки и ноги у Мацька были гораздо сильнее, и он в мгновение ока повалил крестоносца на землю и коленом прижал ему живот.

Глаза у комтура от страха вышли из орбит.

– Пощади! – простонал он, брызгая слюною и пеной.

– Нет! – ответил непреклонный Мацько.

И он дважды вонзил мизерикордию в горло врагу; Лихтенштейн страшно захрипел, изо рта у него ручьем хлынула кровь, по телу прошла смертельная судорога, затем он вытянулся, и великая упокоительница рыцарей упокоила его навеки.

Битва кончилась, началась резня и преследование. Кто не хотел сдаваться, погибал. Много бывало в те времена битв и поединков, но люди не помнили такого страшного побоища. К ногам великого короля пал не только орден крестоносцев, но и вся Германия, прославленное рыцарство которой поддерживало тевтонский «форпост», всё глубже проникавший в земли славян.

Из семисот «белых плащей», предводительствовавших в этом германском нашествии, остались в живых едва ли пятнадцать. Свыше сорока тысяч[56] спали вечным сном на кровавом побоище.

Все хоругви, которые ещё в полдень развевались над неисчислимым тевтонским войском, попали в обагрённые кровью победоносные руки поляков. Ни одна не осталась в руках крестоносцев, ни одна не была спасена, и теперь польские и литовские рыцари повергали их к ногам Ягайла, который, молитвенно поднимая очи горе, всё повторял в волнении: «Такова была воля Божья!» К королю привели также знатных пленников. Абданк Скарбек из Гур привел щецинского князя Казимира, чешский рыцарь Троцновский[57] – олесницкого князя Конрада,[58] а Пшедпелко Копидловский герба Дрыя – изнемогшего от ран Георга Герсдорфа, который под хоругвью Георгия Победоносца предводительствовал всеми иноземными рыцарями.

Двадцать два народа участвовали в этой битве ордена против поляков, а теперь королевские писцы записывали имена пленников, которые, преклоняя колена перед Ягайлом, молили о пощаде и просили позволить им вернуться домой за выкупом.

Войско крестоносцев перестало существовать. Польская погоня захватила огромный обоз ордена, в котором, кроме уцелевших крестоносцев, оказалось неисчислимое множество повозок, груженных цепями для поляков и вином, приготовленным для великого победного пиршества.

Солнце клонилось к закату. Прошел короткий, но обильный дождь и прибил пыль. Король, Витовт и Зындрам из Машковиц собирались ехать на побоище, когда начали свозить тела павших вождей. Литвины принесли исколотое сулицами, покрытое пылью и кровью тело великого магистра Ульриха фон Юнгингена и положили его перед королем, который вздохнул с сожалением и, глядя на огромный труп, лежавший навзничь на земле, произнес:

– Это тот, кто ещё сегодня утром мнил себя превыше всех властителей мира.

И слезы, как жемчужины, покатались по его щекам; помолчав, король продолжал:

– Но он погиб смертью храбрых, и потому мы будем славить его отвагу и похороним его с почестями, по-христиански.

И король тотчас повелел обмыть тело в озере, обрядить в лучшие одежды и, пока не будет сколочен гроб, прикрыть белым плащом.

А тем временем слуги несли всё новые и новые трупы, которых опознавали пленники. Принесли тело великого комтура Куно Лихтенштейна, у которого горло было страшно рассечено мизерикордией, маршала ордена Фридриха Валленрода, великого ризничего графа Альберта Шварцберга, великого казначея Томаша Мерхейма, графа Венде, который пал от руки Повалы из Тачева, и более шестисот прославленных комтуров и братьев. Слуги укладывали их в ряд, и трупы лежали, словно срубленные стволы, обратив к небу белые, как их плащи, лица с открытыми остекленевшими глазами, в которых застыли гнев и гордыня, боевая ярость и страх.

В голове у них водрузили захваченные хоругви – все до единой!! Вечерний ветерок то свивал, то развивал цветные полотнища, и они шумели, словно навеявая павшим сон. Вдали, в отблесках зари, было видно, как литовские отряды тащат отбитые пушки, которые крестоносцы впервые применили в открытом сражении, но которые не причинили победителям никакого урона.

На холме короля окружили славнейшие рыцари; тяжело дыша от утомления, смотрели они на хоругви и трупы, лежавшие у их ног, как усталые жнецы смотрят на сжатые и связанные снопы. Тяжел был этот день, и страшна была эта жатва, но наступал великий, благословенный, радостный вечер.

И от неизъяснимого счастья посветлели лица победителей; все поняли, что это вечер, который кладет предел бедствиям и мукам не только этого дня, но целых столетий.

А король, хоть и постигал умом, сколь тяжкое поражение нанесено немцам, всё же глядел изумлённо и наконец воскликнул:

– Ужели здесь лежит весь орден?

Подканцлер Миколай, который знал пророчество святой Бригитты, произнес в ответ:

– Пришло время, и выбиты зубы их и отсечена правая рука!!

Затем он поднял руку и стал благословлять и тех, что лежали поближе, и всё поле битвы между Грюнвальдом и Танненбергом. Пылала заря; воздух стал прозрачен после дождя, и кровавое побоище было видно как на ладони, необъятное, дымящееся; повсюду виднелись горы конских и человеческих трупов, торчали обломки копий, рогатин и кос, руки, ноги, копыта; усеянное десятками тысяч тел, скорбное поле смерти простиралось далеко-далеко, исчезая на горизонте из глаз.

По необозримому этому кладбищу сновали слуги, собирая оружие и снимая с убитых доспехи.

А вверху, в румянном небе, уже кружили орлы, и стаи воронья громко каркали, радуясь добыче.

Не только вероломный орден крестоносцев лежал поверженный у ног короля: в этот день искупления о польскую грудь разбилось всё немецкое могущество, донныне заливавшее, как волна, несчастные славянские земли.

Честь и хвала тебе во веки веков, великое, священное прошлое, и тебе, жертвенная кровь!

### LII

Мацько и Збышко вернулись в Богданец. Старый рыцарь жил ещё долгие годы, а Збышко в расцвете сил и здоровья[59] дождался той счастливой минуты, когда в одни ворота выезжал из Мальборка со слезами на глазах магистр крестоносцев,[60] а в другие во главе войска въезжал польский воевода, дабы именем короля и королевства принять под свою руку город и весь край до седых волн Балтики.

Честь и хвала тебе во веки веков, великое, священное прошлое, и тебе, жертвенная кровь!

### Примечания

1

Падербон – город в Вестфалии, в соборе которого (XI – XIII вв.) хранились мощи святого Либерия.

2

Иисус! (нем.)

3

герцогстве Анжу во Франции.

4

Ян (Иоганн) Люксембургский (1296 – 1346), чешский король с 1310 г. (был женат на дочери Вацлава II из династии Пшемисловичей и соперничал одно время с Локотком в борьбе за польский престол), участвовал во многих сражениях и турнирах, погиб в битве при Креси во время Столетней войны.

5

Господи Иисусе! (нем.)

6

февраль.

7

Пшемьсл (из силезской ветви Пястов), князь освенцимский, погиб в 1406 г., а его отец, цешинский князь Пшемьсл Носак, жил до 1409 г.

8

Ясько – Януш II (1375 – 1424), князь рациборский, женатый на племяннице Ягелло, был союзником Сигизмунда Люксембургского.

9

В марте 1401 г. в Жемайтии вспыхнуло восстание, которое приобрело всенародный характер, сопровождалось уничтожением орденских замков и было поддержано Витовтом. Крестоносцы предприняли опустошительные походы на литовские земли.

10

Руины этой виселицы сохранялись до 1818 года. (Примеч. автора.)

11

Ульрих в 1397 – 1407 гг. был великим маршалом.

12

конгресс, съезд (лат.).

13

Рагнета (до 1946 г. Рагнит) – ныне г. Неман административный центр Неманского городского округа Калининградской области РФ.

14

Господи, помилуй! (греч.)

15

Христе, помилуй! (греч.)

16

Петровин – герой житийного рассказа (XIII в.) о чудесах святого Станислава. Он продал епископу, согласно легенде, свою деревню и вскоре умер. Спустя три года понадобилось подтвердить акт продажи, а свидетелей у Станислава не было. Тогда,



по его молитве, Петровин воскрес и дал нужное свидетельство.

17

"По розам может он узнать, где покоилась моя голова» (нем.) – строки из любовной лирики немецкого поэта-миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170 – ок. 1230).

18

Вечный покой (лат.).

19

Скиргайла к тому времени не было в живых. Имеется в виду Свидригайло.

20

Визна – тогда укрепление на берегу Нарева, ныне деревня в Ломжинском воеводстве ПНР. В XV в. окончательно отошла к Мазовии.

21

Рыцарский орден тамплиеров (или храмовников), существовавший в XII в. и накопивший огромные богатства и земли, был уничтожен в начале XIV в. французским королем Филиппом IV Красивым после процесса, в ходе которого были выдвинуты обвинения в ереси, служении сатане и т. д.

22

В результате переговоров в Раценже на Висле (между Нешавой и Цехоцинком, в нынешнем Влоцлавском воеводстве), состоявшихся в мае 1404 г., был заключен мирный договор, которым предусматривался выкуп польским королем Добжинской земли. (Для этой цели шляхта согласилась на выплату специального налога.) Жемайтию Витовт снова должен был уступить Ордену. Такая уступчивость связана была с тем, что Витовт (хотя он, как и король, не собирался навечно оставлять Жемайтию крестоносцам) не отказался от военных планов на востоке и начал в 1404 г. поход на Смоленск и Псков. Заключение в 1408 г. на реке Угре мира с Московским государством позволило Литве мобилизовать силы на борьбу с Орденом.

23

В булле 1403 г. Бонифаций IX запретил Ордену вести против Литвы войну, которую считал наносящей ущерб христианству, и призвал отдать спор на решение папского суда. Крестоносцы пренебрегли запретом.

24

Винрих фон Книпроде был великим магистром в 1351 – 1382 гг. Это было время наибольшего могущества Ордена.

25

Мальборк был разрушен до основания прусским королем Фридрихом Вторым после

падения Речи Посполитой. (Примеч. автора.)

26

Мариенбург – немецкое название Мальборка.

27

Предзамковое укрепление (нем.).

28

Хундсфельд (Песье поле) – деревня под Вроцлавом (ныне часть города), где в 1109 г. Болеслав Кривоустый, как сообщается в хронике Винцентия Кадлубека, разбил осаждавшие город войска германского императора Генриха III. Недостоверно, однако, приводимое в романе объяснение названия деревни.

29

Ею стала Анна (ок. 1380 – 1416), внучка Казимира III, выдавшего дочь, тоже Анну, за Вильгельма, графа цельского. Она была повенчана с Владиславом II Ягелло 29 января 1402 г., а коронована годом позже.

30

Солтыс – староста. В описываемые времена солтысы деревень и городов имели значительные права и доходы.

31

Конецполь (ныне Ченстоховское воеводство) как раз в 1403 г. получил права города. Далее Сенкевич упоминает Якуба (Кубу) из Конецполя, воеводу серадзского в 1394 – 1430 гг. Конецпольские стали влиятельным магнатским родом.

32

Дрезденко – замок на р. Нотец (ныне город в Гожовском воеводстве). Ещё Казимир III, не желая соединения земель Ордена и Бранденбурга, сделал в 1365 г. ленным владением рыцарей-иоаннитов фон ден Остен Дрезденко и близлежащий Санток (у впадения Нотеца в Варту). В 1370 г. оба замка были захвачены Сигизмундом Люксембургским, а когда последний заложил Ордену в 1402 г. Новую Марку (правобережье Одры, на север от нижней Варты и Нотеца), вместе с ней попали в руки крестоносцев. Когда польский король стал в 1408 г. добиваться возврата Дрезденко, Орден купил его у Остенов. В 1434 г. Дрезденко завладел Бранденбург.

33

Восстание в Жемайтии снова разгорелось в мае 1409 г. с ведома и согласия Витовта, оказавшего повстанцам поддержку. Орден пытался выяснить, придет ли король на помощь Витовту, и услышал от польских послов, что врагов Литвы Польша считает своими врагами.

34

Вицы – ветви лозины, рассылавшиеся при созыве всеобщего ополчения как приказ явиться в войско. Позднее их заменили королевские универсалы. Письменное объявление войны Польше было направлено великим магистром 6 августа 1409 г. Ополчение король сзывал на 15 сентября в Вольбож.

35

Крестоносцы перешли границу в середине августа, сожгли замки в Добжине на Висле (ныне Влоцлавское воеводство), Бобровниках, Злоторые, вырезав гарнизоны и не пощадив мирного населения. Король 28 сентября осадил Быдгощ и на восьмой день взял его.

36

Посольство Вацлава IV прибыло во время осады Быдгоща.

37

Заключили перемирие – 8 октября 1409 г. сроком до 24 июня следующего года.

38

Вацлав IV, получивший от крестоносцев 60 тысяч флоринов, 15 февраля 1410 г. вынес в Праге решение, согласно которому Орден обязывался возвратить Добжинскую землю только в том случае, если получит Жемайтию. Польские послы опротестовали решение зачитанное не по-латыни, а на немецком языке, демонстративно покинули зал. Польша отвергла приговор третейского суда и не отправила послов во Вроцлав на его формальное оглашение 14 мая.

39

Переправа у Червинска и соединение войск произошли 30 июня – 2 июля 1410 г.

40

Домбровно было взято 13 июля.

41

В настоящее время среди историков доминирует следующая точка зрения: объединенными польско-литовско-русскими силами командовал под Грюнвальдом Владислав II Ягелло, в расстановке польских войск на левом крыле ему помогал Зындрам из Машковиц, командование правым крылом осуществлял Витовт. Полагают, что недооценка полководческой роли короля шла от Длугоша, который описывал Грюнвальдскую битву под влиянием рассказов Збигнева Олесницкого.

42

Земовита IV под Грюнвальдом не было. Он выслал на битву две хоругви и сыновей.

43

то есть скачущего всадника (герб Литвы).

44

Они были направлены Сигизмундом в Пруссию через Польшу, Ягелло разрешил им проезд. Результатом было лишь заключение десятидневного перемирия (24 июня – 4 июля). Роль венгерского короля в конфликте трудно назвать миротворческой. Сигизмунд безуспешно пытался склонить Витовта к разрыву с Польшей, суля ему королевский титул. За 40 тысяч флоринов он согласился объявить польскому королю войну. Владиславу Ягелло 12 июля доставили послание о разрыве мирного договора (в ответ на вторжение в орденские земли), а одновременно дали понять, что решительных действий не последует (король мог даже не сообщать войску накануне битвы об этом послании).

45

В литературе высказывалось мнение, что король не торопился с началом битвы, желая, чтобы его войска заняли более удобные позиции, и что богослужение было одним из средств удержать воинов от преждевременного выступления.

46

Сын Земовита Александр (1400 – 1444) – был впоследствии ректором Краковской академии, епископом и кардиналом.

47

Зигмунт Корибут, племянник Ягелло, сыграл впоследствии заметную роль в истории Чехии. Гуситы предлагали чешскую корону сперва польскому королю, затем Витовту, который и послал в 1422 г. Зигмунта в Прагу как наместника. Зигмунт примкнул к гуситскому движению, деятельно участвовал в войнах. Под конец жизни он принял участие в выступлении Свидригайла против Польши, в одной из битв попал в плен и умер от ран в 1435 г.

48

Казимира V (ум. в 1435 г.).

49

С нами Бог! (нем.)

50

Войцех (ок. 955 – 997) был чехом, пражским епископом, прибыл в Польшу в 996 г., отправился к пруссам с религиозной миссией и был убит. Канонизирован в 999 г. Цитируемый ниже боевой гимн, песнь о Богородице, – старейшее из польских религиозных песнопений. Легенда XVI в. приписала авторство Войцеку, но о доказательствах говорить трудно. Лингвистические данные не исключают разнобоя в гипотезах (от X по XIV в.).

51

Христос воскрес!.. (нем.)

52

Эпизод воспроизведен вслед за Длугошем, который, как отмечалось в литературе, явно хотел возвысить своего покровителя. В латинской хронике, появившейся через год после битвы, говорится, что рыцаря свалил с коня сам король.

53

Сюда! Сюда! (нем.)

54

Речь идет о знаменитой «битве народов» (451 г.) на Каталаунских полях, когда римский полководец Аэций вместе с союзными войсками разбил полчища гуннов.

55

Имеется в виду победа франков при Пуатье (732 г.).

56

В реляциях описываемого времени численность войск и потери обычно преувеличивались. В современных исторических трудах говорится о 18 – 20 тысячах убитых и 14 или 30 тысячах пленных крестоносцев.

57

Ян Жижка (ок. 1360 – 1424) – знаменитый полководец, чешский национальный герой.

58

Олесницкий князь Конрад IV Старший (до 1384 – 1447) стал в 1417 г. вrocławским епископом. Вассал и сообщник Сигизмунда Люксембургского, он участвовал в его антипольских планах, был врагом гуситов.

59

Герою должно было тогда быть примерно 76 лет.

60 Великий магистр (им был тогда Людвиг фон Эрлихсгаузен) покинул Мариенбург 6 июня 1457 г., через два дня состоялся въезд короля Казимира IV Ягеллончика. После этого борьба за город продолжалась, крестоносцы отбивали его. Окончательно польское войско заняло Мальборк в августе 1460 г.